

На пиру судьёб

Алексей Смирнов

Алексей Смирнов  
На пиру,  
судёб



МОСКВА **новый**  хронограф 2020



Алексей Смирнов  
**На пиру,  
судеб**

УДК 821.161.1-94 Смирнов А.  
ББК 84(2=411.2)6-49 С  
С 506

**Смирнов А. Е.**

С 506 На пиру судеб / А. Е. Смирнов – М. : Новый Хронограф, 2020. – 376 с.

ISBN 978-5-94881-463-6

Предлагается автобиографическая проза поэта, писателя, переводчика, связанная с его избранными книгами. Это не библиографический роман в духе «рассказов о книгах», но «пир судеб», где время то отходит на задний план, то выдвигается вперед и само становится главным героем событий зримых и потаенных, превращаясь из контекста в текст.

УДК 821.161.1-94Смирнов А.  
ББК 84(2=411.2)6-49 С

В оформлении обложки использован фрагмент картины Гауденцио Феррари «Музицирующие ангелы» (1530–1540). Церковь Санта Мария деи Мираколи. Саронно, Италия.

Насущный хлеб и сух и горек,  
Но трижды сух и горек хлеб,  
Надломленный тобой, историк,  
На конченном пиру судеб.

*Бенедикт Лифшиц*

Успеем до взысканья к Отче  
Исполнить свой негласный долг,  
Покуда пир еще не кончен,  
Хлеб не иссох и не прогорк.



## ЧИТАТЕЛЮ

Своя судьба есть у любых явлений, протяженных во времени. Есть она и у книг. Хотелось бы вспомнить рождение и публикацию некоторых из них, тем более, что за каждой, кроме автора, стоят предшественники, формировавшие его художественный вкус; стоят заочные и очные учителя-современники; редакторы, художники, издатели, коллеги, близкие. Многих из них уже нет среди нас. Не отпускает ощущение долга перед их памятью. А сам процесс создания новой книги всегда сопровождают разного рода непосредственные и косвенные перипетии большой жизни. Значит, это истории не только и не столько книг, сколько людей, общества, в котором такого рода перипетии происходили; того контекста времени, что вошел в тексты или остался за их пределами, но существенно на них повлиял. Речь идет о нескольких советских и постсоветских изданиях на фоне конца XX-го – начала XXI века. В повествовании время то отходит на задний план, то выдвигается вперед и само становится главным героем событий. Это не библиографический роман в духе «рассказов о книгах», но «пир судёб», зримый и потаенный, развернувшийся независимо от авторской воли вокруг или помимо его книг, каждая из которых именуется отдельную главу. Ряд изданий упоминается внутри глав. В некоторых случаях собственные имена и фамилии действующих лиц изменены.

*Июль 2019*

А. С.

## Глава первая

### АНДРИЕШ

1987

*По Молдавии и Крыму. – Пат и мат. –  
Емилиан Буков. – Редактор с телефоном «в головах». –  
Страсти по «Андреишу». – Квартирный вопрос. –  
Кишиневское землетрясение*

#### 1

**М**ои последние школьные каникулы летом 1963 года прошли в путешествии по Молдавии и Крыму. Туда отправились шестнадцать одноклассников – мальчиков и девочек – под началом любимого «физика» Нила Павловича Желнова. Мы – с велосипедами, он – с мопедом: по возрасту, по состоянию здоровья (инвалид войны), по известной ему из опыта необходимости курсировать взад-вперед между нами, сбивая всех в одну кучу, поскольку на длинных дистанциях в обстановке интеллигентного либерализма мы не всегда будем соблюдать такие интервалы, чтобы не упускать друг друга из виду.

Просматривая классный журнал перед тем, как вызвать кого-нибудь к доске, Нил Павлович приговаривал, предчувствуя удовольствие от общения с неучем и потому не без педагогического вождения: «Так... Побачим-побачим... Что мы имеем на сегодняшний день?..» Но желание «бачить» распространялось у него и на другие случаи жизни. А в растянувшейся цепочке велопробега он чувствовал

потребность постоянно «бачить» всех, правда, для этого его мопеду приходилось тарыхтеть с утра до вечера.

Из Москвы в Кишинев группа велогонщиков домчалась на скором поезде, а дальше через Молдавию в Одессу потекла своим ходом, то есть нажимая на педали. Мой багажник приседал под тяжким рюкзаком, притороченная к нему гитара – жертва стартов и торможений порывалась выдвинуться куда-то вбок, пот щипал глаза, шоссе под колесами то трескалось от южного зноя, то лоснилось маслянистой лентой, скользкой от проливного дождя, и все-таки знакомство с Молдовой состоялось, чувство благодатного края возникло – светлого края с чередами холмов и долин, виноградников и кукурузных полей, бесконечных фруктовых садов и больших сёл, чьи хаты на солнце резали глаз нестерпимой белизной, а базары услаждали разгоряченных гонщиков прохладой льющегося в стаканы красного вина, интриговали слух звуками речи, почерпнутой у древних римлян – той самой «ломовой латынью молдаван», которой из любви к аллитерациям так смело окрестил местное произношение поэт Семен Липкин.

А потом загорелась звезда Одессы, загудел черноморский пароход, устремились навстречу другие дороги – серпантины горного Крыма, и молдавские впечатления заслонились иными, более поздними, но не менее яркими, ушли на дно памяти, чтобы отстаиваться там, ожидая своего часа.

## 2

В начале 1980-х судьба привела меня в журнал «Новый мир», отделом поэзии которого заведовал поэт-фронтовик Евгений Винокуров. Он был практиком, склонным к философичности, то есть умел размывать зоркий взгляд на старый и новый миры неким туманным «нечто», не теряя при этом чувства реальности.

— Мне Ахматова предложила: «Женя, давайте переписываться?»

Я так обрадовался:

— Давайте, Анна Андревна!

А домой пришел и думаю: «Да что́ я? Ну, о чем я буду *Ей* писать?!.»

Винокуров обладал удивительной способностью сосредоточиваться в обстановке, когда его поминутно отвлекали и дергали. Читая при мне мои опусы, он то и дело отвлекался на телефонные звонки, на какое-нибудь заглядывавшее в дверь лицо (створка приоткрылась), на протискивавшееся туловище (створка отворилась), на вступающую в кабинет фигуру (распахнулась!). А повесив трубку или сопроводив взглядом удалившегося пришельца (створка громко стукнула: «Ой, извините...»), тут же погружался в рукопись на прерванной строке, ничего не упуская. Свое впечатление от прочитанного он выражал по нарастающей:

— Неплохо. (*Молчание*).

— Даже очень неплохо. (*Молчание*).

— Хорошо. (*Продолжительное молчание*).

— Да что там говорить? Очень хорошо!

Но вам нужен псевдоним. Советую взять. Нет, настоятельно рекомендую. Вы с вашей фамилией никогда в жизни в литературе не пробьетесь. Вы читали публициста Татьяну Тэсс? И я не читал. Ни строчки. Но я знаю всю жизнь, что есть такой публицист: Татьяна Тэсс. Вот что значит псевдоним. Он выделяет. Он приносит известность. А с вашей фамилией далеко не уедешь.

В помощь Винокурову стихами занимался Вадим Сикорский – красавец-мужчина, автор повести «Фигура». Если от заглавия перевести взгляд непосредственно на сочинителя, то никаких сомнений не оставалось: автопортрет. Возвращая стихи законному владельцу, Сикорский смягчал горечь отказа, понизив голос, как будто боялся, что нас подслушивают (а именно в этих стенах действительно подслушивали, но не нас, конечно, а годами раньше Твардовского):

— Только не верьте, если вам станут говорить, что вы не талантливы.

Отсюда я извлек *Первый урок*: быть талантливым – одно, а печататься в «Новом мире» – другое. Это не то, что не совпадает, но талант еще ничего не гарантирует.

Именно Сикорский позвонил мне как-то домой и сообщил:

— С вами хочет познакомиться молдавский поэт Эмилиан Буков. Он живет в Кишиневе, но сейчас ненадолго в Москве. Можно дать ему ваш телефон?

На следующий день – звонок.

— Алексей? С вами говорит поэт Эмилиан Буков. Я ищу переводчика для двух книг лирики. В «Новом мире» мне рекомендовали вас.

К тому времени я все больше убеждался в том, что Винокуров прав. Дело, однако, не сводилось только к моей фамилии: не та. Причины для отказов были и куда более существенные. Глядя на литературную ситуацию снизу вверх, молодые чувствовали, что пробиться, в самом деле, невозможно. Все официальные позиции оккупировали разного рода «секретари», настороженно следившие за идейной чистотой предлагаемых к печати творений. У «секретарей» было зрение орла, а нюх милицейской ищейки (не в обиду будь сказано служебной собаке). Эти химеры собора Советской Партократии чуяли за версту всякое неподчинение канону, всякий вольный дух и без сантиментов ставили ему надежный заслон. Притчей во языцах стал своеобразный «пат», в силу которого Союз писателей СССР умножал свои ряды только на предъявителя изданной книги, а издать книгу мог только член Союза писателей СССР. Дверь в ризницу к профессионалам была для нас наглухо замурована, а сочинение стихов вне профессиональной среды и без справки с места работы проходило по статье «Злостное тунеядство», за что судили Бродского. Это представлялось как победа честных тружеников над бездельником – мат в три хода: арест, суд, приговор. Красные начинают и выигрывают. Но ведь

кто-то же проникал! Кому-то же удавалось, не погрешив против совести, влиться в «передовой отряд творческой интеллигенции», сохранив и в его единообразных рядах свою индивидуальность... Художественный перевод! Именно он предоставлял тогда такую возможность. Я не знаю, где еще в мире могла бы сформироваться школа художественного перевода, подобная той, которая возникла в Советском Союзе – самой читающей стране на свете, располагавшей созвездием поэтов, чей выход к читателю со своими стихами был затруднен или закрыт. Диалектика жизни устроила так, что «железный занавес» заставлял всех читать о том, чего своими глазами не мог увидеть никто, кроме тайных дипкурьеров и секретных резидентов, читать о странах и народах, о западах и востоках, изучать их богатейшие литературы... А для того, чтобы раскрывать перед читателями эти россыпи, требовалась армия квалифицированных переводчиков. Подумайте, кто переводил: Борис Пастернак и Арсений Тарковский, Николай Заболоцкий и Самуил Маршак; Семен Липкин, Вильгельм Левик, Аркадий Штейнберг, Александр Ревич... Цвет русской поэзии был вовлечен в перевод. Аксакалы подтягивали за собой молодежь и, как минимум, ее вдохновляли. Внутри Союза писателей с его полувоенной иерархической структурой и партийной дисциплиной; в системе, в которой преданность ставилась выше чести, а лояльность выше таланта, возникло относительно независимое ядро литераторов, укорененных в мировой культуре, профессионально безупречных и переводивших с любых языков, создавая на русском поэзию высшей пробы. Поэтому мысль прикоснуться к искусству перевода и войти в среду профессионалов с этого входа не казалась мне посторонней. Я понимал, что ориентируюсь на вершину айсберга, а его скрытые под водой 5/6-х могли грязнуть в литературной поденщине, халтуре, агитпропе. Но Буков предложил мне участвовать в двух книгах *лирики*, и я решил, что

это будет хорошая школа, плюс возможность общения с личностью далеко не заурядной.

## 3

Емилиан Несторович Буков снискал все лавры классика национальной литературы. Он был Героем соцтруда, лауреатом, депутатом Верховного Совета СССР. Книги его переводились, издавались и переиздавались. По его поэме-сказке «Андриеш» снял свой первый фильм легендарный Сергей Параджанов. Поэт жил в столичном Кишиневе в собственном двухэтажном доме посреди абрикосового сада. Откуда все эти милости?

Родившись в Румынии и закончив Бухарестский университет, Буков проникся идеями социализма. Его романтическая, возвышенная душа, а, может быть, отчасти и авантюризм молодости толкнули его на путь подпольной борьбы. Его преследовала румынская тайная полиция – сигуранца. Революционеры звали его Раду. В семье и среди друзей это имя сохранилось за ним на всю жизнь. Он писал «лесенкой» (под Маяковского) рифмованные воззвания и своим идеалом считал недоступный ему Советский Союз. И вдруг в 1940 году мечта сбылась. В Советский Союз не надо было прорываться сквозь пограничные кордоны. Советский Союз сам пришел в Бессарабию на штыках Красной армии. Буков сделался гражданином великой державы – державы своей мечты. Это событие оказалось решающим в его судьбе. Революционное прошлое обеспечило ему статус безусловно *своего*, и он действительно был им, мгновенно отзываясь на «веяния времени», создав не мало проходных гражданских опусов, исправно переводившихся на языки народов СССР. Человек искренний, он не кривил душой. Он в самом деле верил той риторике, которая проповедовалась с партийных амвонов метрополии и провинций, сам активно участвовал в ее стихотворной разработке. Но в его психике, такой податливой на чужое, бродили и собственные поэтические токи, жило не слабевшее с годами лирическое чувство.

\* \* \*

...Фонтан, как кит, клубился в брызгах,  
Окрашен пылью гибких радуг.  
И мы стояли в мокрых искрах,  
Обнявшись, а не просто рядом...<sup>1</sup>

\* \* \*

...Отпусти меня, грусть... Над дорогою тихой  
Промелькнула последняя ласточек стая,  
И цветущему облаку яблони дикой  
Не окутать ветвей до грядущего мая...

\* \* \*

Моего не бойся взгляда.  
Долго льется лет вода.  
Я уже любил когда-то,  
Но не ведаю когда.

Может быть, в другой, нездешней  
Жизни, падкой до чудес,  
Мы вошли однажды в вешний,  
Зоревой, волшебный лес?...

\* \* \*

Вот и опять наступил этот месяц,  
Память тревожною дымкой окутав.  
Голос неясный звенит в поднебесье.  
Чей он? Не знаю. Зачем и откуда?

Вспомнил! Ведь это из юности ранней,  
Робости первой и первой надежды,  
Смутной влюбленности, краткой и тайной,  
Голос явился высокий и нежный...

---

<sup>1</sup> *Емилиан Буков. Любовь есть любовь. Кишинев, 1984. (Здесь и далее перевод стихотворений Букова наш. – А. С.)*

Любовь к фольклору, к природе и народной жизни, к бенгальским огням волшебной сказки воплотил Эмилиян Буков в своем главном творении – поэме «Андриеш». Ее первый прозаический перевод был премирован на Всесоюзном конкурсе детской литературы (1947). Автор получил широкую известность, его напутствовал Маршак, а дальше поэма дорабатывалась и дополнялась всю жизнь. Ее переводили уже стихами как и предполагал подлинник. 70-летие Букова (1978) отмечалось в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Для поэта из Молдавии это была вершина признания. Теперь ему захотелось сделать полную версию русского перевода поэмы, включив в нее ранее не публиковавшиеся эпизоды. Но что значит «сделать»? Кто будет «делать»? Эмилиян Несторович говорил по-русски прекрасно, однако считал, что знает лишь коммуникативный русский – язык бытового общения, явно недостаточный для поэтического перевода. Поэтому сам свои стихи он не переводил. С просьбой об «Андриеше» автор обратился к известному переводчику Александру Ревичу – младшему в плеяде мастеров художественного перевода, о которых речь шла выше. Ревич обещал. А пока Буков озаботился изданием двух книг лирики. Для поэтов из союзных республик публиковаться на родном языке было лишь частью дела. Окно в мир открывали им русские переводы. В распоряжении Букова оказалось много первоклассных переводчиков, но сейчас он предпочел новый выбор.

Увлечись интересным делом, я незаметно завершил кишиневскую книжку («Любовь есть любовь»), а одно стихотворение из нее исполнял с гитарой как песню.

\* \* \*

Дышат птицы... Разве можно  
Их дыханье услышать?  
Дышат почки на ветвях  
И в тишь немую

Волны катятся бесшумно.  
Кто велит им замолчать?  
Кто позволит мне услышать  
Ось земную?

Уловить опять пытаюсь  
Звезд безмолвный разговор,  
Но лучистой речи их не понимаю.  
Беспреданно ускользает  
От меня полночный хор.  
Я его мелодий в сети не поймаю.

Где растаяло звучанье  
Разноцветных клавиш дня?  
Ночь тишайшая  
Укрыла двор и крышу.  
Жду и вслушиваюсь снова.  
Лишь одно томит меня:  
Неужели я все это не услышу?

Дышат птицы...  
Тишь немая...  
Звезд безмолвный разговор...

Пришел черед книжки московской («Утренний человек»), порученной издательству «Советский писатель».

Мой редактор – Павел Иванович Ямской (скажем так) любил работать, отдыхая в Переделкино. Наш творческий процесс строился по его лекалам. Приехав домой на «Щелковскую» с Ленинского проспекта после трудового дня в Институте кристаллографии, я, поужинав, открывал Второй фронт – литературный и сражался с подстрочниками, делая из более или менее причесанной прозы настолько красноречивую поэзию, насколько мог. Жена и дети спали в комнате, а я «творил» на кухне напротив газовой плиты за столом-шкафчиком, не предполагавшем ставить под себя мои ноги.

На другой день все повторялось.

7.30 подъем. – Институт кристаллографии. – Легкий ужин. – Затяжные бои с подстрочниками глубоко за полночь.

Сделав часть книжки, я отвозил готовое на контроль в Переделкино. По счастью, Ямской не слишком разбирался в тонкостях стихотворства, вникать в них у него не было ни малейшего желания, и он всецело доверился мне. Никаких «переделок» насельник Переделкино от подопечного не требовал. Более того, иногда мне казалось, что, приняв очередную дозу лирики, Павел Иваныч был готов меня расцеловать. Но как-то же ему следовало проявлять себя в качестве взыскательного редактора! Но какого-то минимального строгача он же обязан был мне задавать, оправдывая свою редакторскую позицию в издательстве и соответствующие ей умеренные «хлебá».

Дальнейшее достойно того, чтобы выделить его отдельной главкою.

#### 4

Я приезжаю в Переделкино на электричке, иду пешком вдоль железной дороги по той самой тропке, на которой встречал бы незнакомца Борис Леонидович Пастернак, если бы не разделившие нас годы. Потом я дважды поворачиваю направо и ныряю в калитку «Дома творчества», окруженного небольшим парком, прозванным в народе «Неясной Поляной» в силу того, что не все ее обитатели в своих творениях обходились без умолчаний и многозначительных отточий: ...

Общий писательский корпус Ямскому для проживания не импонировал. Он снимал дачу с верандой.

Обычно хозяин радушно пожимал мне руку у крыльца, но не как Манилов Чичикову, а наоборот, как Чичиков Манилову. Соревнуясь во взаимной вежливости, мы долго пропускали друг друга в дверях, пока ни застревали, шагнув одновременно. Павел Иваныч улыбался, извинялся, повевал рукою, приглашая гостя в кабинет, нарочно

приготовленный для творческих занятий, а именно, редактирования на фоне живого обсуждения московских новостей. Письменный стол сиял девственной чистотой и был абсолютно пуст, зато тахта напротив теснилась подушками, скомканным пледом, деловым телефоном «в головах». Чувствовалось, что именно она, а не стол служит Павлу Иванычу надежной опорой в трудах. Подтверждая эту мысль, Ямской начал первую же нашу встречу двусторонним из своего любимого шахтера Николая Анциферова:

— Я работаю, как вельможа. // Я работаю только лежа.

Подобный образ жизни, плюс возраст не то, чтобы наложили свой отпечаток, а прямо-таки оттиснули самую настоящую печать на облике заслуженного редактора советских писателей. Он побряхывал при ходьбе, плохо гнулся, жаловался на коленки и быструю утомляемость. Иные жалобы в силу их физиологичности мы позволим себе опустить, тем более, что речь идет о редактировании лирического сборника.

Ямской, как и его прообраз Чичиков, был не сказать, чтобы слишком толст, но и не так, чтобы очень тонок. Комплекцию его сформировала приятная упитанность. Брюки на нем расширялись к условной талии, как раструб, и ловко подхватывались перекинутыми через плечи пружинистыми подтяжками. Со спины он казался оплывшим и сутулящимся гимнастом, махнувшим рукой на спортивную карьеру, зато с лица Павел Иваныч выглядел еще огого и вполне мог сойти за чиновника по особым поручениям достигшего вершины карьерного роста. Манеры его были мягки, движения расслаблены, а свой интерес в деле поэтического перевода он соблюдал неукоснительно.

О, если бы нам было дано предугадывать и выбирать времена жизни и смерти! О, если бы каждый рождался в тот день и час, который наиболее благоприятно влиял бы на его судьбу! Короче говоря: о, если бы новорожденный не был простой игрушкой жизненных сил своих недальновидных родителей! Ямской-отец и Ямская-мать не опоздали

родить первенца, а, к несчастью, слегка поспешили. Он рос, мужал, и вот уже состарился, а время его все еще не приходило. Пора частных инициатив, долгожданная власть капитала никак не поспевала раскинуться на шестой части суши, хотя ее заря для «новых русских» исподволь уже брезжила в предрассветных сумерках начала 1980-х. Увы, Павел Иванович сдавал позиции быстрее, чем она наступала, и никто не знал, сколько ему еще суждено продержаться. Темпы его собственного старения опережали динамику радикальных перемен, которым всё не удавалось разгуляться. А как его хитрая на выдумку натура развернулась бы в благотворных обстоятельствах новой капиталистической России?! Одному Богу известно. А какие финансовые операции с живыми и мертвыми душами проворачивал бы он, покинув абсолютно случайную для себя редакторскую ниву?! Этого не знает и сам Бог. Но родители поспешили, но время не пришло, и Павлу Ивановичу оставалось только пенять мне на отдельные строки, призывая к изоритмическим заменам посредством искусно подобранных синонимов. («Ну, что вам стоит? Ей-Богу! Минутное дело...»). А пока я, сидя на гостевом стуле, перебирал в голове варианты этих самых «изоритмических замен», Павел Иванович, лежа на тахте, клал себе на живот зеленую лягушку телефона и созванивался со знакомыми помещицами.

Особенно смешила его Коробочка. При первых модуляциях ее хоть и лирического, но старческого сопрано он начинал беззвучно сотрясаться откуда-то с крестца. Постепенно волны смеха перебирали позвонки, опоясывали талию и достигали живота, зримо приподнятого, как купол, над храмом этого небезгрешного тела – купол, увенчанный телефоном с двумя торчащими, как у чертика, рожками рычажков. Живот колебался и вибрировал в такт приступам смеха. Живот ходил ходуном. Вздымался и опадал, как тесто. Но телефон удерживался, прилипал, не падал.

Так творилась высокая поэзия поздне-советской поры в ее переводном эквиваленте.

К семи вечера за своим абонентом заходила приятельница. Павел Иванович надевал брусничный пиджак с искрой – будущую спецодежду российских олигархов – и устремлялся на ужин в общество любителей русского острословия, а я ступал на электричку по той же самой тропинке, где мог бы встретить Бориса Леонидовича, не разминись мы с ним поездами на четверть века.

Книжка «Утренний человек» (1985) выйдет, подобно художественному альбому, на мелованной бумаге, с портретом автора в целую обложку, с завитушками концовок и перечнем всех участников этого трудоемкого предприятия, включая вдоволь насмеявшегося редактора.

На том я посчитал свою миссию, как переводчика, исчерпанной.

В качестве благодарности от Букова мне пришло приглашение в Кишинев на день рождения поэта.

## 5

Лететь в Кишинев было радостно по многим причинам. Уже сам полет настраивал на праздничный лад. Небо прибавляло простора и света. Август осыпал своими дарами сады и базары. В доме Буковых меня встречали почти как родного. Монна Андреевна (жена), постоянно хлопотавшая по хозяйству, окружала гостя добрыми заботами. Виктория (дочь) знакомила с Кишиневом. А Емилиан Несторович посадил однажды в свою «Волгу» рядом с главным архитектором города и прокатил по тем достопримечательностям, какие мы пропустили с Викой. Перед памятником Марксу и Энгельсу (пропущенным) архитектор попросил притормозить и вспомнил, что это Емилиан Несторович посоветовал скульптору, не знавшему как политически грамотней разместить вождей мирового пролетариата на виду у здания ЦК компартии Молдавии:

— А ты усади их на скамейку и пускай беседуют.

По тем временам это было неожиданное решение, но Буков мог его себе позволить.

На день рождения собрались ближайшие друзья. Запомнился литературовед Ефим Давидович Левит. Он принадлежал к тем людям, к которым проникаешься симпатией сразу, с первых минут знакомства, еще ничего о них не зная, но чувствуя, что за их скромностью, вниманием, не многоречивостью скрыто нечто значительное, не нуждающееся в самоанонсах. Много позже я пойму, что в отличии от Букова для Левита присоединение Бессарабии к Советскому Союзу выглядело несколько иначе... В условиях Второй мировой войны жители «новоприсоединенных территорий» оказались на подозрении у советской власти, и вместо Бухарестского университета Фроим Левит попал в одну из санитарных частей Первого Украинского фронта, а его родители погибли в еврейском гетто Кишинева в годы румынской оккупации. Приступая к переводам лирики Букова, я и не догадывался, с какими людьми, с какими судьбами сведет меня этот чисто литературный труд. Но теперь, казалось, он остался позади, хотя книжки еще не вышли.

После застолья Эмилиан Несторович подозвал меня к зачехленному на лето роялю и как бы между прочим, как что-то совершенно обыкновенное, предложил перевести «Андриеша».

Я похолодел.

До сих пор я считал себя спринтером, способным только на короткие рывки, но «Андриеш» – это же целый марафон! Самая большая детская поэма-сказка в мире. С непомерным числом страниц, зарифмованных сверху донизу.

Я высказал автору свои сомнения, сводившиеся к тому, что мне не справиться.

Разговор прервался.

Однако после чая Эмилиан Несторович продолжил агитацию.

— Алексей, вы переведите «Пролог». На пробу. Я покажу в издательстве. А там решим. По ситуации. Так получилось, что я договаривался с Ревичем. Он не отказывается,

но и не переводит. А время идет. Ему некогда переводить, а мне некогда ждать. Я понимаю: у него другая большая работа. Но вы же сейчас свободны. Попробуйте...

Долго ли, коротко ли, только в Москве по пути из театра Образцова мы с дочкой Машей зашли к Ревичам. Мария Исааковна вынесла Маше огромное красное яблоко – алма-атинский «Апорт», в то время как Александр Михайлович с коварной улыбкой знатока вручил мне неподъемную папку подстрочников «Андриеша», сделанных Викой под наблюдением отца. Когда папка потянула мои руки вниз, мне показалось, что у Ревича гора с плеч свалилась. Он освободился от обязательства, выполнить которое в обозримом будущем не мог (или не хотел). А я утешался тем, что никаких обязательств на себя не брал. Речь ведь шла лишь о пробном переводе «Пролога» и всё.

Утром на даче в Новом Иерусалиме я развязал тряпичные тесемки, откинул картонные клапаны, обнажил нетронутую Ревичем стопу подстрочников – листов на пятьсот и углубился в текст.

В тот же день «на горá» были выданы первые четыре строчки перевода. Вспомнились слова Пастернака о том, что переводить в день меньше шестидесяти строк не имеет никакого смысла. Иначе некогда будет писать свое. Там шестьдесят, а тут четыре... До «своего» – дело явно не доходило. О «своем» я вообще не мечтал! Я думал: сколько месяцев при таких темпах буду чикаться с «Прологом»?

На первую строфу (восемь строк) ушло часов шестнадцать.

– Ну, вот и получилось! – сказала Наташа. – Теперь все пойдет как по маслу.

Второй день клонился к вечеру. Обрывок обоев (бумага кончилась на черновиках) украшали знакомые каракули:

Утро, утро! Снова солнце  
Ослепительное льется  
На траву, на что придется,  
В стрекозиные глаза!

Всюду света изобилье!  
 Ласточки, раскинув крылья,  
 С тонким свистом без усилья  
 Рассекают небеса.

Да-а... Чтобы ласточки рассекали небеса *без усилья*, мне пришлось напрягаться два дня...

Дальше, по счастью, дело двинулось веселей. Я вошел во вкус, полюбил героев сказки – чабаненка Андриеша, сторожевого пса Лупара, овечку Миорицу, привык к ним (а они ко мне) и как-то незаметно оставил позади «Пролог», прихватив начальные строфы первой главы. Опомнился. Затормозил. Отослал в Кишинев. Теперь меня охватило противоречивое чувство. Я еще надеялся, что Букову или издательству перевод не понравится, и на этом дело кончится. Но с другой стороны мною овладел и какой-то писательский азарт: как так «дело кончится»? Я же уже вник, настроился, преодолел самый вязкий первоначальный этап, когда овладеваешь формой оригинала; когда ищется словарь, образный строй, темп, тон. Отныне все это надо бы только развивать. Можно и продолжить...

Перечитал начало первой главы.

Тень высокого платана  
 Удлинялась непрестанно.  
 Клена тень вдали росла.  
 Холодком холмы дышали.  
 Фея ночи в черной шали  
 По траве, шурша, прошла.

Птицы певчие умолкли,  
 Потемнел шиповник колкий,  
 И померкли тополя.  
 А потом ночные росы  
 Пали каплями на розы,  
 На уснувшие поля.

Сбившись в кучу, спит отара,  
Андриеш, Лупар, Мيوара.  
Все утихли голоса.  
Никнет мак головкой сонной.  
Зайчик дремлет удивленный,  
Широко раскрыв глаза.

А луна во сне глубоком  
Вдруг исчезла за потоком  
Набежавших облаков.  
И предвестником несчастий  
Клич совы раздался в чаще,  
Пролетел – и был таков.

Над рекой на круче горной  
Старый дуб храпит огромный,  
Шевеля листвою во сне.  
Улеглись речные волны,  
Укротили бег упорный  
И заснули в тишине.

С темнотой играя в прятки,  
Ткут невидимые прялки  
Золотой узор зари.  
Ночь. Молчанье. Лишь черешне  
Шепчет речи ветер вешний,  
Клонит ветки до земли.

Кто же там не спит в загоне?  
Мечется Мيوара, стонет  
И зовет из темноты.  
Вифор Негру – Вихорь Черный  
Смерчем поднялся крученым  
И шагнул через хребты!

Встрепенулись вязы, ели,  
Растерялись, зашумели.  
И пошла волнами дрожь  
По траве переливаться.  
Где спастись, куда деваться,  
Ведь под землю не уйдешь!..

Потрясая высь и недра,  
Затрубили трубы ветра!  
Напрягла Mioара слух,  
Закричала, но напрасно, –  
Оставался безучастным  
Околдованный пастух.

Переполнен градом, громом,  
Бурь кубарь катился, ревом  
Оглашая все вокруг.  
Без подмоги человеческой  
Заметался гурт овечий:  
Где дубрава, стына, луг?

На долину, разъяренный,  
Опустился Вихорь Черный...

Злобой бешеною налит,  
Рощи он корчует, валит,  
И стволы под хруст ветвей  
Расщепляет до корней.  
По траве полуживой  
Хлещет черной бородой  
Или молнии-зигзаги  
Мечет в окна и овраги.  
Землю, как кочан, трясет,  
Давит, душит, топчет, жжет!

Опрокинув кверху дном,  
Дом  
Завертит колесом  
Вперемежку  
С валунами,  
Щебнем, рыбой  
И волнами.  
Всех  
В свою воронку тащит:  
И ползущих и летящих.  
И текут то вверх,  
То вниз  
Вереницы мертвых птиц.  
Поднят в воздух  
Листьев ворох.  
Свет померк:  
Черны, как порох,  
Тучи – недруги лазури  
И родные сестры бури.

Только дунул Вихрь на стадо –  
Взвильсь овцы выше сада.  
И над лугом  
Друг за другом  
Полетели, легче пара,  
Под охрипший лай Лупара  
И ягнята, и Mioара...

Как ударами бича,  
Черный Вихорь, хохоча,  
Их погнал перед собой, –  
Так и сгинул за горой.

Ответ из Кишинева не заставил себя ждать.

«Алексей, перевод меня устраивает. Показал в издательстве. Возражений тоже нет. Продолжайте».

## 6

И я взялся за гуж – «глухую кожаную петлю, укрепленную в хомутных клешнях» (В. Даль).

По будням не без удовольствия тянул его вечерами, по выходным – целые дни. Но особенно продвинулся в отпуске. Пастернаковский завет (шестьдесят строк в день), казавшийся неисполнимым, был выполнен и превзойден: сто строк, двести, триста за световой летний день. Мы жили по пословице: *жена пряди рубашки, а муж тяни гуж*. Временами гуж заклинивало, зато порой он действительно тянулся как по маслу: со свистом! В одну безумную пятницу, проработав с семи утра до одиннадцати вечера, я перевел пятьсот четыре строки, после чего на две недели пал смертью храбрых, подобно герою фильма Вайды «Человек из мрамора». Там каменщик-стахановец лег костыми, установив рекорд кирпичной кладки, а здесь узнал свой предел я, почувствовав себя уже не тянульщиком гужа, а самим гужом, как будто кто-то тянул меня, не давая остановиться. Как говорили в старину, *не тужи, что мочальны гужи: ременные, да и те рвутся*.

Переводимое я отправлял Букову, а он относил в издательство «Литература артистикэ», поставившее новый перевод «Андриеша» в календарный план и заключившее со мной «Авторский договор» (в данном случае я выступал в роли автора перевода). Теперь пути к отступлению были отрезаны, но и бóльшая часть дороги пройдена.

Если Ямского мне требовалось навещать в Переделкино и ублажать синонимическими вариантами, то редактор Анна Стóлова сама прилетела к нам домой из Кишинева. От ее замечаний у меня зарябило в глазах. Текст и поля испещрил редакторский карандаш. Вначале Анна еще со мной церемонилась, а потом без обиняков стала решительно отчеркивать отдельные строчки и целые куски, помечая: «Плохо», «плохо», «плохо»... Как сделать «хорошо», она, естественно, не знала и не должна была знать. Это требовалось от меня. Я тоже не знал, но сделать был обязан.

Наконец, Столовой надоело выписывать волшебное слово целиком, и она прибегла к его усекованию, но не главы, а тулова: «пл.», «пл.», «пл.»... Задав мне перцу, редактор на несколько дней пропала по личным надобностям в московском водовороте, но вернулась к правке в конце командировки и оценила исправленное. Благодарение Небу, еще до приезда Анны я успел прочесть роман Вейса «Возвышенное и земное» – о жизни Моцарта и знал, что спорить с директорами театров, а равно с редакторами или издателями бесполезно. Они всегда правы, как судьи, а ты всегда беззащитен, как обвиняемый. Оправданием художнику служат не сетования на трудности творческого переосмысливания жизни (звуками, красками, словами), не обидчивые предложения типа: «Сами попробуйте...», не косметическая правка сотворенного, а полноценные новые варианты «один лучше другого». Ему следует не отстаивать свою правоту, а предлагать новое. Авторитет Моцарта был для меня непререкаем.

Кажется, Столова улетела из Москвы, осознав, что наше дело не безнадежно, и я продолжал сопровождать Андриеша в его сказочных странствиях.

За новой порцией замечаний уже переводчик слетал в Молдавию. Напомню, что ни о какой электронной почте мир еще не знал. Бандероли шли долго, а Буков торопил. Но что важно: торопил всех, кроме меня. Он-то понимал, как это бывает: ничего-ничего-ничего, а потом – раз! – и только успевай записывать. Анна работала на совесть, а вот дирекция издательства косилась на стопы приносимых Буковым фрагментов перевода. Она (дирекция) не предполагала такой оперативности, ей хотелось бы отодвинуть публикацию «Андриеша» в какое-нибудь светлое будущее, а мы не давали.

Редакторская правка новых глав продолжалась, зато приятно поредела. Мы с Анной стали лучше понимать друг друга. Теперь пришла ее очередь лететь в Москву, но ее опередил Буков. Депутата призвал на свою сессию трубный глас Верховного Совета.

Один вечер я провел в обществе Эмилиана и Монны в гостинице «Москва», в их номере с окном, выходящим на имперскую крепость «Госплана» (ныне Дума). Мы беседовали, Монна Андреевна вязала, утопая в роскошном кресле под оранжевым торшером. Чувствовалось, что эти хоромы Эмилиана смущают, а Монну тяготят. К тому же над нами довлело небезосновательное мнение, что всё здесь прослушивается (тем более за депутатом). Мы чувствовали себя, как рыбы в аквариуме под внешним наблюдением невидимых ихтиологов, а потому обсуждали, в основном, температуру воды, бурление кислорода и красоту окружающих нас гротов. Зато в другой вечер, когда Буковы приехали к нам на «Щелковскую», от вынужденной натянутости не осталось и следа.

По дороге в такси Эмилиан Несторович поинтересовался:

— Алексей, как зовут вашу жену?

— Наташа.

— А по отчеству?

— Наталья Леонидовна. Но можно просто Наташа.

— Нет, нельзя. Раз мать, значит, уже достойна уважения.

После гостиничных апартаментов наша однокомнатная квартирка с двумя веселыми малышами, наверно, показалась гостям тесной клетушкой.

— А где ваш стол? Где вы работаете? – строго спросил меня Буков.

Я указал на кухонный стол-шкафчик.

— Так не годится. Вы пробовали хлопотать об улучшении жилищных условий?

— Пробовал. Бесплезно. Мне в пример поставили семью, которая живет в худших условиях, чем мы, и тоже с двумя детьми. (Это была семья моего товарища поэта Владимира Леоновича).

— Нет, так не годится, – повторил Эмилиан, достал из портфеля какой-то блокнот, вырвал лист, расписался внизу и протянул мне. – Впишите сюда все, что считаете нужным и передайте в Моссовет. Это мой вам *carte blanche*.

Шапку вырванного листа украшала нарядная типографская надпись: «Депутат Верховного Совета СССР».

Я отвез заполненный лист в Моссовет, и он канул в Лету.

Через полгода Буков осведомился, есть ли реакция московских властей на его депутатский запрос об улучшении моих жилищных условий. Реакции не было.

— Вопрос с жильем очень тяжелый, – согласился Буков. – Я сам запрошу повторно, потерпите.

В ответ на повторный запрос депутата нам предложат три варианта улучшения. Один из них мы выберем.

А пока всё оставалось на своих местах. Дом – работа – дом. Первый фронт – дневной, Второй фронт – вечерний, отчасти ночной. Если перевод стопорился, я, вернувшись из Института, предавался заслуженной праздности: играл с детьми или заступал на домашнее дежурство. А то брал в руки гитару, чтобы поимпровизировать с только что переведенным отрывком, названным мною «Песенкой путника»:

Надо путнику немного.  
 Как легка ему дорога,  
 Если он здоров и весел,  
 ничего мешок не весит,  
 солнце греет, но не жарко,  
 и подошвы бить не жалко.  
 Если съел хотя бы корку,  
 да дорожка все под горку,  
 а чащобы все поодаль,  
 да лошадка есть с подводой.

Удивляюсь сам, однако:  
 До чего немного надо!..

Надо путнику немного.  
 Не давил бы лапоть ногу,  
 В озерцах ловилась рыба,  
 На губах бренчала дрымба.

Чтобы персики и груши  
 Сами в рот просились: «Скушай!»  
 Чтобы можно было хлопцу  
 Воздавать хвалу колодцу.  
 Чтоб всегда в селе степном  
 Гостем был он за столом.

Удивляюсь сам, однако:  
 До чего немного надо!..

7

Так строка за строкой пересек я вослед Букову вместе с Андриешем всю сказочную Молдавию и отправился на последнюю доработку в Кишинев к Столовой.

Стоял волшебный май. Цвели абрикосовые сады. Сердце мое по-маниловски замирало и праздновало свои именины, когда редактор перелистывала десятки страниц без единого замечания. И вдруг снова стали попадаться полузабытые «пл.».

— Что такое? Почему опять «плохо»?

— Это не «плохо», — поправила меня Анна. — Это «плелестно»...

Сколько радужных надежд  
 снова в сердце, Андриеш!  
 Много ты бродил по свету,  
 Но не веровал в победу,  
 Как сейчас, ни разу прежде.  
 Славься, звездочка надежды!

. . . . .  
 Столько радости не знали  
 Склоны Валя-Трей-Извоаре.

«Андриеш» был завершен!

Неподъемная папка подстрочников имела теперь все основания превратиться в поэтический том, украшенный

форзацами и цветными иллюстрациями, графикой и рисованными заглавными буквицами (над оформлением трудился художник Павел Обух) и массовым тиражом через отлаженную сеть книжных магазинов поступить читателям в любые уголки Советского Союза!

Основания-то имелись, а шансы?.. Издательство «Литература артистикэ» еще не сказала своего последнего слова.

Ну, а пока суд да дело, мне захотелось увидеть Молдавию не мѣльком, как декорацию школьного велопробега, не в центре Кишинева из окна цековской гостиницы или сквозь забор буковского сада и не в воображении, занятом приключениями Андриеша, а подивиться Молдовой в ее сельском обличье, проверив правильность своего ощущения солнечного края.

Летний отпуск мы провели всей семьей в селе Кочиеры, на высоком берегу Днестра, сняв комнату у многодетных крестьян, приучавших свою малышню с розовых ногтей к молодому домашнему вину – жуткой кислятине, которую они величали «соком» и усердно потчевали им нас, ставя в пример свое захмелевшее потомство. Солнце жгло, как двадцать лет назад. В садах наливались персики. По дворам зычно мычала, под ногами моталась, хрюкала, бляяла, кудахтала деревенская живность. Из конца в конец длинно вытянутого вдоль реки села днем и ночью перекликались горластые сторожевые петухи; беззлобно перелаивались, тонизируя друг друга, миролюбивые собаки; где-то играло радио; переговаривались на непонятном, но уже хорошо знакомом на слух языке окрестные крестьяне. Смысл их разговоров ускользал, однако музыка речи усваивалась, и этого было довольно.

Я подумал: ну, вот ты и увидел сельскую Молдову – родину Андриеша. И – что? Много ли это прибавило к твоему сложившемуся ранее представлению о ней? Пожалуй, скорее убавило. Хорошо, что ты перевел сказку, опираясь только на подстрочник и воображение. Психология нашего восприятия искусства такова, что нам интересна не

калька с реальности, а реальность, преобразенная сознанием художника.

Кто-то не доверяет подстрочникам и считает, что переводчик поэзии обязан знать язык оригинала, но работа над «Андриешем» убедила меня в обратном и позволила извлечь *Второй урок*: главным для переводчика служит родной язык, а вовсе не язык подлинника; для литературной работы совершенствоваться надо в родном языке, а не в иностранных.

*И урок Третий*: главным для поэта служит его фантазия, тогда как реальность лишь подспорье для рождения образов, возникающих в воображении.

Несколько дней перед отъездом в Москву мы прожили у Буковых. Монна Андреевна в саду учила Наташу варить варенье из абрикосов, падавших с веток прямо в кипящий таз. Я не мешал Эмилиану Несторовичу уединяться за работой. Он простудился, часто покашливал, но дисциплины писательского труда не нарушал. Перед окном его кабинета рос высокий южный тополь. Буков – тоже высокий, подтянутый – отождествлял его с самим собою:

...А если голубой прозрачный шелк  
 Набрасывает мне мечта на плечи,  
 То кажется, как будто из ступней  
 Врастают корни-пальцы прямо в глину  
 И раздвигают медленно ее.  
 А собранный на самой глубине,  
 В глухом ядре воспоминаний предков –  
 Сок поднимается во мне, как лава,  
 Терзая, ужасая, горяча,  
 И вместе с тем лаская, укрепляя.  
 И этот сок живительный, святой  
 Я посылаю кроне, ветвям-мыслям,  
 Чтоб превратился в пламя хлорофилла,  
 в осенний пурпур, в зрелый добрый плод.  
 Тогда счастливей вряд ли под луной  
 Кого-нибудь найдешь ты, тополь мой...

Однажды я с дочками и Викой пошел погулять на озеро в парке недалеко от дома. Мы возвращались, когда началось светопреставление: не *представление* (иллюминация), а *преставление* (конец света).

Среди бела дня солнце погасло, затмилось тучами. Всё потемнело. Налетел какой-то сумасшедший смерч – настоящий Вифор-Негру. В лицо ударила пыльная буря. Посыпались искры с электропроводов. Мы поставили детей спинами к ветру и пошли ему навстречу. Другого пути домой у нас не было.

Позже, уже дома, сидя за столом, я заметил, как сервант покачнулся, отошел от стены и снова стал на место. И тут же подо мной влево-вправо подвинулся диван. Более ничего не произошло. Эпицентр землетрясения был далеко в Кодрах, да и горы это старые, не способные на могучие содрогания, но и малого толчка оказалось достаточно, чтобы ощутить ужас от разверзающихся где-то глубоко под тобою недр. Возникло такое холодящее чувство, как будто на мгновение ты повис над бездной... А ведь диван никуда не делся, он только подвинулся влево-вправо.

Больше толчков не было.

Склонный к позитивным толкованиям мистических совпадений, я решил, что так природа отреагировала на завершение «Андриеша». Не где-нибудь в Кордильерах или на японских островах, а именно здесь, в Кодрах, не когда-нибудь вообще, а ровно перед нашим отъездом из Кишинева, земной шар качнуло от произведенного на него художественного впечатления!..

Все складывалось как нельзя лучше. Мы хорошо отдохнули, благополучно пережили сдвиг земной коры, носивший чисто символический характер, и этот «символизм» был истолкован нами в свою пользу, и хотя Вика давала понять, что издательство сопротивляется, не хочет нового перевода, что гораздо проще ему было бы переиздать сокращенный старый, а я сознавал, что ни мои труды, ни труды редактора принимать во внимание никто не станет,

но все-таки уповал на всемогущество Букова, на его имя, на тень его имени... А еще во мне жила наивная вера в то, что люди, издающие книги, беззаветно любят литературу, особенно поэзию, что они ценят Букова не как Героя и депутата всех созывов, а как поэта, сердцем поющего жизнь и свою родную Молдову; как таланта, создавшего образцы лирической патетики, когда она не была в ритуальные барабаны, а устремлялась к истокам, к извечным ценностям жизни.

\* \* \*

...Никто не смеет так, как мать, смеяться.  
Никто не вправе, как она, рыдать.  
Так, как она, бороться и смиряться.  
Так, как она, предчувствовать и ждать!..

\* \* \*

...Когда угасают вечерние краски  
Я верю: ты любящим сможешь помочь  
И лунным бальзамом, лучистым и вязким,  
Сполна напоишь их, апрельская ночь!..

\* \* \*

Лист зеленый, цвет вишневый.  
Ночь в росе.  
Прихожу я в сад знакомый  
По шоссе.  
Поворот дорогу вертит.  
Вишни в рост.  
На холме танцует ветер –  
Весел, бос.  
Он кружится, озорует  
И, креня,  
Обнимает и целует  
Он меня...

\* \* \*

Ты спишь...  
Я думаю о том,  
Чтоб избежал твой сон тревоги  
И не сковал его дороги  
Мороз ночным прозрачным льдом.  
Согласен все отдать я сну,  
Пусть только выйдет, не переча,  
С корзиной ландышей в лесу  
Твой сон сейчас тебе навстречу...

\* \* \*

...Ты голос мамы слушай,  
Течет он, точно солнце,  
Оберегая душу  
От горького сиротства.

Свирельки луч смолистый,  
Напев ее малиновый...  
За маму помолись ты  
Пресветлою молитвою...

Неужели это – главное, что есть в человеческой и творческой сути поэта, слышавшего дыхание птиц, не имеет никакого значения, а все определяют его авторитет в коридорах власти и государственный статус? Ну, а если бы их не было?.. Какое всесоюзное радио, какое центральное телевидение сообщили бы, что в Кишиневе на семьдесят шестом году жизни скончался народный поэт Молдавии Эмилиан Буков? И как узнала бы об этом кассирша в кассах «Аэрофлота», без звука выдавшая мне билет в заполненный и готовый подняться самолет?

Дни прощания совпали с молдавской осенью, прогретой мягким, уже не опаляющим солнцем.

На поминальной тризне я убедился, что слова «слезы брызнули» не иносказание. Плакал Ефим Давидович Левит, знавший цену потерям.

Абрикосовый сад погружался в сумерки, и высокий тополь за окном постепенно заволакивался ими до самой вершины.

Полно вокруг затей,  
забавам нет числа.  
Сменяются  
великие маэстро.  
А песенка одна  
прозрачна и чиста,  
Ее не заглушает  
медь оркестра.

Ни вздорный барабан,  
ни дружный голос труб,  
Ни струнных  
своевольные порывы  
Не в силах побороть  
движенье детских губ  
и флуера  
простые переливы.

Увянет гордый лист.  
Растают облака.  
И ты уйдешь,  
а это повторится:  
По солнечной росе  
бежит издалика  
Навстречу Андриешу  
Миорица.

И так же зелен холм,  
ручей, как прежде, чист.  
Уже туманы  
расстилает вечер.  
И флуер над тобой,  
как в детстве, зазвучит,  
Его напев  
бесхитростен и вечен.

Через три года перевод «Андриеша» вышел в свет.

## Глава вторая

### СПРОСИТ ВЕЧЕР

1987

*Поэзия – искусство музыкальное. Маяковский. – Гендриков переулоч. Хлебников. Пастернак. – Воспитание вкуса. Мандельштам. Цветаева. – Сны наяву. – Солдатик (август 68–70). – «Магистраль» на «Соколе». Грузинские тосты. – Вымороженная весна. – «Читайте свою Ахматову!» – Первая книга поэта.*

#### 1

По словам бабушки, папа научился читать в четыре года, и с тех пор его любимая поза была: с книжкой на диване. В первом классе, когда у всех по складам «Лу-ша мы-ла ра-му», у него уже слитно, пущенная в плавание воображением Лермонтова,

Русалка плыла по реке голубой,  
Озаряема полной луной;  
И старалась она доплеснуть до луны  
Серебристую пену волны.

И шумя и крутясь колебала река  
Отраженные в ней облака;  
И пела русалка – и звук ее слов  
Долетал до крутых берегов...

Но я не унаследовал такое раннее развитие и в дописьменный период своей истории (до школы) вполне довольствовался маминым чтением вслух перед сном. Громадный однотомник Пушкина 1935 года издания (жив у меня до сих пор) стал неисчерпаемым источником, питавшем детскую фантазию. Книга предназначалась для взрослых, ее не оживляли почти никакие картинки, а текст был убористо набран в две колонки. И все это оказывало на меня самое благотворное влияние. Ничто не отвлекало от восприятия поэтического слова как такового. Даже красота шрифта не вмешивалась в это своеобразное «чтение ушами». Слово со страницы сразу переносилось в звучащее пространство. Я сам без помощи художников-иллюстраторов с маминого голоса рисовал в своем воображении слышимое, в любой момент мог уточнить у мамы не понятое, а после нескольких повторов запоминал строфу за строфой наизусть. Вместе со стариком мы выкликали золотую рыбку; ходили вослед попу «по базару // Посмотреть кой-какого товару»; а сказку о Золотом петушке и злочлечениях царя Дадона, полюбившего шамаханскую царицу, я выучил от и до. Поэзия – искусство музыкальное. Стихи требуют произнесения вслух. Их недостаточно читать про себя. А если вслух они не произносятся, то это тревожный знак. Но всё пушкинское прекрасно произносилось, пелось и переливалось, не впадая в излишнюю чувствительность, сохраняя разумную трезвость, уместность и неизменное благородство. Мама сама получала большое удовольствие от такого чтения, и ее радость передавалась мне.

Но – грамота тверда. И всю начальную школу я отлынивал от печатного слова, читая только задаваемое: от сих до сих. В пятом классе мне в руки попала «Библиотечка военных приключений». Этим ядовитым зельем я травился года два, не меньше. «Королем» жанра считался тогда некий Тит Шпáлов (назовем его так). Он организовал массовое и бесперебойное производство книжных

серий типа «Дьявол зажигает огни» или «Миссия капитана Жихарева». «Вновь нашему герою Платону Жихареву бросают изощренный вызов недруги рода человеческого, поджигатели новой мировой войны. Но чародей сыска и его ученица смелая комсомолка Тоня Смолова ставят надежный заслон проискам кулацких недобитков, их последышей и заокеанских хозяев». Шпалов проповедовал наступательную оборону. Покрытый мраком неизвестности, тайный фронт советских рыцарей плаща и кинжала бодрствовал днем и ночью, как и автор, не знавший ни отдыха, ни срока. Его усилия были замечены и оценены. В нашем дачном кооперативе под Москвой ему принадлежала самая раскидистая дача и самая разлапистая ель в соответствии с той самой развесистой клюквой, которую он собирал на своем шпионском болоте. Пока мои друзья зачитывались Фенимором Купером и Жюлем Верном, Марком Твеном и Джеком Лондоном, я беспомощно барахтался, затянутый чавкающей топью шпионажа. Но через два года почувствовал острую необходимость порвать с тиной, очиститься от ядовитых выделений трясины. Борьба со злом приводила не к его истреблению, а к умножению: зло меня злило.

И я пережил невероятное откровение – настоящий прыжок через логическую пропасть. Вместо того, чтобы последовательно, шаг за шагом отходить от «шпаловых» через современную подростковую литературу или отроческие воспоминания классиков, я неосознанно вытащил с домашней книжной полки почти столь же объемный, как том Пушкина, но почему-то куда более легкий «кирпич» Маяковского. В дальнейшем выяснилось: почему? Дело было не в бумаге, а в содержании. Пушкин в стихах исповедовался, а то и каялся, тогда как Маяковский к своей исповеди добавлял изрядную толику проповеди и непогрешимости, причем не собственной, а заимствованной, чужой. От этого его посмертный «кирпич» оказался сложенным не только из кварцевого песка чистой

лирики, но и во многом из коровяка с соломой – любимых ингредиентов государственной пропаганды. Крепость тóму придавал песок, а высушенный коровяк обеспечивал легкость. Артисты выбирали из «кирпича» легкую фракцию, и она шла «на ура» по радио, с городских эстрад и сельских подмошков. Тем более, что ее злободневность была мастерски оркестрована ораторским искусством автора, массой первостатейных рифм, рифм-открытий, создававших вместе с небывалыми ритмическими ходами новую музыку речи. Однако моя читательская память, как только я научился отличать песок от соломы, хранила по преимуществу блёстки кварца.

\* \* \*

...Я,  
 Златоустейший,  
 Чье каждое слово  
 Душу новородит,  
 Именинит тело,  
 Говорю вам:  
 Мельчайшая пылинка живого  
 Ценнее всего, что я сделаю и сделал!..

\* \* \*

...А там,  
 Где тундрой мир вылинял,  
 Где с северным ветром ведет река торгí,  
 На цепь нацарапаю имя Лилино  
 И цепь исцелю во мраке каторги...

\* \* \*

...Я хотел быть понят моей страной,  
 А если не понят, что ж?  
 По родной стране пройду стороной,  
 Как проходит косой дождь...

Или вот – целая пригоршня кварца: лучшее описание эвакуации Добровольческой армии из Крыма. По силе и благородству письма такой образ барона Врангеля, какой за тридевять земель от Крыма высек в слове «великий пролетарский поэт», не смог создать ни один певец белого движения – очевидец событий.

...Наши наседали,  
 крыли по трапам,  
 кашей  
 грузился  
 последний эшелон.  
 Хлопнув  
 дверью,  
 сухой, как рапорт,  
 из штаба  
 опустевшего  
 вышел он.  
 Глядя  
 на ноги,  
 шагом  
 резким,  
 шел  
 Врангель  
 в черной черкеске.  
 Город бросили.  
 На молу –  
 гóло.  
 Лодка  
 шестивёсельная  
 стоит  
 у мола.  
 И над белым тленом,  
 как от пули падающий,  
 на оба  
 колена

упал главнокомандующий.

Трижды

землю

поцеловавши,

трижды

город

перекрестил.

Под пули

в лодку прыгнул...

— Ваше

превосходительство,

грести? —

— Грести! —

Убрали весло.

Мотор

заторкал.

Пошла

веселó

к «Алмазу»

моторка...

Прочитанное вслух, это производило впечатление ошеломляющее. И я уже не обращал внимание на то, как же грести, когда убрали весло? И зачем грести, если лодка моторная?.. Эти алогичные мелочи тонули в меняющихся ритмах, ясно зримой без всякого «видеоряда» картине спасающейся бегством армии, в трагической патетике живого слова. Всё отступило перед настоящим, перед правдой, поднявшейся из глубин воображения, увиденной внутренним взором художника. Какие «шпáловы», панове? Какой еще «шпионаж»?! Маяковский одним движением вырвал меня из этой трясины.

Некоторое время поэт, как дневное солнце, один властвовал на моем духовном небе.

Но пришла благодатная ночь...

Солнце исчезло. Зато зажглись мириады звезд разного блеска и величины. Перечислить все невозможно. Назову хотя бы несколько.

## 2

Мне исполнилось двенадцать лет, когда власть устами своей опричнины позорила в стенах Дворца спорта, в газетных анафемах и на митингах «трудовых коллективов» славное имя Пастернака, подписав себе еще один отсроченный смертный приговор. Через два года после этой гражданской казни поэт умер от онкологии. В год его смерти я впервые прочел про себя и перечитал вслух:

\* \* \*

Как бронзовой золой жаровен,  
Жуками сыплет сонный сад..

\* \* \*

Мне снилась осень в полусвете стекол,  
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,  
И, как с небес добывший крови сокол,  
Спускалось сердце на руку к тебе...

\* \* \*

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь  
И в них твоих измен горящую струю.  
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,  
Рыдающей строфы сырую горечь пью...

\* \* \*

...Гроза в воротах! на дворе!  
Преображаясь и дуря,  
Во тьме, в раскатах, в серебре,  
Она бежит по галерее.

По лестнице. И на крыльцо.  
Ступень, ступень, ступень. – Повязку!  
У всех пяти зеркал лицо  
Грозы, с себя сорвавшей маску.

\* \* \*

...Кто тропку к двери проторил,  
К дыре, засыпанной крупой,  
Пока я с Байроном курил,  
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,  
Как в ад, в цейхгауз, в арсенал,  
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,  
Как губы в вермут окунал.

\* \* \*

...У капель – тяжесть запонок,  
И сад спит, как плёс,  
Обрызганный, закапанный  
Мильоном синих слёз...

\* \* \*

...Разве просит арум  
У болота милостыни?  
Ночи дышат даром  
Тропиками гниlostными...

\* \* \*

...Скорей со сна, чем с крыш; скорей  
Забывчивый, чем робкий,  
Топтался дождик у дверей,  
И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.  
И, если разобраться,

Так пахли прописи дворян  
О равенстве и братстве...

\* \* \*

...Не знаю, решена ль  
Загадка зги загробной,  
Но жизнь, – как тишина  
Осенняя, подробна.

И подобно тому, как Лермонтов откликнулся на гибель Пушкина стихотворением «Смерть поэта» («Погиб поэт! – невольник чести – // Пал оклеветанный молвой...»), так же Пастернак оплакал гибель Маяковского стихотворением с тем же названием «Смерть поэта», как бы подчеркивая параллель, возникшую с интервалом в столетие.

Не верили, – считали, – бредни,  
Но узнавали: от двоих,  
Троих, от всех. Равнялись в строку  
Остановившегося срока  
Дома чиновниц и купчих,  
Дворы, деревья, и на них  
Грачи, в чаду от солнцепека  
Разгоряченно на грачих  
Кричавшие, чтоб дуры впредь не  
Совались в грех. И как намедни  
Был день. Как час назад. Как миг  
Назад. Соседний двор, соседний  
Забор, деревья, шум грачих.  
Лишь был на лицах влажный сдвиг,  
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней  
Десятка прежних дней твоих.

Толпились, выстроясь в передней,  
Как выстрел выстроил бы их.

Как, сплющив, выплеснул из стока б  
Лещей и шуку минный вспых  
Шутих, заложенных в осоку,  
Как вздох пластов не холостых.

Ты спал, постлав постель на сплетне,  
Спал и, оттрепетав, был тих, –  
Красивый, двадцатидвухлетний,  
Как предсказал твой тетраптих.

Ты спал, прижав к подушке щеку,  
Спал, – со всех ног, со всех лодыг  
Врезаясь вновь и вновь с наскоку  
В разряд преданий молодых.  
Ты в них врезался тем заметней,  
Что их одним прыжком достиг.  
Твой выстрел был подобен Этне  
В предгорье трусов и трусих...

Имя Маяковского привело меня в Гендриков переулок, где музей поэта дополняли библиотека и маленький сад. Читательский билет № 1001 давал мне право пользоваться ими. Здесь я впервые взял в руки стихи Виктора (Велимира) Хлебникова и ротапринтное издание его «Досок судьбы», отпечатанное на какой-то сине-серой бумаге вроде той, в которую дореволюционные купцы заворачивали сахарные конусы. После громокипящего Маяковского, после словесной магии Пастернака передо мной возникло какое-то странное существо не от мира сего: то ли лесной, то ли полевой человек, застигнутый врасплох сдвигом времён; то вдруг Божий зрак, взирающий на мир из глубин Вселенной; а то свидетель распоясавшейся народной

вольницы, – и всегда творец бесконечно причудливых образов-откровений, не понятно как и откуда рождавшихся в его гениальной голове.

\* \* \*

...Око косое бога войны  
Старой избы окном покосилось,  
Спрятано в бровях лохматых,  
Белою мышью смотрело...

\* \* \*

Кому сказатеньки,  
Как важно жила барынька?  
Нет, не важная барыня,  
А, так сказать, лягушечка:  
Толста, низка и в сарафане,  
И дружбу вела большевитую  
С сосновыми князьями.  
И зеркальные топила  
Обозначили следы,  
Где она весной ступила,  
Дева ветреной воды.

\* \* \*

...Язык железного жезла,  
Скрипя, вонзился в мягкий пол.  
На справедливой каре зла  
Земной покоится престол...

\* \* \*

Точит деревья и тихо течет  
В синих рябинах вода.  
Ветер бросает нечет и чёт,  
Тихо стоят невода...

\* \* \*

Мне гораздо приятнее  
Смотреть на звезды,  
Чем подписывать  
Смертный приговор.  
Мне гораздо приятнее  
Слушать голоса цветов,  
Шепчущих: «Это он!» –  
Склоняя головку,  
Когда я прохожу по саду,  
Чем видеть темные ружья  
Стражи, убивающей  
Тех, кто хочет  
Меня убить.  
Вот почему я никогда,  
Нет, никогда не буду Правителем!

\* \* \*

Как воды полных озер  
За темными ветками ивы,  
Блестели глаза у сестер,  
А все они были красивы.  
Одна, зачарована богом  
Старинных людских образов,  
Стояла под звездным чертогом  
И слушала полночи зов.  
А та замолчала навеки,  
Душой простодушнее дурочки,  
Боролися черные веки  
С глазами усталой снегурочки.  
А та – золотистые глины  
Любила весной у тела,  
На сене, на стого овина  
Лежать – ее вечное дело...

\* \* \*

Свобода приходит нагая,  
 Бросая на сердце цветы,  
 И ты, с нею рядом шагая,  
 Беседуешь с небом на «ты»...

\* \* \*

...И если в зареве пламен  
 Уж потонул клуб дыма сизого,  
 С рукой в крови взамен знамен  
 Бросай судьбе перчатку вызова...

\* \* \*

...По затону трех покойников,  
 Где лишь лебеда лучи,  
 Вышел парусник разбойников  
 Иступить свои мечи...

&lt;...&gt;

Баба-птица ловит рыбу,  
 Прячет в кожаный мешок.  
 Нас застенок ждет и дыба,  
 Кровь прольется на вершок.  
 И морю утихнуть легко,  
 И ветру свирепствовать лень.  
 Как будто веселый дядько,  
 По пояс несется тюлень...

Хлебников воплотил для меня не только всю расхристанность, весь хаос революции, мировой истории, но и рваные ритмы ее повторяющихся волн. Размерный разнорядомой его стихов сминал традиционную гармонию. В нем уживались негибимый формализм, цирковое искусство литературного фокусника-трюкача и тончайшие лирические наития. Он долго не отпускал меня, словно привораживая каким-то тайным колдовством.

3

Там же в библиотеке музея Маяковского мне попалась книжечка, еще раз перевернувшая мое представление о возможностях русского поэтического слова. Когда-то школьником я прочел в мемуарах Эренбурга строки, сразу схваченные памятью:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,  
 До прожилок, до детских припухлых желез.  
 Ты вернулся сюда, так глотай же скорей  
 Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Литературу у нас вела весьма образованная и начитанная дама. Я спросил у нее – учительницы 41-й школы в Обыденском переулке – самом центре Москвы:

— Кто такой Мандельштам?

И она ответила с искренним удивлением:

— Мандельштам? Не знаю. Первый раз слышу.

На дворе стоял 1961-й год.

И вот, спустя пять лет, я держал в руках дореволюционное издание первой книжки Мандельштама «Камень». Здесь было всё то, над чем глумились ломовые извозчики советской литературной критики: европейская образованность, тонкость прикосновения, нежность, лирическая грусть, чарующая музыка речи, ее необычайная гибкость, когда слова не громоздятся друг на друга, а идут вместе, взявшись за руки, обогащаясь массой общекультурных ассоциаций. Мандельштам – поэт ожившей детали, чистого образа, воплощенного в простом и одновременно изысканном слове. Он умен, а не заумен; он изящен, а не манерен; его письмо – волхование со словом, а не мудрствование над ним. Он – одно из олицетворений высокого искусства русского модерна.

\* \* \*

На перламутровый челнок  
 Натягивая шелка нити,

О, пальцы гибкие, начните  
 Очаровательный урок!  
 Приливы и отливы рук –  
 Однообразные движенья,  
 Ты заклинаешь, без сомненья,  
 Какой-то солнечный испуг, –  
 Когда широкая ладонь,  
 Как раковина, пламенея,  
 То гаснет, к теням тяготeya,  
 То в розовый уйдет огонь!

\* \* \*

Образ твой, мучительный и зыбкий,  
 Я не мог в тумане осязать.  
 «Господи!» – сказал я по ошибке,  
 Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,  
 Вылетело из моей груди!  
 Впереди густой туман клубится,  
 И пустая клетка позади...

\* \* \*

Невыразимая печаль  
 Открыла два огромных глаза,  
 Цветочная проснулась ваза  
 И выплеснула свой хрусталь...

\* \* \*

Скудный луч холодной мерою  
 Сеет свет в сыром лесу.  
 Я печаль, как птицу серую,  
 В сердце медленно несу...

\* \* \*

В Европе холодно. В Италии темно.  
Власть отвратительна, как руки брадобрея.  
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,  
На Адриатику широкое окно.  
< . . . >  
Любезный Ариост, посольская лиса,  
Цветущий папоротник, парусник, столетник,  
Ты слушал на луне овсянок голоса,  
А при дворе у рыб надворный был советник...

\* \* \*

Длинной жажды должник виноватый,  
Мудрый сводник вина и воды,  
На боках твоих пляшут козлята  
И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клянутся и злятся,  
Что беда на твоём ободу  
Чёрно-красном и некому взяться  
За тебя, чтоб поправить беду.

\* \* \*

Мастерица виноватых взоров,  
Маленьких держательница плеч!  
Усмирён мужской опасный нором,  
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,  
Раздувая жабры: на, возьми!  
Их, бесшумно окающих ртами,  
Полу-хлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,  
Наш обычай сестринский таков:  
В тёплом теле рёбрышки худые

И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный...  
 Что же мне, как янычару, люб  
 Этот крошечный, летуче-красный,  
 Этот жалкий полумесяц губ?..

Не серчай, турчанка дорогая:  
 Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,  
 Твои речи тайные глотая,  
 За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, – гибнушим подмога,  
 Надо смерть предупредить – уснуть.  
 Я стою у твердого порога.  
 Уходи, уйди, ещё побудь.

1959-й год книжный мир отметил событием необычайным. В «заштатной» Калуге вышел альманах «Тарусские страницы», составленный из произведений поэтов и писателей, когда-либо населявших еще более «заштатную» Тарусу или вообще Калужанию. Сам факт издания в Советском Союзе многого из того, что украсило альманах, стал возможным только благодаря колоссальному авторитету Константина Паустовского, под чьей эгидой книга вышла в свет. Там я впервые прочел стихи Марины Цветаевой – эмигрантки, жены белого офицера, потом тайного агента НКВД, расстрелянного своими же, а сама Марина погибла в эвакуации в какой-то Елабуге... Ничего больше я о ней не знал. Но судьбы поэтов меня тогда интересовали меньше, чем их стихи. Судьбам еще не настал свой черед, а стихи интересовали так, что отыскивались повсюду: в официальных изданиях и подпольно: на папиросной бумаге «самиздата», во французских «имка-прессах» и американских «ардисах» – где угодно! Так и Цветаева входила в мою жизнь отовсюду, постепенно и долго, чтобы остаться в ней навсегда. Она – позор отца,

профессора-филолога, изгоняемая из гимназий за вопиющее пренебрежение науками, сумела самообразоваться вне гимназических стен, чтобы обратить книжный и жизненный опыт, фортепьянные штудии детства, врожденную образную мощь и чудовищную нервную энергию на благо поэзии. С юных лет она следовала правде собственных душевных потрясений, а не какому-либо канону, заданному извне, в том числе и патристическому. Она не делила собственных кумиров на чужих и своих. Шестнадцатилетняя Марина воспела Наполеона:

\* \* \*

...Он Тот, в чьих белых пальцах сжаты  
Сердца и судьбы, сжат весь мир.  
На нем зеленый и помятый  
Простой мундир.

Он Тот, кто у кремлевских башен  
Стоял во весь свой малый рост,  
В чьи вольные цвета окрашен  
Аркольский мост.

А в восемнадцать лет, не изменяя ни императору, ни стихотворному размеру, призналась в любви к врагу Наполеона генералу Тучкову – герою Отечественной войны Двенадцатого года.

\* \* \*

...Ах, на гравюре полустертой,  
В один великолепный миг,  
Я встретила, Тучков-четвертый,  
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,  
И золотые ордена...  
И я, поцеловав гравюру,  
Не знала сна...

Без задержки, как положено большому поэту, прошла Цветаева пору ученичества и обрела свой неповторимый голос, интонацию, ритмику, словарь, позволившие раскрыться во всей полноте ее всеобъемлющему духу: крестьянки, дворянки, боярыне, владычице морской... На поэзии такой пробы и воспитывается художественный вкус.

\* \* \*

...Пусть весь свет идет к концу  
Достою у всенощной!  
Чем с другим каким к венцу –  
Так с тобою к стеночке.

— Ну-козь, до меня охоч!  
Не зевай, брательники!  
Так вдвоем и канем в ночь:  
Одноколыбельники.

\* \* \*

Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет.  
И вот потомки, вспомнив старину:  
— Где были вы? – Вопрос как громом грянет,  
Ответ как громом грянет: – На Дону!  
— Что делали? – Да принимали муки,  
Потом устали и легли на сон.  
И в словаре задумчивые внуки  
За словом: долг напишут слово: Дон.

\* \* \*

...И – набережная. Воды  
Держусь, как толщи плотной.  
Семирамидины сады  
Висячие – так вот вы!  
Воды – стальная полоса  
Мертвецкого оттенка –

Держусь, как нотного листа  
Певица, края стенки –  
Слепец... Обрато не отдашь?  
Нет? Наклонюсь – услышишь?  
Всеутолительницы жажд  
Держусь, как края крыши  
Лунатик...  
Но не от реки  
Дрожь – рождена наядой!  
Реки держаться, как руки,  
Когда любимый рядом –  
И верен...  
Мертвые верны.  
Да, но не всем в каморке...  
Смерть с левой, с правой стороны –  
Ты. Правый бок, как мертвый...

\* \* \*

...Кто – чтец? Старик? Атлет?  
Солдат? – Ни черт, ни лиц,  
Ни лет. Скелет – раз нет  
Лица: газетный лист!  
Которым – весь Париж  
С лба до пупа одет.  
Брось, девушка!  
Родишь –  
Читателя газет.

Кача – «живет с сестрой» –  
ются – «убил отца!» –  
Качаются – тщетой  
Накачиваются.

Что для таких господ –  
Закат или рассвет?  
Глотатели пустот,

Читатели газет!

< . . . >

О, с чем на Страшный суд

Предстанете: на свет!

Хвататели минут,

Читатели газет!..

\* \* \*

Москва! Какой огромный

Странноприимный дом!

Всяк на Руси – бездомный.

Мы все к тебе придем.

<...>

А вон за тою дверцей,

Куда народ валит, –

Там Иверское сердце,

Червонное горит.

И льется аллилуйя

На смуглые поля.

– Я в грудь тебя целую,

Московская земля!

#### 4

В 60-е годы эти творения только искали свои пути к читателю, встречая пуританское сопротивление наших «лордов-хранителей печати». Но, помимо трудного возвращения мастеров Серебряного века, те же годы блеснули взлетом советского эстрадного стихотворства – яркоталантливого, шумного, молодого. Я следил за ним по страницам литературных журналов, из амфитеатра Политехнического музея, с трибун Дворца спорта – того самого, который совсем недавно был выбран в качестве лобного места для осужденного за книгу со стихами Юрия Живаго. Всесоюзная травля и преждевременная кончина автора вызвали волну интереса к поэзии. Фактически

читательский поворот в сторону творчества Пастернака и других загнанных поэтов стал легальным протестом гонителям свободного слова в широком смысле: не только слова социального, но и слова художественного.

В то время я еще не имел ни малейшего представления о том, как такое слово рождается. Только догадывался, что никакого ума на его создание не хватит. Ума хватит на заметку в газету. На изобретение, научную статью, монографию. Сноровки рифмача хватит на поздравление к юбилею. Хитрость ума сложит конъюнктурные вирши, закрученный роман. Изворотливость ума – приношение «и нашим и вашим». Но как вызвать в себе такое горение, когда слова сами, помимо твоей воли, обугливают страницу; когда день смешивается с ночью, а ты этого не замечаешь, вынутый из времени, погруженный в вечность?

Я слышал о некоем болезненном состоянии, которое выражается в хождении во сне, в бессознательных действиях. Римляне называли его сомнамбулическим. Ко мне оно не имело никакого отношения. Помню, в десятом классе я опоздал на первый урок. Проспал. Жесткий литератор Григорий Никитич только улыбнулся, глядя на мой морозный румянец:

— В здоровом теле здоровый дух!

Но вдруг оказалось, что состояние подобное сомнамбулическому можно пережить перед широким окном в окружении книг, над листом бумаги, за столом, возле перекидного календаря. В какой-то момент ты начинаешь как бы тонуть в полусне. Зрение переворачивается, реальная картина исчезает, а вместо нее со всей отчетливостью проступает картина воображаемая и одновременно с ней возникает ее словесный портрет. Откуда они являются – тайна. С какой целью? Неведомо. Чистому творчеству не предшествует никакое целеполагание. Ты не знаешь, где твой старт и где финиш. От чего ты оттолкнешься и к чему причалишь. Если знаешь, то и остаешься в рамках времени. Шанс прорваться сквозь время имеет лишь

трансляция неведомого тебе замысла в творческие сны наяву. Ее ни в коем случае нельзя вызвать усилием воли. Она возникает сама и всегда внезапно. Роль «хождения во сне» играет здесь смена образов, а «бессознательность» состоит в том, что никаким напряжением ума невозможно подвинуть эти образы меняться, облекаясь в слова. Они либо сами меняются по *своей* воле, а не по твоей, либо пропадают. И ты из художественного обетования возвращаешься в реальное бытие: окно, книги, лист бумаги, стол, перекидной календарь – символ твоего возврата в текущее мгновение, во вновь обретенную способность воспринимать окружающее.

Мне, всегда ценившему время, теперь снова хотелось пережить его неожиданную пропажу, утрату из утрат, когда утром за письменным столом смотришь на часы и видишь: 9.15, а потом поднимаешь голову от листа, и на часах уже 17.50, тогда как по ощущению прошло минут двадцать... Правда, «пропавшее время» не исчезает бесследно. Как раз наоборот. Оно оставляет зримые следы своего пребывания. Еще это можно назвать состоянием наваждения, подъема всех душевных и физических сил, вдохновением – как хотите, но раз пережив такое счастливейшее чувство, начинаешь бояться, что больше «пропажа» не повторится, и пытаешься ее обмануть – вызвать искусственно, приблизить, поторопить, однако убеждаешься, что все напрасно. Не ты правишь ею, но она тобой. И с этим приходится смириться. Лучшим подспорьем для следующего погружения, если оно произойдет, станет интенсивность обыденной жизни, обилие впечатлений, вникание в смыслы, а что именно пригодится, не твоего ума дело. Яркое событие может никак себя не проявить, а мелочь, деталь выйти на первый план. Заранее ты этого не знаешь и не должен знать. И никто не знает. Всё решается в какой-то не предусмотренный миг, который может застать тебя, где угодно и в каком угодно настроении, и ты не знаешь, совпадет ли твое художественное настроение

с реальными обстоятельствами жизни или окажется им противоположным, точно так же, как художественное пространство не совпадает с реальным. Но коварство заключается еще и в том, что тревога может быть ложной или до обидного краткой, а часто: вначале ложной, а потом боевой. И все это надо претерпеть, освоить, не обмануться, принять.

## 5

Менделеевский институт славился своей военной кафедрой.

Говорили, что после Военно-химической академии самую серьезную подготовку по военной химии получали выпускники Менделеевки. Девочек учили на начальниц полевых лабораторий, нас – на командиров взводов химической разведки. Со второго курса один день в неделю полностью отдавался военной кафедре, а сдав свою восьмую сессию, мы отправились на шестьдесят дней в Карпаты на военные сборы. В горах, в лесу под Самбором расположился полк химической защиты, к которому нас и прикомандировали. Из студентов мы стали курсантами в солдатских гимнастерках. Жили взводами под брезентом шатровых палаток, спали на нарах, подчинялись сержантам-хохлам – отменным служакам с полным семилетним образованием, школившим нас построениями, плацем, разборкой-сборкой оружия, маршами с песней на полевые учения и обратно по отзывчивой к чеканному шагу полевой пыли:

- Курсант Струдель, запевайте!
- Эх, пол-ным пол-на моя коро-бочка,  
Есть в ней си-тец и пар-ча...  
Ать-два! Ать-два!..

А занятия в поле или на полигоне проводили наши менделеевские полковники – высококлассные и более того, интеллигентные офицеры, смотревшие на нас, как на своих детей, и оставившие по себе самую добрую память.

Между тем год пражской весны перетек в «антипражское» лето. Шел август и хотя мы были с шести утра до

одиннадцати вечера загружены ратными учебными трудами, ограждены от газет и радио, тем не менее напряжение чувствовалось и только нагнеталось. Никаких разъяснительных бесед наши полковники с нами не проводили. Политинформации для солдат срочной службы и московских курсантов вел на лесной поляне местный старший лейтенант – подтянутый щеголь в отутюженной складочками офицерской форме, надраенных до блеска хромовых сапогах и с веточкой, которой он похлестывал себя по голенищу на манер какого-нибудь белогвардейского поручика. Старлейт донес до нас вначале озабоченность, потом недовольство и, наконец, возмущение советских вождей событиями в Чехословакии. Всё очень серьезно. «Отставить смех!» У политинформатора был такой вид, как будто он знает гораздо больше того, о чем говорит, а, может быть, и больше самих вождей, но вынужден сохранять военную тайну и лишь смутно намекать, к чему идет дело. Как оживились германские реваншисты. Как зашевелились их заокеанские покровители. Как мы делаем всё для того, чтобы образумить заигравшихся в демократию чехов: встречаемся, требуем обратить внимание, увещеваем, но напрасно и потому обязаны держать порох сухим. От Мюнхена до Праги всего один танковый переход – и НАТО у наших границ. Речь идет о попытке расколоть сплоченность социалистического лагеря, а во что заваруха выльется, не нам судить. Наше дело солдатское. Но мы знаем твердо: броня крепка, и танки наши быстры.

К середине августа наш батальон вместе с полком передислоцировали почти на самую границу – в заполненный военными Самбор. Уже был создан Прикарпатский фронт с центром во Львове. Силы концентрировались. Стальная удавка на горле Чехословакии начала сжиматься. Город не лес. Всё, что рассеивалось по лесу, здесь, в Самборе, вибрировало и отражалось в четырех стенах гарнизонной ограды. На перекурах исподволь завязывались разговоры о том, что следующая передислокация возможна

и в Прагу... Пошлют – не пошлют? Кто мы тут? Балласт, болтающийся под ногами у регулярных войск, или частичка армии? Не понятно...

Утром 21 августа проснулись, а вокруг – тихо и пусто. Ночью наш полк химзащиты бесшумно снялся с места и, «исходя из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудничества с народом братской Чехословакии», присоединился к полумиллионной армии вторжения. А мы, не покидая казарм, сдали госэкзамен и вернулись в Москву. Вскоре в кинохронике на Арбате я увидел советские танковые колонны, продвигавшиеся по булыжным пражским мостовым и частым мостам через Влтаву и слышал голос диктора: «Жизнь в Праге входит в нормальную колею». Насколько это «колея» была «нормальной», вызывало большой вопрос.

Позже память о чешских событиях откликнулась во мне песней «Солдатик (Август 68-го)».

В тени Карпат, под Самбором, в лесу  
 Я службу оловянную несу.  
 Я танки туполобые пасу.  
 Я – солдатик на посту.  
 Домой  
 Никак нельзя назад.  
 Со мной  
 Мой черный автомат,  
 Приклад,  
 Свинцом налитый ствол.  
 Он тянет вниз. О, как же он тяжел!

Уперся в Прагу красный карандаш.  
 Свобода – хмель. Пора кончать кураж.  
 И получил приказ полковник наш  
 Город взять на абордаж.  
 – Постой! –  
 Кричу ему. – Назад!

Со мной  
 Мой черный автомат,  
 Приклад,  
 И ствол свинцом налит...  
 — Ты присягал.  
 — Но разум не велит.

А траки заработали, дрожа,  
 Как мясорубки, перегной кроша,  
 И засверкала лезвием ножа  
 Наша мощь, а разум — ша.  
 И я  
 Остался на часах  
 Один  
 В задымленных лесах.  
 Один,  
 Уставив в землю ствол.  
 Я — здесь. Границу я не перешел.

А танки за ночь сделали бросок.  
 Они сумели выполнить урок.  
 И утром чешский захрустел песок  
 По обочинам дорог.  
 Редел  
 Туман со всех сторон.  
 Летел  
 Над головами стон,  
 И сквозь  
 Моторов рваный гуд  
 Неслось:  
 — Они идут! Они идут!

И бесполезно красный светофор  
 Мигал на перекрестке, как укор.  
 Забрать детей и двери на запор,  
 Словно в город входит вор.

Броня  
Ползет из-под земли.  
И башни  
Вертятся в пыли.  
Слова  
По радио текут:  
— А я  
им верил, что не перейдут.  
.....  
На Рождество жестокий стал мороз.  
Я оловянный, я не перенес.  
Была мне греза: Прага – город роз.  
Я молил ее до слез:  
— Домой  
Мой прах верни назад.  
Зарой  
Мой черный автомат,  
Приклад,  
Свинцом налитый ствол  
И подтверди,  
Что я не перешел.

Но меня смущали две строчки:

И получил приказ полковник наш  
Город взять на абордаж.

Дело было не в пиратской лексике, отразившей мое отношение к событиям, а в этом неведомом *полковнике*. Вряд ли обыкновенный *полковник* мог получить и соответственно отдать приказ пяти тысячам танков оккупировать Чехословакию. Тут должен был отметиться гусь покрупней. Я пробовал повысить *полковника* в звании, но ничего не получалось. Слово не позволяло. Почему-то оно избрало именно *полковника* и никак не соглашалось менять его ни на кого другого. Я уступил, как будто смирился с тем, что

нельзя противиться Божьей воле, даже если она не логична. Спустя много лет из рассекреченных данных операции «Дунай» стало известно, что на вопрос министра обороны маршала Гречко, готовы ли воздушно-десантные войска к выполнению боевой задачи, их командующий генерал Маргелов ответил: «Вдребезги разнесем всё к чертовой матери!» Это испугало Брежнева, которому требовалось сохранять миротворческую мину и максимально избегать жертв. Он выразил опасение, как бы военные «ни наломали дров». На экстренном заседании Политбюро накануне операции политическим командующим армии вторжения был назначен секретарь ЦК товарищ Мазуров, успевший предупредить жену, что срочно вылетает в Киргизию. Его охранял принцип двойной конспирации: по документам он проходил как «генерал Трофимов», а все дни пребывания в Праге носил форму *полковника*. Значит, приказ взять Прагу получил и отдал пусть и маскарадный, но именно *полковник*, командовавший всей операцией. Это укрепило меня в сознании того, что со словом, если оно чего-то не хочет, спорить нельзя. Нельзя упорствовать. Надо покориться, и покорность будет вознаграждена.

## 6

*Григорий Михайлович Левин ведет литературную студию «Магистраль» на «Соколе».*

Если расшифровать, то вся эта фраза – абсолютно документальная; простая, как объявление – таит в себе массу деталей, требующих уточнений; скрывает немало поворотов, которыми наполнилось начало 70-х годов прошлого века – того самого времени, что принято считать вершиной благополучия и восхождения советского государства на пик мирового могущества.

Главный интерес заключался в самом Левине. Он родился 25 октября 1917 года, то есть не только в год, а с разницей до стиля исчисления в день *Великой* Октябрьской революции, которую и мыслил таковой всю свою жизнь.

Если бы не кощунство метафоры, то подобно тому, как капитализм называли *повивальной бабкой* социализма, Октябрьскую революцию можно было бы назвать *повивальной бабкою* Геры Левина (урожденного Германа). Верность ей он хранил до конца века, когда все перепуталось, и уже сам социализм стал *повивальной бабкою* нового русского капитализма. Та же функция перешла от одного строя к другому, и родилось примерно то же самое, только со своими «издержками», наверно, потому, что *бабки* были все-таки разные. Но до такого перерождения Левин не дожил, как и многие чистые коммунисты-бессеребренники – люди его поколения, которые, дотяни они до нового времени, вряд ли смогли бы его принять. Судьба то ли сжалась над ними, то ли посмеялась, закрыв для них светлое будущее на Земле, в которое они верили (!), и раскрыв им рай на Небесах (?), в который они не верили ни минуты.

Левин был коммунистом по призванию. Но по призванию он был и литературным критиком. Сочетание критик-коммунист может показаться слишком контрастным. Критик рушит, коммунист строит. Однако «веяние времени» подсказывало, что рушить следует то, что мешает строить. Тогда критик-коммунист не химера, а честный труженик. Но большой вопрос, что именно следует рушить? Все ли рúшимое настолько дряхло? Ни попадаетея ли среди рúшимого что-нибудь нерушúмое, обо что расплющивается сам критический молот? И здесь возникло противоречие между идеологией и эстетикой. В ряде случаев оказывалось, что лучшими поэтами России являются враги советской власти; что творчество их нерушимо, размолотить его невозможно, никуда его не денешь, остается только замалчивать. Получалось, что коммунист и критик вынуждены меняться местами: коммунист отрицать: нет! – тогда как критик утверждать: да!

На моих глазах для Левина таким камнем преткновения стал белый эмигрант поэт Владислав Ходасевич. Как эстет, Левин не мог перед Ходасевичем не преклоняться,

а как коммунист обязан был его осуждать. Для человека 1917 года рождения это противоречие выглядело просто трагически. Позор на голову профессионала обходить молчанием одного из столпов Серебряного века, а как о нем расскажешь публично? Недаром говорят: *жизнь страшней, чем умереть*. А если донесут?..

Принял Григорий Михайлович толику: ноги не слушаются, язык не слушается, а голова работает. В конференц-зале ВИНТИ, где единогласно, как повсюду, принимались резолюции против вероотступников и несогласных, перед пишущей братией – учениками всех возрастов и профессий, встал, качнувшись над столом, седовласый уроженец Полтавской губернии, зажмурился и – ушел в раздвоенное ласточкино небо.

Имей глаза – сквозь день увидишь ночь,  
 Не озаренную тем воспаленным диском.  
 Две ласточки напрасно рвутся прочь,  
 Перед окном шныряя с тонким пискком.

Вон ту прозрачную, но прочную плеву  
 Не прободать крылом остроугольным,  
 Не выпорхнуть туда, за синеву,  
 Ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным.

Пока вся кровь не выступит из пор.  
 Пока не выплачешь земные очи –  
 Не станешь духом. Жди, смотря в упор,  
 Как брызжет свет, не застилая ночи.

В Союзе писателей СССР таких стихов не читали. Их читали в литературной студии «Магистраль» до тех пор, пока число слушателей ни расширилось на весь зал, и администрация решила, что без такого рода чтений ей будет жить спокойней. Но до этого было еще далеко, и Левин делал все, что мог, чтобы обезопасить студию.

Помимо страха перед доносами (вполне возможными), Григорий Михайлович разделял два серьезных опасения и испытывал одну большую гордость.

Во-первых, он опасался американских империалистов; как никто, не доверял их обещаниям, был к ним крайне подозрителен и придирчив. Правда, рецидивы недоверия вспыхивали обычно в заключительной части застолья, когда всё было выпито, веселье улетучилось, и его сменяла известная в народе тоска, выливавшаяся у кого в протяжное пение, у кого в плач по утраченным надеждам, а у кого в тревоги внешнеполитического толка.

Во-вторых, Левин – человек категорически вне казенный, а коммунист категорически беспартийный – как огня, боялся парткома, который мог нагряться с проверкой в любой момент занятия. Поэтому он, спохватившись, мог сам в любой момент учинить проверку присутствующих, выкликая их поименно по списку и заноса фамилии новичков на случайный клочок, подвернувшийся под руку. Однажды он, прищуриваясь под толстыми очками, долго выяснял фамилию студийца, прятавшегося от смущения в полутемном зале за спинами товарищей.

— Как ваша фамилия? Я вас не вижу. Покажитесь! Вы слышите? Я вас имею в виду. Да, вас-вас... Фамилия как ваша?

В конце концов выяснилось, что это его сын.

Но собственных разовых проверок в качестве защиты от потенциальных внешних было недостаточно, и на должность студийного старосты Григорий Михайлович кооптировал Ефима Пустоводова – члена парткома ВИНИТИ, начинающего стихотворца. Свой дебют Ефим осветит поэмой «Слово о товарище Брежнев», богато инкрустированной цитатами из автобиографической прозы Леонида Ильича, за которую вождь удостоится Ленинской премии не по чему-нибудь, а по литературе. (Причастность к этой рукописи брежневского спичрайтера Александра Бовина заинтересует меня после того, как Бовин в приватной беседе проявит такую любознательность

и такое знание некоторых тонкостей роста кристаллов, которое в нем трудно было заподозрить. Ого! – подумаю я. – При эдакой эрудиции и владении пером автобиографию можно написать за кого угодно). Ключевыми словами поэмы Пустоводова, как и цитат из генсека, стали: *Малая Земля, Молдавия, степь, хлеб, систематически*.

Ясно, что Левин держался за старосту, как за манну небесную, надеясь прикрыть им и Ходасевича с Галичем, и наши безответственные выкрутасы. Ефим не подвел. Новое назначение прибавило ему веса в собственных глазах, поступательности в движениях и выверенности в мышлении образами. Все публичные вечера «Магистрали» начинались Прологом из его поэмы в авторском исполнении. Ключевые слова выделялись на бумаге курсивом, а при чтении – интонационно. Пролог выполнял роль идейного «паровоза», сам же Пустоводов перемещался по сцене заодно с текстом, как маневровая «кукушка», не зависимо от основного состава, но создавая при этом выгодное для всех шумовое оформление и как бы выпуская дымовую завесу сброшенным творческим паром. Став предметом общего внимания, Ефим продолжил работу над поэмой, расширяя ее цитатами из Отчетных докладов и текущих выступлений Леонида Ильича, что позволяло поддерживать постоянный уровень ее идейности и актуальности. Пользуясь этим, в отчетах для парткома Григорий Михайлович ежегодно так прямо и указывал на высокую идейно-политическую подготовку студийцев. Едва ли партком этому верил, поскольку отчетов никто не читал. К тому времени складывалась система тотального формализма, расцветшая в постсоветскую пору – главное соблюсти букву негласного договора, отозваться на требование администрации, а смысл не важен: вы отчитываетесь за фикцию, мы принимаем фикцию за отчет.

Это по части опасений, а предметом гордости Левина оставались его ученики. Он их не хвалил. Он ими тайно гордился. Любимых называл выпускниками

«Магистрали». Приемный экзамен в студию состоял в обсуждении прочитанного своего. Не принятых зачисляли вольнослушателями. Собирались часа на четыре раз в неделю. Никакой обязательности в посещениях не было. К обсуждению готовились, и автор и два квалифицированных оппонента. Ходить в студию можно было сколько хочешь: хоть год, а хоть всю жизнь. Никаких дипломов об «окончании» не выдавалось, потому что никакого «окончания» не существовало. Как не было ничего от сих до сих, кроме вахтера в дверях, ближе к ночи запиравшего институт на ключ. А было бескрайнее море поэтических текстов, новых имен, погружение в мировую литературную ауру.

К тому времени я уже познакомился с неистощимым в острологии Александром Ароновым, похожим на курчавого Вакха, вечно кружащегося в заразительном кураже; с Виктором Забелышенским и с другим Виктором – Гиленко, постоянными оппонентами на наших обсуждениях; с Владимиром Леоновичем – поэтом некрасовской традиции, вольным переводчиком Галактиона Табидзе... Левин не стеснялся приглашать меня – новичка – в свои компании с Фазилем Искандером, Николаем Панченко, Давидом Самойловым... Конечно, творчески он очень даже различал кто есть кто, но по-человечески вообще, казалось, не делал никаких различий. Если вы здесь, то и поехали ко мне на день рождения. «Будут хорошие люди». Так складывался стиль жизни, стиль «Магистрали».

Воздействие поэзии часто не объяснимо. Почему это стихотворение, а не то? Почему не та песня, а эта? Почему одно и то же при одних обстоятельствах почти не задевает, а при других трогает до глубины души? На Вечере «Магистрали» в Малом зале ЦДЛ я пел свою песню «Август». Левин – ведущий Вечера – сидел у меня за спиной, я его не видел. В какой-то момент посредине песни в зале возникло странное движение: как будто бесшумно прошел нервный импульс, и я заметил, что занимавший место в первом ряду поэт Ян Гольцман, изменился в лице. При этом в отличие

от меня он видел Левина. Я повернулся. Григорий Михайлович сидел, закрыв глаза платком. Он плакал на виду у всего зала. После Вечера попросил посвятить ему эту песню (таких просьб я еще не принимал ни от кого).

А у себя дома на «Речном вокзале» выпускник студии Булат Окуджава разбирал при мне мои сочинения. Все они имели музыкальный аккомпанимент – гитарное сопровождение, но я привез их как стихи, чтобы ничто другое не влияло на их оценку, и Булат читал их как стихи, проникаясь великодушием к моей неопытности и волнению.

## 7

Тем не менее называть обстановку в «Магистрали» идиллической я бы не решился. Жесткие разборки на обсуждениях. Не прощение фальши, конъюнктурных мотивов, банальных рифм никому, кроме Пустоводова, который был выведен Левиным из-под огня критики, как жертвенный агнец. Именно агнец! Он откармливал себя в собственное удовольствие и на благо студии славословиями вождю, не утруждаясь поисками свежих рифм. Но при этом обрекал себя на творческое заклятие: Пустоводов и не обсуждался с дополнениями своей мега-поэмы, и не рос под мучительным, но благотворным судом друзей, завершавшимся приговорами Левина – по большей части оправдательными, всегда промежуточными и подлежащими обжалованию.

Что же касается окружающего нас литературного мира, то мало сказать, что он был недоброжелательным. Хуже. Он был равнодушным.

- Принесли? Оставьте. Позвоните через месяц.
- Натанчик, там Смирнов из самотека...
- Ну, это не срочно.
- Вы видите шкафы до потолка? Они забиты вашими рукописями. Мы посчитали, что если прием закрыть и печатать только самотек, то его хватит на одиннадцать лет.
- Коленька, будут звонить авторы, отвечай, что меня нет и быть не может.

Я – вчерашний студент, а при издательстве «Молодая гвардия» открыт новый журнал – «Студенческий меридиан». Неужели и там?..

Прихожу.

Встречает хрупкий юноша. Как сказали бы в старину, архивный.

Литконсультант Валентин Никитин.

Читает принесенное и, – о, радость! – говорит, что берет. «У вас все стихи, как на подбор». Покраснев от смущения (много вы такого видели?), просит оставить ему автограф стихотворения «Вечная родина» (никто прежде не просил). Такое впечатление, что я нашел своего редактора. Кроме того, мне ужасно импонирует его русская речь с грузинским акцентом. Это не пародия на язык, а естественная интонация русского мальчика, выросшего в Тбилиси. И вот – «Студенческий меридиан». Как Никитин попал в эту комсомольскую богадельню? Вопрос не тактичный. Стилистически обидный. Валентин – верующий. Православный. Церковь, посты. Он этого не скрывает. Потому трудности с трудоустройством. Сюда его рекомендовал Андрей Вознесенский. Сказал начальнику: не возьмете, не будет моей подборки. Чувствуется, что мы с Вале́й прониклись друг другом, но по юной халатности адресами не обменялись и разминулись. В журнале он долго не продержался. Думаю, его «ушли» сразу после того, как напечатали Вознесенского.

Той осенью я путешествовал по горной Грузии.

В Гóбри меня встретил чуть ли ни единственный во весь рост памятник кремлевскому горцу в длиннополой шинели: дом, где он родился; рассказы о начале революционной борьбы, то есть об «экспроприациях» на нужды партии. Сами авантюры сильно смягчены, потому и героика заметно приглушена. Ни в какие дискуссии никто не вступает.

Дворец князей Дадиани в Зугдиди удивил шпагой молодого Наполеона, его посмертной маской и лучшей

в Европе частной коллекцией оперных партитур. Все это привез сюда внучатый племянник Бонапарта, женившийся на менгрельской княжне. Ее будущий (по легенде) отдаленный родственник товарищ Берия не упоминается.

Старый Тбилиси очаровал естественной кривизной и горбатостью рельефа; деревянными террасами, как кора, облепившими склоны, спускавшиеся в узкую и мутную Куру, коричневатую от глины; гортанностью грузинской речи, напоминавшей о том, что выросший здесь русский отрок сохранит этот акцент навсегда. А многоголосое пение, когда три аборигена, встретившись на углу улицы и став в кружок, запевают так, что движение вокруг может на время остановиться?.. А два встречных троллейбуса на проспекте Шота Руставели, которые не сдвинутся с места, пока их водители не выразят друг другу всех добрых чувств и не разнимут братских объятий?..

Но этим мои грузинские впечатления не ограничились.

На Базалетском озере, высоко в горах, нелегкая занесла меня на крестьянский пир. Горцы отмечали 60-летие своего земляка Георгия. Сидели не первый час. Воздух гудел от хмеля. Вино и чачу разливали не из бутылок, а из дюралевых чайников. Юбиляр усадил меня рядом с собой, как почетного гостя, и начались здравицы да такие, какие в Москве, в дружеской компании были просто немыслимы. «За великий Советский Союз!», «За нерушимую дружбу русского и грузинского народов!» Как эти лозунги забрались на такую верхотуру? Почему простой народ принимает их так близко к сердцу? Или делает вид? Не похоже. Кажется, мой приход пробудил в пирующих чувство интернационального долга. «За великий русский народ!» весь пир пьет стоя. А русский я один. Этот тост вызывает в горцах чувство законной гордости. В моем лице они чествуют весь великий русский народ. Даже не ожидали, что так получится. Грузинский говор не умолкает. Предполагаю: пиршество еще и потому возбудилось, что последняя здравница цитирует тост товарища Сталина

в Кремле на обеде 45-го года в честь Победы... Угадал!.. На другом конце стола встает инвалид с костылем подмышкой, но какой войны и войны ли? – не понятно. Во всяком случае для Отечественной слишком молод. Долго качается, ища опору своему тяжелому хмелю, перекладывая костыль слева направо и обратно. Застолье затихает. Инвалид находит меня глазами и, вперившись оком в око, тоном, не терпящим возражений, провозглашает новый – самый главный – тост: «За великого Сталина!» Все головы поворачиваются в мою сторону. Говорят, что в подобных критических ситуациях советские писатели избирали одно из двух: 100% эту здравицу поддерживало, а несколько человек ссылались на то, что их самочувствие резко ухудшилось, и они не могут участвовать в тосте по чисто медицинским причинам. Я же был настолько безрассуден, что пить отказался. Один, среди незнакомых абреков, для которых имя тоста было олицетворением Победы. Более зловещей паузы я еще не переживал. Инвалид выбирал, каким способом меня порешить. Думаю: дело плохо; сейчас убьет... Спас Георгий. Он встал рядом, обнял за плечо и сказал, что ни одного пирующего нельзя принуждать, за кого ему пить. Тем более – гостя. «Костыль» в сердцах повернулся и вышел вон. Против древнейшего обычая гостеприимства даже «главный тост» оказался бессилён.

На эти живые впечатления наложилось то, что я знал о Грузии по театру и кино, по живописи Пиросмани («Он жизнь любил не скупой, // как видно по всему, // но не хватило супа // на всей земле ему», Окуджава), по грузинской поэзии, по Лермонтову. Но главное все-таки по собственному чувству, возникшему в этих странствиях.

Вначале я представил себе Грузию как виноградную гроздь, подернутую инеем первых заморозков, а потом она явилась мне Деревом – кавказским Древом жизни.

Уже передо мною сдержанно,  
ветвями черными колыша,

слегка покачивалось дерево,  
поскрипывало еле слышно.

По нижним веткам дети ползали  
и, пятясь, цепко, как креветки,  
друг другу выдирали волосы,  
кривили губы и ревели.

Перебирали кошки лапами,  
худые, как из-под весны,  
и воровато рыбы плавали  
в аквариумах подвесных.

В тени ветвей швея работала,  
и лампа в темноту манила,  
где, хлопая по-старомодному,  
стучала швейная машинка.

Всю ночь, иглою тычась тугонько,  
она головкою кивала  
и так усидчиво постукивала,  
как будто зернышки клевала.

А на хвосте катушка вздрагивала.  
Текла серебряная нитка  
от сумерек до света раннего,  
и женщина над нею никла.

Склонялась так, как никли издавна,  
выстрачивая стежки косенько,  
и шились платья длиннолистные  
из черных листьев прошлой осени.

А были листья золоченые,  
другие: красные, оранжевые...

Но выбирали только черные,  
другие в черное окрашивали.

И черный цвет носили женщины  
как память обо всех потерянных,  
как память обо всех пожертвовавших  
собой, чтоб не погибло дерево,

чтобы весной оно – зеленое –  
опять восстало – их любимое –  
до сердцевины опаленное  
и все-таки неопалимое!

И крепко жило там поверие,  
что если шить другое, пестрое,  
то быстро станет сохнуть дерево.  
‘Так говорили жены с сестрами,

так детям говорили матери,  
на их вопросы отвечая,  
и были их глаза внимательные  
черны, как платья, и печальны.

И мне, чье расставанье пробито,  
осталось отойти растерянно,  
поняв, что эти корни – родина,  
вся крона – родина, все дерево.

Прошло несколько лет.

Мы с Наташей приехали в Коктебель. Сняли комнату с пансионом. Вечером выходим на улицу. Тьма кромешная. Вдруг издали знакомый говорок с грузинским акцентом. Говорок приближается. Спрашиваю во тьму:

— Это Валя Никитин?

— Да, я.

Разминувшись на свету и найдя друг друга в полной темноте, мы уже не терялись из виду.

Валя точил перышко не стихами, а, как он их называл, «медитациями». Живого чувства и философичности было у них в достатке, но формальное совершенство автора не устраивало, и потому он никуда их не предлагал, кроме крымской веранды над морем под тяжкими гроздьями лиловой «изабеллы», которые хозяйка срезала ножницами на белое блюдо, пока гости-поэты выбирали, что прочесть...

А Левин уже вызванивал меня по Москве.

— Алеша, срочно сдавайте стихи! Грядет Совещание молодых.

Время от времени в поле зрения партии и правительства оказывался то тот, то другой блок проблем; то та, то другая возрастная группа граждан. Сейчас взор упал на «творческую молодежь», а уж если что-то делали, то по высшему разряду, даже если речь шла не о Совещании молодых литераторов любых жанров, а о событии куда более локальном. Один раз я в этом убедился.

Пионерский журнал «Костер» в Ленинграде на средства ЦК ВЛКСМ устраивал сбор молодых детских писателей. Только детских. Я таковым не был, но отдельные мои тексты бродили по лабиринтам Детгиза. Меня пригласили. В Институте кристаллографии Академии наук мне – дипломированному химику в должности старшего лаборанта – платили 90 рублей в месяц, а в здании ЦК ВЛКСМ тому же мне ни за что выдали билеты в купе на «Красную стрелу», оплаченную бронь гостиницы в центре Питера и 250 рублей денег на десять дней на еду и карманные расходы. Причем, самое интересное, что при такой халяве на заседания можно было вообще не ходить (я ходил), никто отчета не спрашивал. Ходишь – не ходишь, участвуешь – не участвуешь – всё «до лампочки». Главное, чтобы по бумагам комар носу не подточил. Поэтому в конце года мне позвонили и с чувством легкой иронии сообщили, что я остался должен Центральному Комитету три пятьдесят. Просьба вернуть. А вот это уже – без иронии.

Спустя годы, главный редактор «Костра» писатель Сахарнов – организатор ленинградской встречи – рассказал мне, что я попал в его поле зрения «от противного». В Москве, в Детгизе он присутствовал на издательской «летучке». Там выступавшие горячо возражали против некоего Алексея Смирнова, которого «нельзя подпускать к детской литературе на пушечный выстрел». Сахарнов заинтересовался и в лучших традициях «Костра» включил меня в число участников Семинара.

Сарафанное радио работало, не барахлило, и теперь «творческая молодежь» кинулась сдавать рукописи: Совещание предстояло сравнительно с ленинградским куда более солидное. По слухам с правом рекомендации на книги и даже в Союз.

Абонировали Дом творчества кинематографистов в Софрино, под Москвой. Раз платил тот же ЦК ВЛКСМ, то и кадры на Совещание подбирались с его участием по итогам негласного «творческого конкурса». Второй раз в число избранной креатуры имярек не попал.

Звоню Левину: «Я в ауте».

Вскоре он перезванивает. «Слушайте меня внимательно. Я договорился с Булатом. Ему предложили вести семинар поэзии. Он за вас похлопочет.

Надо попасть!».

Приезжаю на общий сбор в Колпачный, 5 (бывший особняк Кноппа) – туда, где теперь заседает сугубая коммерция, а раньше билось пламенное комсомольское сердце. И начинается тот самый советский цирк, когда обмен фикциями создает подлинность.

Увидев меня и курнув напоследок, Булат отделяется от окружающей его публики («Среди ночных фигур // ты губы морщишь едко, // к ним, как бикфордов шнур, // крадется сигаретка», Вознесенский), гасит сигарету, легким круговым движением приобнимает секретаря, ответственного за список участников, и прогуливает его по фойе. О чем они говорят не слышит никто, но как гуляют – видят

все. Секретарь, известный лишь узкому кругу причастных к скипетру и державе, оказывается в центре внимания литературной общественности. С ним доверительно беседует европейская знаменитость, у которой при иных обстоятельствах он мог бы и не взять автографа, отстояв хвост после творческого вечера. Секретарь польщен, размягчен, умаслен. *О ком* идет речь, его совершенно не интересует. Его интересует только, *кто* ведет речь. Понятно, что ни копейки лишней у комсомола нет, поэтому взять меня на казенный кошт он не может (транспорт, проживание, столование, командировочные), ну, а против участия в творческом семинаре не возражает. «Пожалуйста, Булат Шалвович, если вы его берете, какие могут быть вопросы?» А творческий семинар и есть то главное, то подлинное, во имя чего затевается вся эта показуха!

Да, ездил каждый день из Москвы на электричке. Да, столовался за свои. Да, не смотрел голливудскую дребедень, которой организаторы ублажали себя вечерами. Но семинар Слуцкого и Окуджавы ЦК ВЛКСМ отдал мне – не согрешил!

А по итогам обсуждений Совещание рекомендовало часть семинаристов на первую книгу, и независимо от того, что мы не являлись членами Союза писателей, издательства обязаны были принять наши рукописи к рассмотрению.

Считая себя вполне современным молодым человеком, я отнес свою машинопись в московское издательство «Современник» и на время о ней «позабыл». Ясно, что немедленно ею заниматься не будут, а выказывать настойчивость не тактично. Там работы и без меня хватает.

## 8

В 1978 году – в год десятилетия пражской весны – мы с Наташей впервые попали в столицу чехов. Первое впечатление было не зрительным – город тонул в рассветных сумерках и скорей угадывался контурами шпилей и башен, чем был виден воочию; и не слышимым – все

молчало, погруженное в предутренний сон. Только наш поезд заскрежетал, тормозя у пустого перрона. Первое впечатление было учуянным: Прага пахла углем. Город топился угольными брикетами и пах так, как в Москве титаны в вагонах дальнего следования: угольным дымком. А первый человек, которого я увидел на вокзале, был угольщик, нагребавший совковой лопатой горку брикетов. Лопата карябала по асфальту, скрежетала, подбираясь под уголек, не сверкавший, как антрацит, а какой-то тускло-коричневый, хилый, едва ли способный по-хорошему прогреть стены старых пражских каминов. Угольщик в очках с золоченой оправой выглядел университетским профессором.

— Кто это? – спросил я встречавшего нас аборигена.

— Бывший профессор Карлова университета. Теперь – угольщик.

И это стало первым увиденным нами следствием того противоправного лета 1968 года.

Наступило утро. Город ожил. Открылись магазины, заполнились кафе.

Доверяясь внешним свидетельствам благополучной жизни, легко обмануться. Мандельштам заметил, что горожанин выглядывает в окно, видит бегущий трамвай и решает, что все в порядке. Между тем как по радио разоблачают вредителей – врагов народа. Вредителей разоблачают, а трамваи идут... Исправно ходили они и по Праге с той разницей, что никто в них не уступал мест никому. Здесь не объявляли, как у нас: «Граждане пассажиры! Уступайте места пожилым людям, пассажирам с детьми, инвалидам и беременным женщинам». Здесь, даже если бы в вагон вошел пожилой инвалид с ребенком и беременной женщиной, вряд ли бы кто-нибудь встрепенулся. Не принято. Бег трамваев говорил о том, что транспорт работает, народ входит и выходит на остановках, но что он при этом думает о жизни, как себя ощущает под властью коллаборантов – неизвестно. Порой, как у нас, по улицам

проносились черные машины с синими мигалками. Иногда они ревели, но глуше, не так бесцеремонно и без такого гнусного карканья. В каждой машине сидело по товарищу Гусаку – твердовыйному гусаку, исполненному собственной значимостью, и все они двигались утром в Градчаны – Пражский кремль, а вечером – обратно. И в воздухе чувствовалось какое-то оцепенение. Казалось, что общество сковано невидимыми наручниками. Пражская весна была выморожена на жизнь целого поколения.

Ну, а Влтава текла, как прежде, под своими красивыми мостами, под одним из которых – Карловым – стоял в полном облачении средневековый рыцарь, воспетый Мариной Цветаевой как вызов клирикальному официозу – чугунным иерархам на мосту:

...Не устанем  
Мы – доколе страсть есть!  
Мстить мостами.  
Широко расправьтесь,

Крылья! В тину,  
В пену – как в парчу!  
Мосто – вины  
Нынче не плачу!

— «С рокового мосту  
Вниз – отважься!»  
Я тебе по росту,  
Рыцарь пражский.

Сласть ли, грусть ли  
В ней – тебе видней,  
Рыцарь, стерегущий  
Реку – дней.

На съезде Карлова моста для входивших с морозца Мостецкая пекарня распахивала двери в булочный жар и выкатывала из душных недр пышущие хлебá и сдобы, отливавшие маслянистым румянцем на боках.

А чехи по ресторанчикам пили свое любимое «пивичко», выбранное из несметных сортов ассортимента, и не чистили к нему воблу. По-русски тронуть бокал жирными рыбьими пальцами, оставляя отпечатки на стекле, считалось в здешних краях оскорблением национального эстетического чувства.

На портрете в пивной «У Калиха», где балагурил Швейк, по щеке императора Франца-Иосифа ползла все та же муха времен Первой мировой войны, а Минералогический музей на Вацлавской площади хранил нарочно оставленные следы 68 года от метких попаданий советских танков, но сам город танки давно покинули. Вся наша авиационная и сухопутная братская помощь сосредоточилась на военно-воздушной базе в Миловицах, под Прагой. Прикарпатский же фронт упразднили сразу после блестящего успеха операции «Дунай».

## 9

Книга – главное изобретение человечества – служила верной опорой советскому строю. Бесконечное печатание трудов «классиков марксизма-ленинизма» и ежедневных газет обеспечило создание мощной полиграфической базы и всего издательского комплекса. При этом многочисленные издательства, корпус опытных редакторов, грамотных корректоров, художников-графиков отвечали за выпуск не только партийного агитпропа, но самой разнообразной литературы, включая художественную. Вышедший в свет тираж распространялся по всей стране специальной «Союзкнигой» через развитую сеть книжных магазинов и газетных киосков, библиотек и читален. Книги рецензировались, широко обсуждались. Тексты изучали литературоведы, филологи, лингвисты. У писателя было две задачи:

написать и добиться издания. Остальное делала отлаженная государственная машина. Но добиться издания мог далеко не каждый член Союза писателей, не говоря уже о не входящих в избранный круг. Здесь, кроме мастерства, принимались во внимание общественный статус, авторитетные связи и, как минимум, лояльность. Правда жизни постоянно декларировалась, а повсеместно требовалось понимание текущего момента, постоянного усиления международной напряженности, сменяемого ее смягчением иногда и не надолго... Тем временем пестрыми фонтанами рассыпались детские копеечные издания, нарахватили дорогие подписные. И они того стоили. Издательская культура правила бал. Писателей-классиков переиздавали много и охотно, особенно тех, кто достиг высшего признания. Юбилейный Гоголь выходил изящными томами с иллюстрациями бесподобного Боклевского. Многотомный Чехов поражал благородной простотой оформления, когда текст и не нуждается ни в каком подведении бровей. Козьма Прутков щеголял безупречно изданным Собранием творений тиражом 225 000 экземпляров, какой до революции ему и не снился. Опечатки практически исключались. Все знали, что они есть – как без них? – но никто их не видел, если только их не выносили на общее обозрение, вклеив короткий список в конце книги.

Однако между классиками и современниками образовалась прослойка ушедших из жизни литераторов – еще не классиков, но уже и не современников. Сами они за себя постоять не могли. За них хлопотали другие, и хлопоты были тем более безуспешными, чем бóльшую ценность для литературы представлял имярек. Проблема состояла в том, что потенциальные классики не уживались с классовостью, а классовый подход ставился во главу угла советской властью и теми, кто с ее ведома распределял ранжиры и тиражи.

Максим Горький основал «Библиотеку поэта». Опубликоваться в ней большим томом означало стать приобщенным к лику. Поколения читателей помнили, что

был такой поэт Анна Ахматова; что поклонников до сих пор приводит в трепет одно ее имя, получившее мировой «патент на благородство»; что ее уже нет на свете, а в «Библиотеке поэта» она никогда не выходила. Наконец, наши «лорды-хранители печати» придумали «хитрый ход». Они догадались снабжать такого рода книги самыми одиозными предисловиями, выпускать без объявления, сокращать тираж до минимума и весь отсылать «на экспорт» за границу. Тем самым они полагали, что одним выстрелом убивают сразу всех зайцев: вступлением (а вдруг получится?) нивелируют нежелательное воздействие оригинала на читателей; внутри страны всё делают по-тихому, сограждан надежно ограждают от лирической экспансии, а Европе и Америке за их же деньги – свободно конвертируемую валюту – демонстрируют, что книжка вышла. Этот ход применили и по отношению к Ахматовой.

Предисловие написал Алексей Сурков («Вьется в тесной печурке огонь...»). Он привычно начал со «свинцового удушья столыпинской реакции» и «всех видов мракобесия... расцветших махровым цветом» в предреволюционной России. Вот, мол, на какой почве формировалась ваша поэтесса, смотрите! А дальше: «Вышедшие в эти годы первые книги Ахматовой сразу принесли ей всероссийскую славу...» Как же так? Поймите. Что же получается? Всероссийскую славу принесло то, что возникло на почве реакции и мракобесия?.. Но – не торопитесь. Проехав по лирике Ахматовой на буденовской тачанке под «музыку революции», коммунист Сурков с одной стороны выполнил свой партийный долг перед старшими товарищами, а с другой – приоткрыл поэту, слывшему иконой русского модерна, двери к читателям. Это было условием игры. Тираж 30 000 экземпляров без объявления (тогда для Ахматовой мизерный) пошел по «заграницам». Часть его попала в Прагу. Но я ничего об этом не знал.

Ходить по пражским книжным без знания языка было не интересно. Однако на Водичковой улице существовал

магазин советской книги со всеми положенными портретами вождей и атрибутами их власти. Он был огромный, а главное – насыщенный изданиями, не доступными в Москве, и потому всегда наполненный русскими туристами, не говоря уже о читающих по-русски чехах. Мы с женой потолкались у разных отделов, как вдруг в воздухе пронеслись какие-то электрические искры. Народ закружился радостно-встревоженной каруселью и купировал один из прилавков, сразу образовав длиннющую очередь. Мы встали в ее хвост, не понимая, что именно происходит, но чувствуя, что происходит нечто необычайное. Продавцы вынесли из-за кулис пачки книг, разорвали оберточный крафт, и тут же книги стали расхватываться, «как горячий хлеб» (любимое сравнение Эмилиана Букова). Книги расхватывались, но какие именно?..

Перед нами в очереди стояла молодая чешка. Она обернулась и приветливо сказала по-русски:

— Ахматова. «Библиотека поэта. Большая серия».

Очередь двигалась быстро, и вскоре Анна уже держала в руках синий том своей русской тезки, том с наклоном золотых литер: «АННА АХМАТОВА».

Я предложил продавцу положенные кроны. Он покачал головой, извинился и показал пустой крафт, в который были завернуты проданные экземпляры. Десять минут без объявления, и все кончено. Наша новая знакомая взяла последнюю книжку. «Лорды-хранители печати» могли торжествовать. Мы книгу не получили. Но они не учли «человеческий фактор».

Очередь обмякла и разбрелась. Мы стояли в стороне у окна, переживая неудачу тем более острую, что было ясно: ни в Москве, ни в Питере этот том не достать.

К нам подошла наша счастливая попутчица и протянула книгу.

— Возьмите. Она вам нужней.

Мы отказывались. Анна не слушала.

— Возьмите и всё. Это подарок.

Книгу отдала. Денег не взяла. От угощения отказалась. Единственное, на что согласилась, это послезавтра погулять вместе в Стромовском парке.

В тот же вечер маленькое пространство вокруг настольной лампы в пражском районе Бубенич наполнили строки, звучавшие здесь впервые.

\* \* \*

Я научилась просто, мудро жить,  
Смотреть на небо и молиться Богу,  
И долго перед вечером бродить,  
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи  
И никнет гроздь рябины желто-красной,  
Слагаю я веселые стихи  
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь  
Пушистый кот, мурлыкает умильней,  
И яркий загорается огонь  
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь  
Крик аиста, слетевшего на крышу.  
И если в дверь мою ты постучишь,  
Мне кажется, я даже не услышу.

\* \* \*

По твердому гребню сугроба  
В твой белый, таинственный дом  
Такие притихшие оба  
В молчании нежном идем.  
И слаще всех песен пропетых  
Мне этот исполненный сон,  
Качание веток задетых  
И шпор твоих легонький звон.

\* \* \*

Всё это разгадаешь ты один...  
 Когда бессонный мрак вокруг клокочет,  
 Тот солнечный, тот ландышевый клин  
 Врывается во тьму декабрьской ночи.  
 И по тропинке я к тебе иду,  
 И ты смеешься беззаботным смехом,  
 Но хвойный лес и камыши в пруду  
 Ответствуют каким-то странным эхом...  
 О, если этим мертвого бужу,  
 Прости меня, я не могу иначе:  
 Я о тебе, как о своем, тужу  
 И каждому завидую, кто плачет,  
 Кто может плакать в этот страшный час  
 О тех, кто там лежит на дне оврага...  
 Но выкипела, не дойдя до глаз,  
 Глаза мои не освежила влага.

\* \* \*

А вы, мои друзья последнего призыва!  
 Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.  
 Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,  
 А крикнуть на весь мир все ваши имена!  
 Да что там имена! Ведь все равно – вы с нами!..  
 Все на колени, все! Багряный хлынул свет!  
 И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами –  
 Живые с мёртвыми: для славы мёртвых нет.

## МУЗЫКА

*Д. Д. Ш.*

В ней что-то чудотворное горит,  
 И на глазах ее края гранятся.  
 Она одна со мною говорит,  
 Когда другие подойти боятся.  
 Когда последний друг отвел глаза,  
 Она была со мной одна в могиле

И пела словно первая гроза  
Иль будто все цветы заговорили.

А мы всё более пленялись Прагой, ее окрестностями, самой возможностью свободного странствования по собственным маршрутам, без намеченных кем-то векторов, без подотчетных кому-то впечатлений. Постепенно вырисовывалось своеобразие того гения места, что поселился в пражских мансардах над темной Влтавою. У Праги есть какая-то славянская магия, наложившаяся на ее германскую трезвость и австрийский шарм. Я представил себе Прагу, как розу, привитую к хрустальным побегам Богемии; розу, не увядающую зимой, а лишь на время прячущую голову в песок Стромовского парка, как мог бы прятать ее страус. Каждой весной город-роза зацветает вновь красными лепестками крыш и влечет к себе ценителей своей одухотворенной отчужденности, которую замыкают ее прокопченные стены, пропахшие рыхлым углем, похожим на спекшийся торф. Чувство Праги передается по наследству, причем не только национальному. Спустя годы, младшая дочь Екатерина будет учиться в Германии и путешествовать по немецким землям и за ближайшими пределами. На мой вопрос: «Какой город Германии тебе понравился больше всего?» – ответит без раздумий: «Прага».

А между тем наступило жданное «послезавтра». Стромовский парк спускался ярусами склонов, цветущих по весне японской сакурой, а внизу гарцевали на конях дамы и кавалеры. И Анна, улыбаясь, шла нам навстречу, держа на длинном поводке пса неведомой мне породы. Познакомившись, он дружелюбно завилал хвостом и углубился в свои замысловатые изыскания следопыта.

Мы мирно беседовали до тех пор, пока Наташа по неосторожности ни задела 68-й год, хотя и очень сочувственно – иначе она и не могла.

Но изменилось всё и сразу.

Анна замолчала. Побледнела. Собралась.

Но не с мыслями, а с тем, что Стейнбек назвал когда-то *гроздьями гнева*. И обрушила на нас весь накопившийся заряд горя, причиненного ей траками русских танков и шинами местных Гусаков. Она подтверждала и подтверждала мое представление о том, что во имя секретарского благополучия своих печальников русская армия заляпала жирным солидолом собственную честь. Что смотреть на надвигающиеся жерла орудий совсем другое, нежели смотреть сквозь их прицелы. Что невыносима мука: испытывать ненависть к оккупантам и быть бессильным перед ними. А горстка предателей-коллаборантов найдется у любого народа. Что русские десантники захватили аэропорт обманом, приземлившись на рейсовом пассажирском самолете. Что ни один человек в России не восстал, когда кирза топтала Чехословакию. Потому что вы – рабы! Потому что вы – трусы!

И пусть все, о чем говорила Анна, было самой горькой правдой, а выход семерых на Красную площадь оставался ей неизвестен (и вряд ли мог бы заметно на нее повлиять), – пусть! Все равно во мне поднимался какой-то протест. Одно дело, когда всё это мы сами думаем о себе, а другое дело, когда это говорят нам о нас.

Почувствовав мое несогласие, Анна решила, что я могу не верить персонально ей, считать, что ее мнение единично, что народ думает совсем по-другому.

– Спросите, у кого хотите... Вот идет человек...

Понурился, шел какой-то работяга. Она подбежала к нему и стала быстро говорить по-чешски. Он кивал и коротко что-то отвечал. А собака заметно забеспокоилась, чувствуя в каком состоянии находится хозяйка.

– Он говорит, что мои слова – правда.

Вот другой человек... Подождите... Спросите у него...

Всё повторилось.

И третий случайный прохожий тоже полностью согласился с Анной. При этом никто не ссылался на то, что ему некогда, или что эта тема его не касается.

Собака разлаялась, как бы защищая хозяйку, хотя на хозяйку никто не нападал, наоборот ее чувству хотелось сострадать, если бы к состраданию ни примешивалась какая-то подлая имперская гордыня, признающая свою вину только в виде добровольного покаяния, но никак не в виде обвинения со стороны.

Анна ухватила поводок двумя руками покороче, чтобы собака не набросилась на нас, и крикнув так, что в голосе ее не слышалось уже ничего, кроме отчаяния:

— Читайте свою Ахматову! – выбежала из парка.

## 10

Если, по мнению кинохроники «Новости дня», жизнь в Праге еще десять лет назад вошла в нормальную колею, то в Москве она из этой колеи и не выходила. Ее стабильность не вызывала никаких сомнений даже у самых скептически настроенных умов. О том, насколько всё незыблемо, я мог судить по продвижению своей книги в издательстве «Современник». (Книги, напомним, рекомендованной к печати Советским Союзом писателей, проведенном ЦК ВЛКСМ при творческом руководстве Союза писателей СССР; книги, сопровождаемой письмом за подписью Бориса Слуцкого и Булата Окуджавы, чье имя по песням знали тогда все, вплоть до студентов-африканцев из университета Дружбы народов, осваивавших азы русской речи под крышами пятиэтажных общежитий на «Соколе»).

В 1977 году рукопись приняли к рассмотрению.

В 1978-м к рассмотрению приступили.

В 1979-м рассмотрение завершили.

В 1980-м назначили редактора.

В 1981-м редактор сделал свои замечания, предусматривавшие кардинальную переделку рукописи.

В 1982-м редактор принял авторскую правку.

В 1983-м приступил к ее рассмотрению с тем, чтобы в 1984-м...

Вряд ли можно предложить более убедительное доказательство стабильности и ответственности в работе государственных учреждений.

С другой стороны частную жизнь автора отличали сугубая нестабильность и безответственность.

За истекший период:

- у автора родилась старшая дочь Мария;
- автор защитил диссертацию по теме «Термохимическое растворение кристаллов» в Институте кристаллографии АН СССР;
- как читатель, ознакомился с творчеством писателей-классиков, представленных в двухсот-томном издании: «Библиотека Всемирной литературы»;
- у автора родилась средняя дочь Елена;
- была написана и подготовлена к печати вторая книга стихов;
- автор познакомился с молдавским поэтом Емилианом Буковым и начал работу над переводом двух книг его лирики.

Каждый текущий декабрь издательство «Современник» извещало, что книга, представленная Советами молодых, перенесена в план следующего года, а в приватной беседе ставило в пример поэта-переводчика Арсения Тарковского, у которого первая оригинальная книга вышла на шестом десятке...

Свою собственную фамилию – Суши́ – редактор отдела поэзии воспринимал как руководство к действию («Суши!») и сушил, насколько мог: и книгу и редакторские вёсла.

Автор забрал рукопись из этого сухостоя, полностью ее перекроил, добавил новые стихи и передал в «самое интеллигентное издательство» Советского Союза – «Советский писатель».

В 1984-м году самое интеллигентное приняло рукопись к рассмотрению.

В 1985-м к рассмотрению приступило.

В 1986-м, заручившись мнением авторитетных рецензентов, поставило книгу в план... Это поворотное событие было зафиксировано на электрической пишущей машинке с широкой кареткой и набрано красивым шрифтом на бумаге – белоснежной, как пачка балерины.

Редактором назначили поэта Евгения Храмова – выпускника «Магистралаи». Узнав, что я тоже из «Магистралаи», Храмов передал привет Григорию Михайловичу и пропал на полгода. Через полгода мы встретились. Возникло впечатление, что Евгений Львович завершил турнирные баталии как мастер шахмат и у него временно образовалось «окно», в которое он разобрал мой поэтический дебют. Замечаний было два.

— Алексей Евгеньевич, вам надо изменить название книги. Что такое «Вечная родина»? Книга с таким названием будет выходить в нашем издательстве вечно. Вы ее никогда не дождетесь.

Это первое. А второе... У вас есть сюжетное стихотворение «Грузинские тосты». Вы понимаете, что оно не ко времени?.. Сейчас идет реабилитация культа личности, а вы придерживаетесь другой позиции. Одно стихотворение может погубить всю книжку. Советую его снять.

За чаем в компании хорошенькой секретарши Евгений Львович приятно порозовел и к слову прочел наизусть бархатным голосом абзаца три из прозы Лескова, после чего снова исчез на неопределенное время.

Я поставил на книжке крест и занялся переводами.

Спустя одиннадцать лет по завершению Совещания в Софрино, меня попросили приехать в издательство подписать Договор. Согласно исчислению Храмова, это был, однако, не одиннадцатый год, а всего четвертый, потому что за предыдущие семь лет в «Современнике» «Совпис» не отвечал.

Подписав Договор на книгу «Спросит вечер» тиражом 10 000 экземпляров, я заглянул в отдел поэзии. Храмова не было. Электрическая машинка пустовала. Зато на двери

криво, одной кнопкой, был приклеен клочок, вырванный из школьной тетрадки в клетку. На клочке синими каракулями значилось:

«В третьем квартале выходят:

Фазиль Искандер

Давид Самойлов

Алексей Смирнов

Арсений Тарковский».

Те, кто следил за поэзией тех лет, вправе удивиться: «Как *он-то* сюда попал?» А вот так. Теперь вы понимаете – как.

Художник Игорь Куклес поработал с графикой городских мотивов для обложки, шмуц-титолов и концовок.

Все было подготовлено к сдаче в типографию.

Оставалась виза главного редактора.

Мне позвонил Храмов и назвал день, в который автору надлежало находиться поблизости от издательства.

— Будет читать Числов. У него могут возникнуть к вам вопросы.

Я слышал, что есть такой литературный критик Михаил Числов, но где он печатается и с чем, не представлял. Наудачу заглянул после работы в книжный. Стоит!.. «Время зрелости – пора поэмы». Переплет твердый. Тираж массовый. Цена доступная. Стоит пятый год. Скользнул взглядом по аннотации: «Литературно-критические статьи Михаила Числова в последние годы регулярно появлялись на страницах «Правды», «Известий»...» «Ну, – думаю, – всё. Пропал». Жирный синий карандаш. Резолюция. И, будьте добры, ищите себя в художественном переводе.

Приезжаю.

Храмов говорит:

— Название вы поменяли. Хорошо. А стихотворение оставили. Плохо. Я волнуюсь. Это серьезное дело. Я вас предупреждал. Вы – рискуете. Числов начал читать. У вас есть часа два, но далеко не уходите.

Я побыл в издательстве. Нет! В этих стенах не успокойсья. Пошел на Гоголевский бульвар, где когда-то

провел свое детство. Ходил-ходил... Ждал двух часов. Зашел в телефонную будку слева от памятника Гоголю. Раскопал «двушку» в кошельке. Звоню редактору.

Гудок... Другой... Пятый...

— Храмов слушает.

— Евгений Львович...

— Да, Числов прочел и просил передать: «Поздравьте автора с этой книгой».

## Глава третья

# ИНДИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ XX ВЕКА

1990

*Людмила Савельева. Поезд «Дели – Ахмедабад» дает прикурить. – В индийской семье. – Пресс-конференция самозванца и поэтический вечер по-индийски. – Объезд доступного нам Индостана. – Основы джайнизма в самом кратком очерке*

### 1

**И**так, что называется, *не было ни гроша да вдруг алтын*. Летом 87 года вышел «Андреиш», а осенью – «Спросит вечер». Представить книги я договорился в книжном магазине «Поэзия» на Самотеке.

В назначенный день к 19.00 торговля прекратилась, и на час торговый зал, заставленный стульями, превратился в «концертный». Я читал из двух книг и отвечал на вопросы слушателей, сидевших в «партере» и стоявших сзади.

Женщина из глубины зала спросила:

- А сейчас вы что-нибудь переводите?
- Нет.
- А хотели бы?
- Не знаю... Смотря, что.

По завершении Вечера эта слушательница подошла, представилась:

– Савельева Людмила Васильевна, – и конкретизировала свой вопрос. Она предложила мне по ее подстрочникам

перевести поэтов Гуджарата – штата на западе Индии. Выяснилось, что Людмила Васильевна при всей своей скромности и простоте – индолог со знанием хинди и гуджарати (английский – само собой). Она окончила Ленинградский университет, где индология всегда считалась из сильнейших в Советском Союзе. У Савельевой тесные связи с Индией, она жила в Гуджарате, влюблена в индийскую культуру, и готова, помимо подстрочников, предоставить мне все необходимые сведения для перевода. Невооруженным глазом было видно, что перед вами энтузиаст; что никаких деловых расчетов тут нет, а есть только горячее желание услышать и увидеть индийскую поэзию по-русски не в прозаических подстрочниках, а в стихах. Ясно, что переводы будут делаться «для себя», что называется, *из любви к искусству*, а где и когда их опубликуют, неизвестно. Будем надеяться, что труд не пропадет. Я такой подход разделил и предложение принял. Слишком притягательной показалась мне возможность погружения в Индию под водительством специалиста; погружения в индийскую поэзию, а, значит, отчасти в историю, философию, религию, поскольку классическая поэзия в моем представлении покоится именно на этих трех слонах. А то, что речь шла о поэтах XX века, меня не смущало. Почему-то я не сомневался, что в стране с такими глубокими традициями, как Индия, поэтическая эволюция происходит крайне медленно и осторожно, без хаотичных метаний в новизну.

Любителей поэзии часто интересует, как поэт переводит с языка, которого не знает. Читатель этой книги знаком с тем, что перевод делается по прозаическим подстрочникам – изложению стихов оригинала прозой перевода. Так я переводил с молдавского поэму Емилиана Букова «Андриеш». А для того, чтобы предметней представить себе, что такое подстрочник, попробуйте взять любое русское стихотворение и передать его содержание прозой на любом доступном вам иностранном языке. Можете не сомневаться, что, кроме смысла, от стихов ничего

не останется, да и смысл, утративший все остальные качества поэтической речи, предстанет настолько обедненным, настолько плоским, что вы сами поразитесь тому, как вам удалось выпустить весь дух из оригинала. Именно такую процедуру пришлось выполнять Савельевой из-за того, что я не владел гуджарати, а она не владела русским поэтическим словом – достоинством, независимым от способностей к иностранным языкам. Она совестилась, передавая мне очередную порцию подстрочников и не понимая, как такую сумятицу, а порой и путаницу, можно превратить в ясные русские стихи. Казалось, ее восхищает уже сама попытка превращения.

Двери в Индию мне открыла историческая поэма Наналала Далпатрама «Гуджарат».

1

Благословенна во все времена  
 добрых гуджаров святая страна!  
 Кришной лучистым озарена  
 родина Гбспода, полная света –  
 добрых гуджаров святая страна.  
 Благословенна,  
 благословенна,  
 благословенна  
 во все времена!

2

Волн аравийских мерная мощь.  
 Сумрак священных манговых рощ.  
 Царство Шри Кришны – Гиты творца.  
 Цель пилигрима и мудреца.  
 Греков и римлян,  
 куру, пандавов древней  
 Сомнатх, Гиринагар, Дварика.  
 Тысячелетья на флейте своей  
 Кришна играет, и песни простой

льется звучанье над Синдху-рекой.  
Благословенна во все времена  
добрых гуджаров святая страна! <sup>1</sup>

Слух стал наполняться индийской топонимикой, экзотикой, именами богов, и первым среди них явился темно-синий Кришна с флейтой на берегу реки Синдху или Инда, в честь которой древние греки называли весь этот край – Индия. А имена городов – Сомнатх, Гиринагар, Дварика – продолжили незнакомую музыку речи и внушали почтение уже одной своей древностью (древней «греков и римлян»).

3

В манговых рощах Брахмы сыны  
Слышат молитву Бога Весны.  
Словно прекрасной поэмы слога,  
Пестует Синдху свои жемчуга.  
Песню заводит море  
на сто голосов.  
Гривой потрянув, откликается лев –  
раджа могучий лесов.  
Врезались в небо, как мраморный сон,  
горные храмы под сенью знамен.  
Благословенна во все времена  
добрых гуджаров святая страна!

4

Дразнит Европу богатством, манит,  
Тянет к себе Гуджарат, как магнит.  
И, возникая в дальней дали,  
К нашим причалам плывут корабли.  
Но, пламенея, цветы  
распускаются вновь –  
Ярки и неувядаемы.

---

<sup>1</sup> Индийская поэзия XX века. Том первый. М., 1990. С. 113.

Это – Бомбей, это – первая наша любовь.  
 Словно парча, к океанской спадает он сини,  
     и раскрывается лотос в ладонях богини.  
 Благословенна во все времена  
     добрых гуджаров святая страна!<sup>1</sup>  
 < . . . >

Поскольку одна Савельева могла судить о том, как преобразуются ее подстрочники, переведенные стихами, а публиковать переводы было негде – никто нам их не заказывал – то в знак благодарности Людмила Васильевна предложила показать мне Гуджарат и затеяла хлопотливое дело организации вызова. Логика подсказывает, что хорошо бы сначала побывать в том краю, поэзию которого ты собираешься переводить, однако устроить это бывает практически невозможно. Жизнь – большая спорщица и противница логики. Она постоянно действует ей наперекор. Правда, опыт моих молдавских переводов подсказывал, что в данном случае соблюдать логическую последовательность вовсе и не обязательно. Реальность мертва без игры воображения, тогда как воображение может обойтись без непосредственно лицезримой реальности (натуры). Поэзия не калька с действительности, а волшебный фонарь; она не копирует, но преобразует. Если ты владеешь таким магическим фонарем, то тебе безразлично, когда географически знакомиться с той картинкой, которую ты преобразуешь: до или после; когда ничего еще нет или когда всё состоялось. Преобразуемая картина уже есть в тебе и помимо ее физического лицезрения.

Подтверждением моих слов служат воспоминания доктора А. Тарасенкова. Он передает следующий разговор, который произошел у него с Гоголем по поводу «Записок сумасшедшего»: «Я старался, чтобы беседа не отклонилась от предметов литературных, и, между прочим, завел речь

<sup>1</sup> Там же. С. 113, 114.

о «Записках сумасшедшего». Рассказав, что я постоянно наблюдаю психопатов и даже имею их подлинные записки, пожелал от него узнать, не читал ли он подобных записок прежде, нежели написать это сочинение. Он отвечал: «Читал, но после». – «Да как же вы так верно приблизились к естественности?» – спросил я его. – «Это легко; стоит представить себе...»<sup>1</sup>.

Здесь две группы ключевых слов: «Читал, но после» и «...стоит представить себе», то есть читал для проверки правильности представленной себе картины, а совсем не для того, чтобы по чьим-то откликам ее изображать.

Так же и переводчик мог бы сказать о стране оригинала: «Был, но после», чтобы проверить правильность переведенной картины, или вообще не был, а доверил сопоставить тем, кто бывал. Переводчик воспринимает оригинал всеми доступными ему способами – специальными знаниями, общей культурой, интуицией, музыкой речи – и пребывание на месте действия лишь один из способов постижения, причем далеко не главный.

Вначале мы с Савельевой сделали для себя небольшую книжку лирики поэтов Гуджарата, которая оставалась неизданной, а потом получили приглашение посетить Гуджарат, остановившись в семье друзей Людмилы Васильевны.

Ну, а пока суд да дело, между Индией и Советским Союзом был подписан Договор о сотрудничестве в разных сферах, в том числе и в культуре. Людмила Васильевна разузнала, что Договор включает пункт, обязывающий издательство «Художественная литература» выпустить на русском языке антологию индийской поэзии XX века. Что называется, *на ловца и зверь бежит*. Профессиональные поэты-переводчики кинулись расхватывать подстрочные переводы и в авральном порядке с ними работать, тогда как у некоторых дилетантов всё уже было готово не спеша и загодя.

<sup>1</sup> Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в шести томах. Том третий. М., 1949. С. 247.

Меня пригласил к себе редактор худлита Ибрагимов – очень убедительный мужчина в расцвете сил; сказал, что берет всё, что я ему предложил, но ничего не гарантирует, поскольку на те же оригиналы претендует его давний знакомый, который может хорошо и быстро сделать новые переводы. Тогда пойдут они.

Вскоре к нам домой приехал некий подвижный интересант гуджаратской поэзией и под предлогом что-то уточнить попросил подстрочники Савельевой. Не надолго. Я отдал. В итоге подстрочники канули безвозвратно, сам интересант заниматься ими не стал, но, по-видимому, передал своему приятелю (тому самому), а приятель набрал уже себе столько всего «разноштатного», что до Гуджарата у него руки, видно, не дошли, и он меня не продублировал. Когда Ибрагимов сообщил, что идут *мои* переводы, мне показалось, что у него камень с души свалился.

Антология вышла в двух томах, представивших самые разные поэтические школы, штаты, языки народов Индии. Люди переводили с хинди и урду, с ория и синдхи, с телугу и ассамского, с бенгальского, пенджабского, кашмирского языков... На излете социализма русская школа поэтического перевода еще раз подтвердила свою несравненную мощь. Подумайте, что для такого издания Советский Союз должен был иметь специалистов по всем языкам многонациональной Индии, массу классных поэтов, способных превратить прозу подстрочников (часто невразумительных) в профессиональную литературу, не говоря уже про базы: издательскую (составители, редакторы, верстальщики, корректоры, художники) и полиграфическую, готовые осуществить публикацию двухтомника массовым тиражом в кратчайшие сроки. И все это было сделано прежде, чем прикажет долго жить крупнейшее в Европе издательство «Художественная литература»; прежде, чем развалится налаженная система распространения книг; прежде, чем поэзия будет раздавлена чистоганом, а сам Советский Союз прекратит свое существование,

передав, как выяснится, бывшие республики не столько их собственным суверенитетам, сколько патронажу иных заинтересованных стран и организаций. Но этого еще не произошло, и несколько экземпляров антологии летит с нами в Индию, что придает нашей частной поездке совсем другой статус. Мы начали с проб «для себя», а теперь возьмем томá, отпечатанные по правительственному соглашению; возьмем из московской метели в цветущие Дели, Ахмедабад, Бомбей, уже дышащие преддверием зноя.

## 2

С утра в делийском аэропорту собралась масса встречающих, однако среди них не нашлось того единственного, который обещал встретить нас. Как выбраться из аэропорта только по адресу; как в чужом, громадном городе отыскать нужный нам дом, мы не знали. Тут и хинди был плохим помощником. Пришлось звонить в советское посольство. Так и так. SOS! Соотечественники терпят бедствие. Прислали человека с машиной. Не без труда, петляя по закоулкам, причалил он к нужному дому – чему-то вроде подмосковной дачки с палисадником, но в городе. Хозяин работал техническим секретарем средней школы, а встретить нас планировал его сын – то ли летчик, то ли служащий аэропорта. Авиатор атлетического сложения появился уже ближе к вечеру и долго смеялся, удивляясь тому, как это мы его не заметили, разминулись.

Вечером хозяин подал мне металлический стакан молока со словами:

— Mister Smirnov, your hot milk <sup>1</sup>.

Видимо, он хотел меня успокоить, предполагая, что из-за всех передрыг дня гость может и не уснуть, но вероятно и то, что таков был обычай в этой семье.

Людмила Васильевна ночевала в комнате хозяйки, а мы с летчиком – в другой светелке на широких нарах.

<sup>1</sup> Мистер Смирнов, ваше горячее молоко (англ.).

Перед сном он еще раз от души поохотал над нашей незадачей, но так добродушно, что я посмеялся вместе с ним прежде, чем мы пожелали друг другу *good night*<sup>1</sup>.

Утром меня разбудило мычание коров, какое-то хриплое кукареканье в першашем петушином горле и крики велосипедиста – развозчика овощей. Такое впечатление, как будто мы приехали не в столицу, а в деревню. Весенняя, почти деревенская свежесть лилась через распахнутые створки. Дели – смесь деревни и города, но эта смесь – адская, она сокрушает обилием людей и машин. Светофоры есть, однако соблюдаются они условно. Гигантские скопища дребезжащих, ржавых автобусов-рыдванов, «полуторок», изготовленных до потопа мопедов, не дожидаясь зеленого света, срываются с места и летят навстречу друг другу со всех сторон сразу. Но при этом они не только не сталкиваются между собой, а еще ухитряются, лавируя, объезжать перекресток с величаво возлежащей посреди него священной коровой (в Индии все коровы священны), которую нельзя переместить на тротуар, если она того не пожелает. А она не желает! Или иное скрещенье дорог, где остановился на отдых неприкасаемый – странствующий нищий, пария, такой же исхудавший, такой же почерневший от грязи, обуглившийся на своем бездомном солнце, какие вскоре появятся на улицах бывших советских городов под именем бомжей. И повсюду – люди, люди, люди. Народ кишит кишмя. Народу столько, что власти не в силах напасть на всех ни жильем, ни едой, ни водой, ни туалетами. Да, девятьсот миллионов (1991 год) – это круто! Писсуары расположены открыто, прямо вдоль тротуаров, и женщины, завернутые в сари, шествуют мимо стоящих к ним спинами мужчин, страдающих воспользоваться предлагаемой услугой. Транспорт переполнен. Такси дóроги, а велорикши еще дороже, к тому же они ездят только по историческому центру, где можно и пешком

<sup>1</sup> Спокойной ночи (англ.)

ходить. Приемлемый компромисс – такси-скутер: трехколесный мопед с легким навесом для двух пассажиров сзади. На скутерах мы и бороздим индийскую столицу в разных направлениях и в уже указанном преддверии зноя, который чувствуется печенкой.

Но преддверием зноя равнины Индостана дышали днем, а не по ночам. Казалось, зимой на Кольском полуострове я не мерз так, как летней (в нашем понимании) ночью на полуострове Индостан в поезде «Дели – Ахмадабад». Постепенно он разогнался во всю прыть и стал стучать, колотить, молотить, щелкать колесами по рельсам, напоминая, что дорога – железная, железная, железная! Вагоны мотало слева направо, снизу вверх и наискосок. Двери в тамбуры сами собой распахивались и захлопывались. Тянуло, сквозило, сифонило, дуло во все щели нашего «плацкарта», а щелей было не перечить. Щели составляли главную достопримечательность этого заслуженного железнодорожника, настроенного на спасение пассажиров от летней жары. Однако умеренные температуры весенней ночи вместо прохлады приносили лютый холод встречного ветра. Я надел на себя всё, что у меня было, а было не много – чай, в Индию собрался, не на Кольский. Поверх рубашки – свитер, поверх свитера – безрукавка, поверх безрукавки – пиджак, поверх пиджака – шарф. На каждой станции я пил горячий «кофе» – грубо молотую, со скорлупками не измельченных зернышек, горькую муть без аромата, которая обжигала, но не грела. Людмила Васильевна прижухла в уголке, имитируя сон.

На полпути к нам добавились два сикха.

По русскому стереотипу сикх – это пожилой, коренастый мужчина в чалме и с бородой, опушающей обе его толстые щеки. Сикхи не национальность, хотя родом они из Пенджаба. Сикх – сторонник вероучения, смысл которого: будь свободен и уважай свободу других. У каждого мужчины-сикха свое имя, а отчество у всех одинаковое: сикх. Так

вот компанию нам составили не два упитанных, пожилых господина, а молодые мужчина и женщина (женщина! – вот в чем фунт...), оба за метр девяносто, одетые по-спортивно-му, оба с домашними одеялами из тонкой, но очень теплой кашмирской шерсти. Всю оставшуюся ночь они сладко спали, поджав ноги, на верхних полках, время от времени выпрастывая в проход то руку, то ногу – свободные люди, не покушавшиеся на наш суверенитет, но и остававшиеся глухи к нашим испытаниям. Пока православные дрожали от холода внизу (кошмар!), сикхи устроили себе под потолком «кашмир». Они погрузились в свою блаженную «нирвану», и события внешнего мира у же проходили мимо них.

Между тем поезд внезапно затормозил, заскрежетал, сбавил всё: ход, мотание по сторонам, щелканье голодными колесами, – как-то весь обмяк, утих и, словно катафалк, в черном траурном молчании прополз вдоль потерпевшего крушение встречного экспресса с опрокинутыми, искарженными вагонами, блуждающими по ним, будто ощупывающими, лучами фар; с полицией и сиренами «скорой помощи»... А потом опять полетел без оглядки, ловя во все щели упущенные за тихий ход сквозняки.

Но от восхода солнца и далее в согласии с продвижением наверх божественного светила судьба смиростивилась к путникам. Свет и тепло залили вагон.

По коридору, звеня бутылками, пробежал какой-то левый лилипут с горячительными напитками: «Who's has forgotten to drink gin in the morning?»<sup>1</sup>

Прошел тонкий мальчик с флейтой, сольными переливами побудившей наших попутчиков. Сикхи соскочили с полка, свернули свои «кашмиры» и в охапку с ними сошли в очередном «*нагаре*» (городе), где станционный носильщик, сидя без дела на корточках на перроне, принимал солнечные ванны, подставив им бритую голову, не отягощенную ни копной волос, ни стопой пассажирских чемоданов.

<sup>1</sup> «Кто с утра забыл выпить джина?» (Англ.).

Поезд тронулся, то есть опять погнал, как сумасшедший, но уже не леденя нас потоками воздушных струй, а убаюкая восходящим теплом. Я снял пиджак, повернулся лицом на Восток и сотворил благодарственную молитву:

«О, Небо!

Благодарю Тебя за то, что ночь не вечна, что наш благоверный состав не развалился на части; что его миновала худшая участь.

Хвала Тебе за то, что путь конечен и в конце концов мы упремся в поросший скудной, выгоревшей травой железнодорожный тупик по имени «Ахмедабад»;

что в ушах у меня еще звенит вопрос лилипута, словно перевод с украинского оригинала, слышанного мной когда-то в поезде под Одессой: «Хто з ранку забув выпити горілки? <sup>1</sup>»;

а в душе звучат волнистые переливы флейты, которую, не отнимая от губ, осторожно проносил по коридору маленький Кришна».

К обеду мы были в Ахмедабаде.

### 3

Нас принимают книжный торговец Нату-бай и его жена Ила-бен – учительница младших классов. Этикет прибавляет к мужскому имени Нату обращение *бай* – господин, к женскому Ила – обращение *бен* – госпожа. У них одноэтажный дом на территории того частного колледжа, где служит Ила-бен. Вокруг парк с баньяновой рощей. Между прочим, баньян – чудо ботаники. Одно деревце, помимо корней в земле, выпускает побеги в воздухе, которые с веток опускаются на землю, укореняются, а из новых корней вырастают новые деревья, снова укореняющие свои побеги, и так далее до бесконечности, пока хватает земли. Так из одного деревца вырастает баньяновая роща.

<sup>1</sup> «Кто с утра забыл выпить горилки?» (Укр.)

Нату-бай – индеец, искренний сердечный человек. Ила-бен – филиппинка, тонкая и гибкая, как лоза; умелая хозяйка. В семье трое детей. Старшая дочь Берджу учится в СССР, младшие братья живут с родителями. Советский Союз уже завершает свое историческое существование, ему осталось жить считанные месяцы, а индийская молодежь Советским Союзом бредит. Советская символика – пятиконечные звезды, серпы и молоты – на футболках, бейсболках, куртках, мотоциклетных шлемах. Наши хозяева полны уважения к далекой северной стране и ее гражданам. Добропорядочная индийская семья. Простая, заботливая, радушная, патриархальная.

По правилам местного гостеприимства, если гость зашел случайно, без приглашения и без предупреждения, то ему немедленно подается *пани* – вода в металлическом стаканчике. После беседы хозяева предлагают чашечку крепкого кофе без ничего. Если же гость засиделся, то вторая чашечка кофе напоминает о том, что пора и честь знать. Но совсем другое дело, если гости званые. Тогда те же пани и кофе составят лишь прелюдию к пиру.

Распорядок дня наших индийцев строился так, что после утреннего душа завтрак перед работой / учебой отличался легкостью, непритязательностью, быстротой. Обедали, кто где. (Мы – в городе). А вся основная трапеза, – и как еда, и как социальный акт, – сдвигалась на вечер. Каждый будний день, придя часам к пяти из школы, Ила-бен посвящала себя приготовлению ужина. Я не помню в доме никаких «упаковок», полуфабрикатов, ничего готового. Всё делалось своими руками из вечера в вечер и только на одну еду. Тщательно мылись деревенские овощи с базара: чечевица, фасоль, горох и прочее. Промывался рис (*райс*). Чистился картофель. Зерно из мешка засыпалось в электрическую мельницу, похожую на стиральную машину, и гулко молось для приготовления лепешек (*чанати*) из пшеничной муки. Лепешки пеклись круглые, как блины, сухие и ломкие,

как чипсы величиной с тарелку. *Райс* варился, а *чапати* выпекались на электроплитке на полу. Несколько часов ежедневно Ила-бен уделяла будущему ужину. Ходила, присаживалась на корточки возле плитки, вставала, снова садилась.

В 19.30 каждый день по телевизору показывали новую индийскую музыкальную кинокомедию (365 комедий в год!). Типичный сюжет: молодой, толстый, красивый он; молодая, толстая, красивая она. Романтическая любовь и прогулки в цвете на лоне природы. Арии и дуэты. Все утопает в пышном восточном изобилии и светится добро-сердечием. Никакой скрытой иронии. Никаких пародий. Все шутки добрые. Ёрничество вне закона. Его преследует не кодекс, а общественная мораль. Всё от души. Этим в середине XX века индийское кино покорило настроенных на доброту зрителей советских республик (не только среднеазиатских), в том числе и тех, в ком его наивность вызывала улыбку.

В 21.00 начинаются большие «Последние известия», и такое впечатление, что именно под них вся Индия садится за вечернюю трапезу.

Вам подают металлический поднос с выдавленными в нем отделениями разной формы и вместимости. Отделений много, например, одиннадцать. В каждое вы кладете свою еду: куда рис, куда чечевицу, куда простоквашу... Перед вами стопа хрустящих чапати. Столовые приборы отсутствуют, кроме одной ложечки для простокваши. Резать нечего – всё нарезано. Стол сугубо вегетарианский. Мясо и рыба исключаются. Крепкие напитки исключаются. Для запивания – пани и свежайший сок манго из граненого графина. Курение исключается. Поднос держат в левой руке, а едят правой (левши, наверное, наоборот). Еду выбирают вперемежку из разных отделений. Угощение такое, что пальчики оближешь! Всё с пылу-с жару. Всё натуральное. Всё готовилось с любовью и старанием. Чапати подпекаются по ходу трапезы, и стопка их только

растет. Этикет позволяет облизывать пальчики, но для нас есть салфетки. На десерт подают чай или кофе с восточными сладостями и фрукты.

По нашей просьбе телевизор выключают, чтобы ничто не мешало беседе. Людмила Васильевна чувствует себя за столом, как рыбка в воде, ведя разговор сама, успевая синхронно переводить мне и меня. Обстановка просто родственная. Языкового барьера практически нет. Нам становится доступна высшая ступень общения – юмор. Но продолжать дегустиацию уже невозможно.

Если гость больше вкушать не в состоянии, он произносит заветное слово: «Бас» («Хватит»). Но хозяева еще не верят, что их угощений может быть достаточно – ведь они так вкусны! Тогда гость должен воскликнуть: «Бас!» и прикрыть поднос рукой. Хозяева смиряются. Но только по части еды. Чай и кофе предлагаются снова. С решимостью гостя прекратить трапезу хозяева согласятся лишь в том случае, если с ударным восклицанием: «Бас!!» – гость перевернет чашечку на блюде вверх дном. Последнее, что будет ему предложено – горстка семян аниса (*con*), завершающих пир.

И вся эта классика сопутствовала нам ежевечерне, если мы оставались дома, а не устремлялись в какую-нибудь даль.

В первое же воскресенье я напросился у Нату-бая взять меня на базар, чтобы снабдить Илу-бен всем необходимым на неделю.

Шли по высокому автомобильному мосту над рекой *Сабарма́ти*, а реки-то и нет!.. Одно пересохшее русло. О, дно, когда оно одно!.. Волнистые, извилистые наплывы красного песка по течению и абсолютная сушь. Еще недавно в сезон дождей здесь, по словам Нату, бурлил полноводный поток, сравнимый с Москвой-рекой (Нату-бай был, видел), а теперь на дне Сабармати распахнули оранжевые шатры странствующие монахи-отшельники. Люди земного дна, здесь они селились на дне реки.

Базар поразил обилием товаров. Если персики, то персидскими возами; если ананасы, то египетскими пирамидами; если зелень, то стеной наподобие Гималаев. Но эту безумную расточительность своих даров природа компенсировала здесь крайней скудостью водных ресурсов. Я вспомнил с каким участием гостю, вошедшему в дом с улицы (обычно из невыносимого пекла), сразу подавалась вода – целительная пани, а в домах Ахмедабада водопровод работал избирательно: три часа утром, три часа вечером. Основная позиция – пустые краны. И потому далеко не отвлеченной фантазией здесь, в Индии, предстало мне переведенное ранее большое стихотворение Ситаншу Яшачандра Мехта «Засуха» – целая Поэма зноя. Не фантазией, а пережитой в детстве трагедией неутолимой жажды, до такой степени потрясшей воображение поэта, что эта реальность для того, чтобы быть переданной в слове, потребовала самой фантастической образности.

Уже целый месяц, если не больше, высыхает колодец.  
 И с месяц, как на его стене показалась старая черепаха,  
 похожая на адамово яблоко, вырезанное из камня.  
 Уступы окрестных гор напоминают сверкающие  
 под солнцем язычки воды. Они переливаются и слоятся.  
 Настежь распахнуты пасти дверей. Словно слюна, капают  
 оттуда последние капли плавящейся смолы.  
 Мать правильно предупреждала: после черепахи  
 на стенке колодца появится высеченная из камня рыба.  
 Посвети на нее электрическим фонариком, разгляди ее  
 повнимательней. Нельзя допустить, чтобы колодец высох.  
 Но кто же, страдая от жажды, мог ожидать,  
 что стены колодца настолько обнажатся!  
 Вслед за рыбой испуганной глаз фонаря, наверное,  
 выхватит из темноты измученного зноем крокодила.  
 Потом – дышащую тушу бегемота. А следом –  
 этого не могла представить себе даже Мать –  
 возникнут парящие морские коньки.

И вот – они действительно показались здесь,  
морские коньки, скрывавшиеся веками под толщей воды!  
Итак, в это страшное пекло, когда вода  
опускалась все ниже и ниже, а колодец  
пересыхал все сильнее и сильнее, вдруг  
послышалось ржанье коньков, живших в проломах стен.  
И ведра наполнялись уже не водой, а их сумасшедшим  
ржанием, плескавшимся через край.  
А потом появились пантеры...  
Теперь я боюсь, что если попробую связать куски веревки  
крепким узлом первой брачной ночи, как в сказке,  
то никто мой узел уже не развяжет.  
И тогда туго натянутся веревки, чтобы из этого глубокого  
неведомого вытащить ведро, переполненное слепыми  
летучими мышами, и крылья их будут биться  
и вздрагивать; сухо шуршать друг о друга.  
Во время засухи в пустынный полдень раскаленное небо  
тайком сходит по склонам гор на землю и незаметно  
опускается в колодец. Осторожней!  
Сейчас может проснуться рыба и особенно пантеры –  
гибкие черные кошки, спящие на стенах колодца!  
Небо пересохло от жара. Зной, как петля, перехватил горло.  
Но смелости недостает, чтобы снова погрузить  
в колодец ведро.  
А когда железные крючья уже готовы поднять его,  
опущенное на самое дно, вертлявые пантеры затевают  
бесстыжую возню, и совестно включать фонарик.  
И все-таки должны мы или нет вытягивать железные  
крючья, чтобы поднять несчастное ведро?!  
Во время такой засухи всегда есть опасность, что крючья  
могут оставить на стенах странные следы, напоминающие  
золотых младенцев в заброшенных пещерах –  
в случайных пещерах видений.  
Пласты глины, которой обмазаны пол и стены дома,  
растрескались; в комнатах много щелей.  
Из них ползут и ползут всевозможные твари.

Стыдно, но что поделаешь?

Водопроводный кран чуть-чуть подтекает.

Однако – кривой и горячий – он перестает течь совсем каждый раз, как только подставишь под него ведро.

И уже начинаешь думать: а зачем обмазывать глиною пол, если завтра же он весь растрескается снова?

О, жажда! Вырванная ночью из горла, она возвращается утром, полыхнув, как брошенная в лицо, объятая пламенем простыня! Ты пытаешься увернуться, прячешь лицо в ладони – никуда от нее не деться.

Жажда! Язвящими огненными струйками прокрадывается она между пальцами к запекшимся губам, втекает в ноздри, иссушает глаза. Она проникает в горло, уходит внутрь тебя, поражает каждую клетку.

Наш домашний колодец, наверно, совсем пересох.

Мать говорила: после черепахи появится рыба, а потом – голубые киты. Что за вздор? Но я помню, и это не суеверье, как Мать предостерегала – я точно помню: если колодец высохнет, говорила она, – нет, нет, это не сказки про черных пантер и морских коньков, но если, в самом деле, колодец высохнет весь – до дна – в эту страшную засуху, то через месяц или немного позже из него – по стенкам, по крючьям, по обвисшим веревкам – выползет множество муравьев. Они заполнят его до самого верха, до края.

Муравьи ползут из-под фундамента нашего дома.

Несметные полчища.

А потом во всех комнатах, на крыше, на слоистых склонах гор, сверкающих под солнцем, как язычки воды, – везде, – вы слышите? – везде будут муравьи, одни муравьи, только муравьи, муравьи, муравьи, муравьи, муравьи...

#### 4

Не часто бывал я свидетелем того, как люди, заслужившие признание, получали его сполна, и всегда это вызывало восхищение.

Однажды мы с Людмилой Васильевной оказались на автобусной остановке в Ахмедабаде, не очень понимая, в какую сторону и на чем нам ехать. Людмила-бен обратилась к стоявшему рядом индийцу на гуджарати и обратилась довольно пространно. Индиец потерял дар речи. Моментально вокруг нас образовалось людское кольцо, быстро расширявшееся. Не уверен, что в 1991 году русские туристические маршруты регулярно проходили через Ахмедабад. Скорее на тот момент в Гуджарате обитало двое русских, и оба они были здесь. Увидеть белую женщину для аборигена уже событие. Увидеть белую женщину из России – событие экстраординарное. Но чтобы белая женщина из России говорила на гуджарати лучше самих гуджаратцев: чище, грамотней, лексически разнообразней, – это и лишило нашего попутчика дара речи. Однако коллективный голос потерян не был, и завязался разговор, смысл которого оставался мне не ясен, но и не имел значения. Значение имело то, что люди светились от радости беседовать у себя дома на своем родном языке с русской женщиной, испытывавшей такую же встречную радость. Гуджаратцы улыбались, жестикулировали, смеялись, выказывали детский восторг. Это был триумф Людмилы Васильевны Савельевой. Именно это, между прочим, вызвало чувство «патриотической гордости», а не внушаемое годами первенство нашей брони и скорострельности пушечного огня; не истребление, а созидание – язык, человеческое общение, жизнь, взаимная радость, вспыхнувшая случайно где-то на автобусной остановке в глубине Индостана.

В другой раз мы оказались в центре внимания вместе. Факт выхода в России двухтомника «Индийская поэзия XX века» и наш частный приезд в Гуджарат стали общеизвестны, а интерес к текущим событиям русской контрреволюции накануне распада Советского Союза и возврата капитализма достиг своего пика. В огромном зале одного из городских ресторанов была устроена

пресс-конференция в форме делового обеда для индийских журналистов; конечно, не пяти тысяч ежедневных газет, выходящих на трехстах языках народов Индии, но во всяком случае для центральных изданий. Каждый вопрошавший вставал с микрофоном за своим столиком, представлялся и задавал мне вопрос на английском, хинди или гуджарати, а Людмила Васильевна переводила. Из разных углов зала доносилось:

- «The Hindu».
- «Times of India».
- «The Independent».
- «Calcutta Telegraph».
- «Hindustan Times».
- «Asian Age»...

Поясню. Идет март 1991 года. Горбачев и Ельцин схлестнулись так, что крошатся копыта, трещат лбы, ломаются рога. За Горбачевым – хрупкий баланс между сторонниками реформ и их противниками (старой партноменклатурой). За Ельциным – реформаторы-радикалы. Оба лидера исполнены личных амбиций. До путча старых партократов всего несколько месяцев. Ситуация накалена предельно. Решается судьба империи. Переломный момент.

А теперь оцените диспозицию, сложившуюся в центре Ахмедабада. Младший научный сотрудник Института кристаллографии АН СССР отвечает на вопросы корреспондентов крупнейших информационных агентств и газет Индии по внутривнутриполитическому положению в России, и завтра его мнения будут растиражированы по всей стране.

Сейчас я могу это оценить. Тогда не мог. Как сложилось, так и шло. Вопрос – перевод; ответ – перевод. А какая практика для Людмилы-бен! Какие переходы с языка на язык! Какой тренинг по части политкорректности!

На вопрос: «Возможен ли возврат к прошлому?» – ответ: «Да». Все обескуражены. – «Что вы имеете в виду?» Я-то имею в виду силу партаппарата, инерцию народа – безрадостное «да», а получится, что партаппарат

упразднят, инерцию превозмогут, но столкнутся с такими новыми «вызовами», что станут сожалеть о невозможности возврата, начнут к нему взывать и пытаться реанимировать прошлое, то есть моё «да» соотнесется не со старыми советскими кадрами, а, спустя годы, с новыми постсоветскими.

Сколько длилась эта экзекуция за сервированными столами, но так и почти не тронутыми яствами, судить не берусь. До тех пор, пока не иссяк пылливый энтузиазм вопрошавших.

На выходе со двора Савельева сообщила, что прямо сейчас нас приглашают в Общество поэтов. Очень интересно.

— А где это?

— Не знаю... Ах, Алексей Евгеньевич! Нас отвезут. Ни о чем не беспокойтесь.

С этими словами Людмила-бен юркнула в полированный лимузин, махнула ручкой и исчезла в неизвестном направлении. А я остался один в окружении незнакомых людей, в чьей благожелательности не сомневался так же, как и Людмила-бен с той разницей, что мог ее только чувствовать, а она еще и понимать пылкие изъявления на гуджарати.

— *Aleksei, sit dawn*<sup>1</sup>, — предложил один из аборигенов, подкатив ко мне мопед. Я сел сзади, и мы закружились по улицам Ахмедабада.

Незабываемый проезд! После ответов на миллион вопросов — никаких забот. Непонятно, кто везет вас, неизвестно куда и зачем. Мечта фаталиста! Праздник верящего в написанное на роду! Над вами вечеряющее небо, быстро обретающее сумрачные тона. Его синева густеет. В сумерках вокруг зажигаются первые дорожные огни. Вас обвивает встречная прохлада. Вы один, как перст, посреди бескрайней Азии. Ничего от вас не зависит. Вы полностью во власти судьбы, на ее пьянящем пиру. «Чужие люди, верно, знают, // Куда везут они меня...»

<sup>1</sup> Алексей, садитесь (англ.).

Подъехали к богатому особняку. Двухэтажный салон в коврах, диванах и подсветках. Столы уставлены восточными сладостями. На блюдах – бананы, манго, ананасы. В кувшинах – разноцветные соки. Людмила-бен уже здесь. Она оживлена. Тяжкий труд перевода с трех языков на четвертый и обратно, а главное – нервное напряжение (страх!) в связи со щекотливой тематикой вопросов (скользящая политика!) – всё позади. Можно, наконец, расслабиться и почувствовать себя королевой бала. Так же как в ресторане, вокруг одни мужчины. Их снова много. Но там были газетные зубры, матерые журналисты, а здесь – поэты; совсем другая, куда более тонкая и близкая компания. Там не выдалось ни минутки ничего попробовать из угощений, а здесь – дегустируй, насколько позволяют тебе равновесия между желанием и воспитанностью, аппетитом и чувством меры. Такое впечатление, что и тут собрались представители всех штатов: от совсем светлых северян до иссиня-черных южан. Радуга индийских этносов.

Начинается чтение.

Как будто книжное многоголосие нашей антологии воплотилось в живые лица и голоса. То, как читают и воспринимают стихи поэты Индии, разительно отличается от русской традиции. У нас есть два типа исполнения: авторское и актерское, и один тип прослушивания: молчаливо-сотворческий.

Авторское исполнение предполагает прежде всего передачу музыки стиха, ритмически околдовывает, но если все стихотворение написано в одном размере, такая манера внешне кажется монотонной. Так читал Иосиф Бродский.

В деревне Бог живет не по углам,  
как думают насмешники, а всюду.  
Он освящает кровлю и посуду  
и честно двери делит пополам.

Нечетные строки читаются с абсолютно одинаковой интонацией, четные – с чуть другой из-за сдвигов ударений. Но манера не меняется. Голос поднимается и опускается ровно, в одних и тех же пределах, напоминая однообразное упорство покачивающейся у берега волны. Ничто не отвлекает от содержания, если только вас не раздражает сама одинаковость исполнения. Она безусловно повторится и в следующей строфе.

В деревне Он – в избытке. В чугуне  
Он варит по субботам чечевицу,  
приплясывает сонно на огне,  
подмигивает мне, как очевидцу.

Такому интонационно однообразному выпряданию строк способствует и всё образное сосредоточение вокруг автора-«наблюдателя», одновременно ироничного и страдающего, сосланного по суду в северную русскую деревню.

Актерское исполнение напротив предполагает прежде всего как бы разыгрывание стихов по ролям, разнообразие интонирования, театрализацию. Так читал Евгений Евтушенко.

Как во столярной Москве белокаменной –

восторженно-звонкий голос, пафос, широко распахнутые руки. Театр одного актера-поэта начинается первой же строкой-репликой.

вор по улице бежит с булкой маковой. –

Резкая смена интонации, убыстрение темпа речи, даже имитация бега на месте перед микрофоном...

Не страшит его сегодня самосуд.  
Не до булок... –

Залихватская, наглая интонация уверенной в своей безнаказанности шпаны.

Стеньку Разина везут! –

Предвкушение крови. Подлый азарт мелкого жулика перед лицом попавшегося Вора. Хотите театр, хотите цирк, исполнительски подкрепляющий представления о русском XVII веке, сохраненные сочинителем с недосиженной школьной скамьи.

Автор (не актер) заботится о том, чтобы театральные приемы не маскировали содержания, не ретушировали саму поэзию. Он считает, что маскируют, ретушируют.

Актер (тем более, если он при этом автор) заботится о том, чтобы лицедейство помогало слушателям раскрыть содержание, высветить саму поэзию. Он считает, что помогает, высвечивает.

А слушатели молча, но далеко не безучастно внимают произносимому. Лица их светлеют, глаза загораются, однако они сдерживают проявления чувств; свое отношение выказывают лишь после исполнения и обычно аплодисментами. У нас бывает и так, что поэт просит вообще не аплодировать в процессе чтения, чтобы не нарушать создавшуюся ауру, и читает в полном молчании зала стихотворение за стихотворением.

Опыт того, как выступают и слушают друг друга индийские поэты, иной. Кажется, что они предпочитают не просто актерское, а нарочито актерское исполнение, больше похожее на какое-то шаманское камлание – священный ритуал у огня, общение духов с выкриками, замираниями, жестами, сменами темпов. И точно так же слушают. У них «интерактивное», лицедейское слушание, а не молчаливое зрительское. Они восклицают в особенно эмоциональных местах; они печалятся и скорбят; они громко радуются удачному образу, строке; они смеются и успевают вставить короткий

комментарий к читаемому; они прищелкивают, прищелкивают, пританцовывают – и всё это непосредственно во время чтения. Их аплодисменты по завершению прослушивания кажутся уже легкой данью европейской традиции, дополнением к тем душевным откликам, которые сопровождали само чтение.

Я спел несколько своих песен с аккомпанирующей гитарой. Перед каждой Людмила Васильевна, хорошо их знавшая, коротко пересказывала содержание по-гуджарати и по-английски. Что это такое, вы догадываетесь. Потом я исполнял, и самое удивительное, что эмоциональные реакции совпадали с текстом, который публика не понимала! Как будто нас объединяли некие общие токи, управлявшие авторским посылом и слушательским откликом. Ради одного этого стоило забираться в такую даль.

## 5

И даже дальше.

В компании умудренных жизнью гуджаратцев мы проехали на довольно скрипучей колыхаге, типа нашего сельского автобуса тех лет, по древним городам, упомянутым в поэме Наналала. Ночевали в гостиницах, которые я окрестил «Домами колхозника», где все вместе (одним «колхозом») – и мужчины и женщины – располагаются в общем зале, тесно уставленном койками, и спят, не снимая дневных одежд.

Мы совершили ночное путешествие на «джипе» в Бомбей по скоростной автостраде, слепящей глаза фарами встречных фур, и я узнал, что Бомбеев не один, а три:

– Бомбей викторианский (английский, колониальный), раскинувшийся вдоль океана – фундаментальный, как всё английское; город с дворцами-крепостями британских наместников, с высотными отелями, овеваемый чистым ветром океана;

– Бомбей индийский, отодвинутый от берега вглубь, составленный из кварталов добротной современной застройки;

— Бомбей нищенский, лачужный; как цыганка, подбигающий свои пестрые лохмотья вокруг шеста с вымпелом над магазином, окормляющим окрестные шатры.

Мы проехали сквозь Гирский лес, особенно знаменитый редчайшими белыми львами, однако ни одного льва не видели. Днем они спят в логовищах, а ночью выходят на охоту, но по ночам спят путешественники, дабы ненароком не стать добычей гирских львов. Зато на крокодилов можно было наглядеться с безопасной высоты смотровой площадки. Толстые рифленые чемоданы грелись под солнцем на камнях возле озерной воды, замкнув крышки-пасти, имеющие особенность распаиваться кругом чуть ни до хвоста, как будто по губам и по бокам у них пробегает металлическая «молния».

Сын богатого ювелира ушел в святые отшельники. Отец построил ему в лесу храм, домик для жилья и «пещеру в горé» из какого-то черного пластика; «пещеру» уступами, с торчащими «камнями», наподобие тех, что древние иконописцы изображали на византийских иконах. Этот отшельник в искусственной пещере, сооруженной в искусственной горе на спонсорские деньги родителя, смотрелся, как актер в декорациях. Мы приехали к нему с тремя его братьями, чтобы в праздничную ночь поклониться богу плодородия Шиве. Для братьев такой выезд на природу был редким и радостным поводом разнообразить свой скудный водный рацион запретной горячительной бурдой, которой они усердно потчевали и меня, верно, прослышав, что русские пьют, как утки. В итоге «пьющий русский» уклонился от этой мути, а трезвенники-вегетарианцы крепко клюкнули под молитвенные возгласения брата-отшельника. Видно, дома отец держал их в строгости, и они ничего не могли себе позволить.

Праздник Шивы отметился двумя щекотливыми моментами. Первый состоял в том, что все прихожане обязаны были поцеловать босую ногу отшельнику. С этой

целью он забрался на трон перед «пещерой» и сел нога на ногу, обутый в легкие сандалии. Он сидел, покачивая верхней, готовой к лобызанию, ногой, в ожидании припадающих. Лицо святого отца было строго, а глазки хитро поблескивали. «К ноге» выстроилась очередь. Мне, никогда прежде не целовавшему мужскую руку, сразу целовать ногу показалось слишком революционным. Когда пришла моя очередь, я склонился перед отшельником и съмитировал прикосновение. Он улыбнулся, но ничего не сказал. Людмила Васильевна, как человек более опытный и не столь зависимый от предрассудков, приложилась «к туфле» без всякого смущения.

Вторая неловкость возникла уже среди ночи в разгар службы. Все молящиеся шли по кругу, целуя толстый каменный гриб, вроде пня со шляпкой, который воплощал детородное могущество Шивы. На меня внимания не обращали, а вот на Людмилу-бен смотрели во все глаза, особенно парни. Но она и тут не подкачала! Для нее это был всего лишь освященный тысячелетиями религиозный обряд. К тому же пространственно отделенный от Шивы. Братья были очень довольны поездкой и удивлялись моей стойкостью перед спиртным, менявшей их представление о России в этом чувствительном для них пункте.

И была ночь, когда от заката до рассвета (пока темно) мы смотрели фильм «Махабхарата» в кинотеатре для машин. Машины стояли рядами на специальной площадке, а владельцы и гости расположились с пакетами еды кто в кабинах, кто на крышах, кто возле на складных стульчиках. По прошествии часов трех глаза от грандиозной эпопеи, от ее массовых баталий стали просто слипаться... Когда посветлело и фильм прекратили, далеко не все машины завели моторы. Большинство водителей еще досыпало, убаюканное отечественной мифологией.

Собирая нас в очередную поездку – на сей раз на запад, к океану – и осознав, что скоро нам предстоит покинуть Индию совсем, Нату-бай в белых брахманских одеждах

сел на пол, закачался, погрузился. Глаза его наполнились слезами. За этот месяц мы очень подружились.

Тем временем и западная оконечность Индостана во все свои телеэкраны славил «Махабхарату». А пока Людмила-бен, как индолог, отдавала должное текущей серии, я вышел к берегу Аравийского моря – туда, где сушились и латались на тонком песке рыбацкие сети, где чернели днищами перевернутые лодки; вышел к берегу, гудящему от глухих ударов тугой темно-синей волны. Вышел на свидание с морской рыбкой Тжхаверчанда Мегханí.

Возле берега морского  
 Я кружусь и славлю бога.  
         Я – морская рыбка!  
 Не спешите ставить сети,  
 Мне погибель – снасти эти.  
         Я – морская рыбка!  
 Я люблю одно лишь море.  
 Сгиньте те, кто с морем в ссоре.  
         Я – морская рыбка!  
 И в аду меня и в небе  
 Сыщет волн курчавый гребень.  
         Я – морская рыбка!  
 Озаренная луною,  
 Кто так плещется с волною?  
         Я – морская рыбка!  
 Раковин раскрою крылья,  
 Жемчуг выну без усилья  
         Я – морская рыбка!  
 Счастья в звездном нет просторе,  
 для меня блаженство – море.  
         Я – морская рыбка.  
 Возле берега морского  
 я кружусь и славлю бога.  
         Я – морская рыбка.

И переводчик позвал ее, но рыбка к нему не вынырнула, хотя была где-то здесь, рядом, совсем близко от берега. Наверно, не решилась прервать хвалу богу джайнов – хранителю этих вод.

## 6

Работая над переводом поэзии Гуджарата, я постепенно составил себе представление и о его религии; о том, как понимали мир древние жители этой части Индостана, чья вера с поправками на современные воззрения пребывает и в их потомках.

А вера называется *джайнизм*. Одни считают ее разновидностью буддизма, другие – самостоятельной религией.

*Джайнизм* происходит от слова *джина* (победитель). Это титул вероучителя. Основателем джайнизма считается *Махавира* Джина, явившийся в мир за шестьсот лет до Христа. Но ортодоксы утверждают, что Махавира был лишь последним из тридцати четырех пророков – *тиртханкаров* – провозвестников веры. Они жили в разные времена, уходящие в такую глубину истории, что мы вправе рассматривать джайнизм как древнейшую религию человечества.

По воззрениям джайнов, жизнь поработает человека, держит в плену страстей и губит. Поэтому цель джайна – спасение-освобождение от земного плена. Оно достигается суровой аскезой и этическим совершенствованием.

Согласно учению, существует бесконечное количество душ (*джив*). Душа есть у всего живого: у каждой твари водной, земной и небесной. У каждой былинки в царстве растений. У каждой стихии. Круговорот душ безначален и бесконечен. Центральное понятие джайнизма – *ахимса*: запрет на причинение любого вреда кому и чему угодно, что имеет душу, а душу имеет всё. Принцип ахимсы требует от джайнских монахов осторожно ступать по земле, расчищая себе дорогу веничком, дабы не наступить на что-нибудь живое; а в темноте освещать путь огнем не для

того, чтобы не споткнуться самому, а для того, чтобы не раздавить что-либо ползущее или лежащее на пути.

Мир джайна делится на мир *кармы* – земной истории с ее бесконечным круговоротом, поскольку история – это вращение по кругу одного и того же колеса, одних и тех же несовершенных душ; и царство вне кармы – мир совершенных душ, вырвавшихся из-под власти колеса, из земного заточения, покинувших эту чуждую им обитель. Значит, цель джайнов состоит в том, чтобы освободиться из круга бесконечных земных воплощений. Он порочен. Он губителен. Спасись-освободиться, значит, покинуть этот круг, достичь совершенства души.

Такую философию джайны дополняют своеобразной космографией. Любители «цифровых технологий» древности, они обожали всё исчислять. При этом с абсолютной точностью. Без каких-либо погрешностей.

Так свиту Солнца и Луны, по мнению джайнских звездочетов, составляют ровно  $66\,975 \times 10^{14}$  звезд. Особенно умиляют эти 5 звезд на фоне  $10^{14}$ . Кто и как высчитал пять светящихся бусинок среди ста триллионов таких же, лучше не спрашивайте. Наверняка «технологии» были, «специалисты» не дремали и вовремя докладывали о своих успехах доверчивым магараджам.

Время – колесо со спицами, колесо истории. Расстояние между спицами разное, но не маленькое: минимум 21 000 лет, а то и  $10^{14}$  *сагаропамов* (1 сагаропам равен океану). Имея в виду такую причудливую меру счета, попробуйте понять, что существуют некие мифологические периоды истории, длящиеся  $10^{14}$  сагаропамов, а есть и такие, что из  $10^{14}$  следует вычесть 42 000 лет и тогда получим то, что надо.

Далее. Периоды имеют свои порядковые номера.

1-й и 2-й – лучшее время, поскольку никакой истории еще нет: доисторический период. Всё впереди. По представлению джайнов, в такие времена у родителей рождаются только близнецы – у каждой пары мальчик

и девочка, что не создает никаких демографических проблем. Через 49 дней после родов отец с матерью умирают в один день и час, не создавая никаких проблем по части геронтологии, а развитые дети с грудного возраста начинают самостоятельную жизнь. Они вырастают гигантами и живут так долго, что для них их собственные 49 дней от родов до кончины не делают никакой погоды, и несколько не снижают общих превосходных показателей долголетия. Сразу после смерти родители становятся богами и уже взирают на всё земное вполне отрешенно: сверху вниз.

3-й период вносит свои нежелательные коррективы в совершенство первых двух, то есть портит их. Начинается и с т о р и я . А история начинается потому, что возникают страдания. Правда, близнецы еще рождаются, а число богов множится за счет родителей, но близнецы отныне рождаются в узах брака, а не свободно (обратите внимание на говорящий образ: *узы* брака). Родители теперь уходят в мир богов строго через ритуал погребальных обрядов, а не просто так: кто как захочет. Возникает вероучение джайнизма – древнейшее на Земле. Людям дарован богами алфавит. Развиваются ремесла, появляются искусства, в том числе искусство поэзии такое же древнее, как и учение джайнов.

А колесо истории проворачивается своим естественным ходом. Но чем дальше, тем хуже. Люди мельчают: и растут плохо и живут мало. А после смерти совсем не обязательно становятся богами. Некоторые превращаются в скотов. Но зато другие некоторые могут и спастись – вырваться из круга перевоплощений, стать *сиддхами* – чистыми духами. Интересно, что боги как будто еще не предел совершенства, хотя они вроде бы покинули мир кармы и не могут снова превратиться в родителей. Но безусловный предел совершенства – сиддхи.

Идет 4-й период вращения. Рождаются все джайнские пророки, в том числе и последний 34-й Махавира – лицо историческое.

Ныне продолжается 5-й период. Мы – его современники и участники. Он пошел со времен Махавиры и длиться ему 21 000 лет, то есть мы в начале пути. Пророков больше нет и не будет. Идет и продолжится общее угасание рода человеческого. Земля раскалится докрасна. Дни иссушит страшная жара, а ночи замучает лютей холод. Задуют ураганы. Жизнь человека сократится до 16 лет.

А потом всё станет налаживаться.

Лучше-лучше-лучше...

Дожди напоят землю. Прорастут семена. Всё повторится. И снова родятся 34 пророка с замыкающим – Махавирой. Вот такой философский извод.

Вот такой космографический взгляд.

Мифо-исторический срез.

## 7

Не раз Людмила-бен говорила, а Ила и Нату подтверждали, что мы непременно должны посетить Палитану – город у подножия священной горы Шатрунджаи. Но Палитана не цель паломничества, а только трамплин, оттолкнувшись от которого надо взмыть (а точнее вскарабкаться) по тысячам ступеней и многим пандусам на вершины Шатрунджаи (их, как у Арарата, две) – туда, где высится главная архитектурно-религиозная реликвия джайнов всего мира – тысяча храмов XVI века, вырезанных из белого мрамора крепкого, как рафинад, украшенного снаружи мириадами скульптур. И подняться надо на заре, до того, как дневной жар усложнит и без того трудоемкое восхождение.

Понятие «архитектурный ансамбль» действует на меня магически. Все ансамбли, которые я видел и увижу: Московский Кремль, Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Ватикан, Гранд-канал и площадь Святого Марка в Венеции – впечатляют сильнее, чем отдельные, самые прекрасные памятники зодчества. Сумма отдельных красот оказывается меньше, чем та же сумма красот, объединенных в ансамбль. Дополняя, они усиливают друг друга.

В поэме Наналала «Гуджарат» чудесам Палитаны уделены всего две строки:

Врѣзались в небо, как мраморный сон,  
горные храмы под сенью знамен.

Хотелось убедиться воочию, насколько то, что представлялось воображению по подстрочнику, отвечает увиденному наяву.

Поезд из Ахмедабада с пересадкой в Сихоре за десять часов доставил нас в Палитану. Была глубокая ночь. Месяц изогнулся между звезд не по-русски: вертикально – парусом, а по-индийски: горизонтально – челноком.

В полной темноте мы начали восхождение в компании других паломников. Все они были джайны. От мирян отличались монахи-шветамбары (одетые в белое) Их белоснежные облачения, теряющиеся в темноте, станут ослепительно яркими на солнце. Но пока всё было погружено во мглу, и мы шли почти на ощупь. Джайнский устав не разрешал нам иметь кожаные вещи, обувь, еду. Воду можно.

По мере подъема – внизу, у подножия стали меркнуть огни Палитаны, звезды вокруг утрачивают свою яркость, как бы выцветая, темнота редеть, а пространство вокруг расширяться, светлея.

Время от времени нас перегоняли мускулистые и выносливые носильщики-индийцы, державшие на плечах паланкины или открытые носилки. В них сидели паломники, не способные подняться своим ходом, но способные заплатить не малую сумму рупий для того, чтобы их вознесли на вершину. В зависимости от комплекции паломника / паломницы носильщиков было двое или четверо.

Мы поднимались в гору, а за горой быстрее нас поднималось невидимое пока солнце. Но восток уже румянился, рдел, и света заметно прибавлялось.

Вдруг лучи брызнули, словно из-за плеча Шатрунджаи, и склон осветился, а на горе стал виден целый город

храмов, открывшихся, как утренний сон. Их мраморные силуэты, действительно, казались врезанными в небесную синь. Всюду над храмами реяли разноцветные флаги – узкие и длинные, как раздвоенные на концах языки воздушных драконов. Свежий ветер вершин развеивал их в густой синеве. А когда мы поднялись к воротам, стали слышны позвякивания колокольчиков, колеблемых ветром, свисавших со всех флагштоков. Их звон то ослабевал, то усиливался в такт дуновениям.

Каждый входящий возвещал о своем прибытии ударом в привратный колокол и оказывался внутри этого чуда света, бесчисленными мраморными гнездами прилепившегося к вершинам и вокруг. Выйдя из одного увитого цветами храма, вы попадали на крышу другого, а с нее на порог третьего, и таких переходов невозможно было перечесать. Совсем крохотные часовенки сменялись просторными залами. Мрамор и золото являли тут свою неограниченную власть. Высоко над головой похлопывали плотным полотном флаги, звенели бронзовые колокольца, горный воздух наполнял грудь, и солнце, оранжевое южное солнце освещало всю землю, и если бы она не заваливалась за горизонт, отстаивая свою шарообразность, очевидную лишь из космоса, а была идеально плоской, держащейся на трех белых индийских слонах, то казалось, что дальнорукое око смогло бы на востоке различить Филиппины, на юге – Коломбо, Аравию на западе, а на севере – Кабул.

## Глава четвертая

### ДАШТИ МАРГО

1991

*Библиотека Дома ученых. – Предыстория афганской войны. – Штурм резиденции Амина. – Хочешь правды – пиши о том, чего не знаешь. – Вместо снега – пески до горизонта. – Мой Афган. – Борис Чичибабин. – Тираж в этиловом эквиваленте. Публичные чтения. Письмо Окуджавы*

#### 1

Московский Дом ученых, счастливо окопавшийся (иначе не скажешь) в творении архитектора Гунста – старинном (1910 года) особняке на Кропоткинской, 16 (ныне и в прошлом, Пречистинке), помимо анфилады антикварных по исполнению и наполнению гостиных; кроме одного из самых роскошных в Москве ресторанов (скромно именовавшегося столовой) с цельной стеною венецианского стекла и мраморным фавном, целующим округлую итальянскую виноградинку; кроме Большого концертного зала и сумеречной, тихой бильярдной, где изнутри просвечивала оранжевая кожа абажуров, низко свисавших на длинных шнурах над ярко-зеленым ворсом могучих столов; а разбитый подагрой старый маркёр штриховал мелом кончики киев и подавал на подносе коньячные рюмочки раскрепостившимся игрокам; в дополнении к дивному читальному залу, константой которого

служили золотые корешки Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, а переменной – обязательные экземпляры журнала «Проблемы мира и социализма» и желтеющие, как по осени, быстро вянувшие газетные листы, – помимо всего этого, – Дом ученых располагал еще и несметной по богатству библиотекой. Казалось, ее комплектовал какой-то Божественный синклит знатоков книжной вселенной; синклит, обладавший безупречным вкусом и неограниченными ресурсами. Тогда я не задумывался о том, откуда он взялся. Сейчас его происхождение мне понятно. В начале 60-х, о коих речь, многие члены Дома приблизились, достигли или превзошли семидесятилетний рубеж. Значит, все они успели кончить гимназию и университет до революции. Вот кто составил Библиотечный совет и формировал фонды – люди, чья нравственная закваска, воспитание, образовательный потенциал были заложены до социальной катастрофы, упразднившей основы классической культуры во имя создания иных основ с постепенным возвращением к прежним. Они собирали библиотеку «под себя», под свои вкусы, взгляды, интересы. И, как выяснилось, «под мои». Основу библиотечного фонда составляли дореволюционные фолианты из частных собраний, в том числе иностранные, а пополняли их – лучшие новинки советской поры. Библиотека духовно развивала не столько законных читателей, членов Дома – моих дедушку и маму – сколько растила их ближайшего родственника. Все свое отрочество, всю юность я делил досуг между теннисными кортами Дома ученых под нашими окнами в Курсовом переулке и библиотекой. Она была в ту пору моим «университетом», опорой самообразования. Она подарила мне незабываемое чувство сопричастности к неведомому большому миру. В ней я открывал для себя песни Беранже, ночные полеты Экзюпери, озорные сказки для взрослых из собрания Афанасьева... Она предлагала моему вниманию мемуары Витте, волшебные пьесы Евгения Шварца, исторические романы Тынянова... Она не пропускала мимо меня ни труды Бах-

тина, ни томики довоенной серии «Academia», ни «декаденские» «поэзы» Игоря Северянина... Мир раздвигался передо мной. Он оказывался несравнимо шире и богаче, чем можно было себе представить, исходя из рекомендаций школьных методистов. Я вдруг начал осознавать, что имею право на неограниченный кругозор; что образ мира не сводится к сегодняшней газете (завтра ее уже забудут), журналу (через месяц его вытеснит следующий номер), модной книге (через год появится другая); что мое право на кругозор по всем сторонам света и в любую глубину времени никто не оспаривает. Во всяком случае, не оспаривает права на все то, что не запрещено, а незапрещенного оказалось гораздо больше, чем можно было предполагать. Я просто ликовал, испытывая чувство духовной свободы в стране, где гражданские вольности были строго регламентированы.

Именно тогда в 1963 году моей библиотечной «добычей» стал только что изданный том *Корана* в русском переводе академика Крачковского с грифом: «Для научных библиотек». Неожиданной показалась мне композиция священной книги мусульман, построенной, как сборник новелл, из отдельных рассказов (*сур*), их притчевая, а в русской версии и стилевая, переключка с библейскими мотивами; удивительной – их поэтичность, просвечивавшая сквозь перевод строгого арабиста, скованного ответственностью перед сакральным оригиналом и потому порой терявшим желаемую пластичность.

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

- (1) Клянусь мчащимися, задыхаясь,
- (2) и выбивающими искры,
- (3) и нападающими на заре...
- (4) И они подняли там пыль,
- (5) и ворвались там толпой...
- (6) Поистине, человек неблагодарен пред своим Господом,
- (7) и сам он в этом свидетель!

- (8) И, поистине, он тверд в любви к благам!  
 (9) Разве он не знает, когда будет изведено то, что в могилах,  
 (10) и будет обнаружено то, что в груди, –  
 (11) поистине, Господь их в тот день о них осведомлен».

Так, местами весьма угловато, звучит у Крачковского сура 100 «Аль-Адийат» («Мчашиеся»).

Если бы тогда я догадался прослушать эту суру по-арабски, я бы узнал, что в подлиннике передо мной рифмованная проза. Европейский белый стих представляет собой жестко ритмизованный текст без рифм (Шекспир), тогда как Коран пишется свободно ритмизованной прозой с рифмами. Суры исполняются нараспев. Они не читаются, а скорей мелодекламируются. Чтец Корана – мелодекламатор, распеваящий священные аяты (аят – стих, буквально: чудо). Аяты поются по-восточному тянущейся, вибрирующей интонацией с протяжными гласными, длящимися согласными, бесстрастно и на наш слух монотонно. Однако внутри этой монотонности существует масса модуляций, повышений и понижений голоса, эмоциональных акцентов, придающих стихам гипнотизирующую красоту. Но все это я прочувствую много позже, а тогда Коран, пусть и лишенный музыкальной гармонии подлинника, прошел через меня, как этап становления, и память о нем затаилась где-то на дне души, раскрывшейся для иных книг, для совсем другой жизни.

## 2

Католическое Рождество 1979 года я встречал в Праге. Прошел порядочный срок с тех пор, как советские войска временно вошли в Чехословакию. Чехи относились к ним, как к незванным гостям из деревни, которые приехали в город к знакомым без приглашения, а расположились со всей основательностью крепких хозяев. Режим Гусака покоился на нашем военном присутствии. Внешне всё выглядело вполне благообразно. Армия-освободительница

не высовывалась за пределы военной базы в Миловицах, интеллигентные чехи молча переживали свою гражданскую боль.

Но походная труба протрубила снова. Теперь на юге. «Непобедимая и легендарная» в который раз завела моторы, исполнившись чувством интернационального долга. Оккупация Афганистана ожидалась и все-таки стала неожиданностью для всех, кроме тех, кто ее готовил.

Что тогда и позже знал я о нашем южном соседе? Да почти ничего. Подлинная картина событий, и то фрагментарно, стала прорисовываться лишь в 1990–2000-е годы после падения Советского Союза.

Впервые в новейшей истории Афганистан покачнуло в 1973 году, когда в ходе государственного переворота был свергнут правивший сорок лет король Захир-шах, а власть захватил его двоюродный брат принц Дауд. Народ отнесся к этому как к делу семейному, и постепенно всё успокоилось. Руководствуясь собственными интересами, Дауд взял курс «равноудаленный» от Советского Союза и от Соединенных Штатов. Его внешнеполитическая витрина выглядела весьма респектабельно. Поклоны Москве, улыбки Вашингтону. Советская помощь, американская помощь. Визиты туда, визиты сюда. Визиты оттуда, визиты отсюда. Баланс. И не провоцируемое никакими «реформами» внутривнутриполитическое равновесие.

Между тем в стране уже двадцать лет существовала партия коммунистического толка – НДПА (Народно-демократическая партия Афганистана) во главе с идеологом революционной борьбы рабочего класса товарищем Тараки. Особенность афганского «марксизма-ленинизма» состояла в том, что борьба рабочего класса рассматривалась в феодальной стране, где рабочего класса не было, где почти все население было крестьянским и не склонным ни к каким преобразованиям; в стране испокон веков жившей клановым укладом по законам ислама. Сам Тараки, пуштун по национальности, принадлежал племени

гильзьяй, клана тарак, ветви буран. И представьте себе, что этот побег бурана, исполненный желанием принести добро своей Родине, задался целью сделать Афганистан социалистическим. Озарить кишлаки светом марксистско-ленинской теории и увлечь примером советской практики. Целеустремленный идеалист бесценен как вероучитель, философ, художник, поэт, но взрывоопасен как общественный деятель, политик, пытающийся на деле и в кратчайшие сроки осуществить свои пленительные фантазии. Мягкий, обаятельный, восхищенный Советским Союзом Тараки с его самыми благими намерениями произвел неизгладимое впечатление на Брежнева и все Политбюро. К апрелю 1978 года афганскому коммунистическому лидеру удалось достичь примирения в борьбе за руководство партией со своими соратниками-соперниками Амином, Кармалем и прочими честолюбцами. Армия была частично разложена многолетней пропагандой «народовластия», и в апреле «революционеры» совершили государственный переворот, по русскому примеру назвав его «Великой Апрельской революцией». При штурме президентского дворца Дауд был убит. Роль Советского Союза в «Апрельской революции» – дело темное. Утверждается, что никакого отношения к ней он не имел, верный принципу невмешательства во внутренние дела других государств. Но поскольку братская помощь у Советского Союза всегда успешно конкурировала с принципом невмешательства, то и переворот в Афганистане вряд ли обошелся без участия северного соседа. Во всяком случае факт, что едва переворот произошел, Кремль признал новую власть и оказал ей всестороннюю поддержку. Весной 1978 года советская «птичка» увязла в Афгане только «коготком». Дальнейшие события показали правоту русской пословицы: *коготок увяз – всей птичке пропасть*. Да еще как *пропасть*: исчезнуть с исторической арены.

Скоро выяснилось: захватившие власть противники Дауда, не знают, что с ней делать. Как осуществлять

экономический подъем? Каким образом перераспределить землю в пользу безземельных крестьян? Как преодолеть клановые противоречия? Что противопоставить исламу? Вместо поисков конкретных решений началась, как водится, увлеченная говорильня, нелепое прожектерство типа того, что через пять лет нынешнее поколение афганских людей будет жить при социализме в государстве диктатуры пролетариата (при том, что пролетариат отсутствовал как класс). Вместо диктатуры пролетариата в силу вступила диктатура партии и ее лидеров. Стали продавливаться сверху скоропалительные реформы, вызвавшие протест народа. Сопротивление подавлялось военным путем. День ото дня пафос реформаторов рос, а уровень жизни афганцев падал. О правлении принца Дауда вспоминали как о лучшем времени, а о правлении короля Захир-шаха – как о золотом веке Афганистана. Ветер перемен сдул последние крошки со стола. И без того бедный народ откровенно нищал. Люди протестовали, и армия перестала с ними справляться. В этой ситуации взоры политических обновленцев обратились к великому северному соседу с горячей, простодушной просьбой: «Дай!» Специалисты, советников, технику, продовольствие, вооружение, деньги... Ты нам всё, а мы тебе – афганский социализм, диктатуру пролетариата и дружбу до гроба. И что же наши кремлевские мудрецы, наши старцы-миротворцы? Они купились на этот муляж социализма, на гнилые мандарины вечной дружбы в надежде обезопасить свои южные рубежи, заполучив управляемого союзника. Финансовая река помощи, в том числе безвозмездной, потекла с севера на юг мощным потоком. Вооружение, продовольствие, техника, советники, специалисты хлынули в Афган по Договору о дружбе и взаимопомощи. Сильно занервничали американцы, памятуя о том, что для «непобедимой и легендарной» путь в Индию ведет через Афганистан, а кто гарантирует, что на севере не найдется облеченный властью козел-provokator, который станет подначивать

армию помыть кирзу в Индийском океане? Наконец, к осени 1979 года «афганские товарищи» в очередной раз убедительно попросили Москву ввести войска для умиротворения народных восстаний. На это Председатель КГБ Андропов ответил: они хотят заниматься борьбой за власть, а обеспечивать порядок в стране поручают советской армии? Нет! Всё Политбюро его поддержало. Последнее слово оставалось за Брежневым. Но и он сказал: нет. О вводе войск не может быть и речи. Хватит нам Чехословакии.

Однако положение усугублялось. Нищета сделалась повсеместной. Десятки тысяч латифундистов потеряли свои земли, сотни тысяч безземельных крестьян приобрели их задаром, но у них не было ни орудий труда, ни семян, ни средств. Одна земля. А как ее обрабатывать? К тому же, помимо материальных проблем, возник тонкий духовный стопор, нравственный запрет, не понятный ни афганским, ни советским коммунистам. Ислам учил, что вся земля давно поделена Аллахом, и грех подвергать ее переделу. Значит, крестьяне, получая халяву от новой власти, осознавали, что они получают именно *халяву* – отнятое у других; что это дармовщина, а не социальная справедливость, и такой оборот дела не вызывал у них злорадства, напротив: их нравственное чувство, поддержанное Кораном, было оскорблено, противилось аморальному произволу, хоть он и творился для их блага.

Свое я афганец осознает через понятия *чести* и *свободы*. Лишенный свободы, обязан отомстить врагу. Не отомстивший лишается чести. Лишенный чести теряет свое *я*, то есть погибает как личность, уничтожается духовно. Это коренные представления, заложенные в психике народа. Изменить их за «пять лет» нельзя, а по мнению мусульман изменять их вообще тяжкий грех. Свободолюбие афганцев отметили еще англичане, когда в ответ на упрек аборигенам во взаимных распрях и бедности услышали: «Пусть мы бедны и у нас льется кровь... но мы... свободны»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Александр Ляховский. Трагедия и доблесть Афгана. М., 1995. С. 41.

Однако афганским лидерам было не до тонкостей национального самосознания. Внутрипартийная борьба поглощала их силы. «Идеализм» Тараки вступил в противоречие с «реализмом» Амина – приверженца тотального насилия. Амин держал у себя на столе портрет своего учителя Сталина и говорил: «Товарищ Сталин научил нас, как строить социализм в отсталой стране... Сначала будет больно, а потом будет очень хорошо!»<sup>1</sup> Советские военные советники, наводнившие Афганистан, характеризовали Амина как лидера волевого и хитрого, трудолюбивого и лживого, умелого организатора и деспота, склонного казнями и тюрьмами подавлять любые протесты. «Товарищ Сталин научил нас...» Москва, пережившая когда-то собственный Большой террор, предостерегала Кабул от чрезмерной жестокости, просила беречь кадры, требовала расширять политическую базу поддержки революции, а не сужать ее массовыми репрессиями. Напрасно.

Очередной акт афганской трагедии завершился в сентябре 1979 года убийством президента Тараки – любимца Брежнева. Это злодеяние осуществили люди Амина после того, как не смогли предотвратить неудавшееся покушение на своего патрона.

Весть из Кабула потрясла Брежнева. Как так? Под носом у наших военных советников душат подушкой президента страны, друга Советского Союза, которому он, Брежнев, лично давал гарантии безопасности... Вслух было сказано только: «Амин – нечестный человек», но Генштабу этого было достаточно для того, чтобы сделать свои выводы.

Придя к власти, Амин устроил «хрустальную ночь» сторонникам Тараки, как прежде его советский учитель – сторонникам Троцкого. Это кардинально изменило ситуацию не столько в Афгане, уже больше года жившего в обстановке государственного террора, сколько в отношении советского руководства к положению в стане союзника.

---

<sup>1</sup> Родрик Брейтвейт *Афган*. Русские на войне. М., 2013. С. 103.

Гибель Тараки, пережитая Брежневым как личная драма; возмущение безнаказанностью Амина, невыносимое торжество зла привели к тому, что прежняя решимость ни в коем случае не вводить войска в Афган сменилась убеждением, что это придется сделать, если убрать Амина не удастся. КГБ предложил разные варианты устранения, но ни один не сработал. И тогда Политбюро согласилось с мыслью, что без ввода войск не обойтись. По крайней мере так историки трактуют рассекреченные документы.

Гибель Тараки, жестокость Амина изменили настроение Кремля. Добавочный аргумент за ввод состоял в необходимости предотвратить возможную интервенцию со стороны Америки. При этом «советские власти видели все аргументы против силового вмешательства»<sup>1</sup>. Мир полон насилия, и в тоже время мир осуждает насилие. Страна-агрессор подвергается согласованным санкциям и превращается в страну-изгоя. Какое-то время это удерживает ее от новых авантюр. С момента вторжения в Чехословакию прошло больше десяти лет. Но имперские амбиции снова возобладали. Так же как оккупация Чехословакии оправдывалась заботой о защите социалистических завоеваний народа, помощью «здоровым силам» в борьбе с «внутренней реакцией», стремлением пресечь «происки германских реваншистов» и опередить «милитаристов НАТО», точно так же и вторжение в Афганистан стали оправдывать заботой о многострадальном афганском народе и о предотвращении агрессии из-за океана. Среди северных соседей, хмелевших от обилия своих неосвоенных земель, нашлись такие острословы, которые ввели представление об Афгане как о каком-то *подбрюшье* Советского Союза и внедряли эту зоологическую лексику в сознание людей. Оживился военно-промышленный комплекс. По коридорам власти забегали штабные генералы. Солдатам внушали, что та сторона границы спит и видит

---

<sup>1</sup> Родрик Брейтвейт *Афган. Русские на войне*. М., 2013. С. 109.

окованных броней русских богатырей-миротворцев – бравых ребят на горячих машинах пехоты.

Трагический абсурд положения состоял в том, что с просьбой ввести войска взывал к Москве сам Амин. Кремль вынашивал тайные планы его физического устранения, а он связывал с Кремлем свою персональную безопасность и поддержку в подавлении оппозиции. Абсурд господствовал и в языке. С точки зрения русского языка в президентском дворце сошлись два «масла масляных»: лидер партии «народного народовластия» (НДПА) был окружен «советскими советниками», и они добросовестно инструктировали его как себя обезопасить, поскольку планы по его устранению оставались им неведомы.

Да, в Кремле понимали, во что они втягиваются, а частично уже влипли. Премьер-министр Косыгин возражал против вторжения. Поначалу, как мы помним, против были армия и КГБ. Не хотел силового решения Брежнев. Но убийство Тараки, репрессии Амина, активизация американской дипломатии, взывание о помощи со стороны афганского руководства, надежда на короткую победоносную войну сделали свое дело. Преступное решение о введении советских войск в Афганистан было принято «единодушно», согласно верховенствующему принципу круговой поруки, когда виноватых нет.

*Коготок увяз, и птичья ножка уже замахнулась переступить через красную черту.*

### 3

В Баграме (севернее Кабула) Советский Союз имел военно-воздушную базу. Туда тайно доставили лидеров афганской оппозиции во главе с Кармалем. Туда же прибыл отряд бойцов спецназа КГБ, отобранных для ликвидации Амина. Их принял советский мусульманский батальон, составленный из солдат среднеазиатских республик, говоривших на языке аборигенов. Всех передислоцировали в Кабул и тайно же разместили в особняках, арендованных

советским посольством. Задача группы спецназа и роты мусульманского батальона состояла в штурме хорошо укрепленной резиденции, а специальный человек лично отвечал за устранение президента.

Оппозиция готовилась назваться новой новой властью. Штурм дворца (операцию «Штурм-333») требовалось синхронизировать с переходом армии через границу и обойтись малыми силами, используя эффект внезапности. Дворец охраняла гвардия и вкопанные поблизости в землю танки. Гвардейцев было две тысячи.

К 14 декабря, преодолев массу организационных трудностей, сформировали 40-ю армию. Солдатам говорили, что миссия предстоит мирная: надо помочь афганскому народу преодолеть хаос, внесенный контрреволюционерами, и опередить американцев. Достаточно будет одного нашего присутствия. Такая боевая мощь на эту землю еще не вступала ни разу в истории.

В полдень 25 декабря 1979 года министр обороны СССР Устинов отдал приказ о вторжении.

В 15.00 вторжение началось.

Амин был счастлив. Сбылась его мечта. Значит, русские простили ему убийство Тараки и теперь додают оппозицию. Вместе с президентом в его дворце разместились офицеры КГБ, ответственные за его жизнь, и по-прежнему ничего не подозревавшие о целях вторжения. Лишь буквально накануне два генерала госбезопасности, вызванные к армейскому начальству с планом защиты дворца, получили приказ переработать план защиты в план захвата. Штурм назначили на 27 декабря.

Вечером 26-го офицеры афганской гвардии, защищавшие дворец были приглашены на вечеринку к офицерам советского мусульманского батальона, и все вместе поднимали тосты за советско-афганскую дружбу, только афганцы водкой, а наши водой.

В день штурма бойцам сообщили, что Амин предал революцию, уничтожил тысячи невинных людей и повел

секретные переговоры с ЦРУ. Он должен быть устранен. Правда, оставался вопрос: если Амин переметнулся к американцам, то почему для своей защиты он призвал не американские войска, а советские? Но отвечать на такой вопрос было некому, да и незачем, когда 40-я армия уже вступила в пределы Афганистана, а бойцы спецназа получили приказ о штурме дворца.

Но КГБ интриговал до последнего момента, желая избежать шума и лишних жертв.

За несколько часов до назначенного штурма обманутый Амин давал праздничный обед во дворце по случаю ввода советских войск. На обеде он торжественно сообщил гостям, что русские дивизии уже на пути к Кабулу, а он в постоянном контакте с товарищем Громыко. «Всё идет прекрасно»<sup>1</sup>.

Внезапно в разгар празднования Амин и ряд гостей потеряли сознание. Охрана немедленно арестовала поваров-афганцев, пищу отправила на экспертизу и срочно вызвала советских военных врачей. Амин был при смерти. Но усилиями наших медиков президента возвратили к жизни почти с того света. План КГБ по его бесшумному устранению был сорван. Так в пользу советской медицины закончилась незримая дуэль между ядовитыми происками советской кулинарии (повар – агент) и полковником медицинской службы Алексеевым, спасшим жизнь Амину.

В 19.15 штурм начался.

После нейтрализации танков и короткого артобстрела дворца-крепости из двух «Шилок» (скорострельных, четырехствольных зениток); после артобстрела, не причинившего особого вреда гранитным стенам резиденции, в бой пошел спецназ КГБ и рота мусульманского батальона. Их встретил ожесточенный огонь выпускников Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова – афганцев – защитников дворца. Огонь прижал нападавших к земле. Уничтожив пулемет

---

<sup>1</sup> Родрик Брейтвейт *Афган*. Русские на войне. М., 2013. С. 126.

в одном из окон, бойцы госбезопасности пустили в ход штурмовые лестницы и поодиночке ворвались во дворец. Первым делом они перебили все светильники. Резиденция погрузилась во мрак. Сквозь разрывы гранат и автоматные очереди слышались женские и детские крики: с Амином жила его многочисленная родня. Роковым образом (как будто преднамеренно!) совпала экипировка: советским бойцам выдали белые нарукавники, чтобы они опознавали своих в темноте. Но точно такие же нарукавники выдали и охране Амина. А впотьмах только нарукавники и были видны. Спасло то, что русские непрерывно крыли матом и так опознавали друг друга.

Поначалу, – до ввода в бой матерщины, – защитники дворца вообще не понимали, с кем они воюют. Думали, что с афганцами – сторонниками Тараки, а когда поняли, прекратили сопротивление и стали сдаваться бывшим товарищам по оружию.

Тем временем Алексеев освободил Амина от бутылок с физраствором, зажал вены, чтобы не шла кровь. К Амину подошел его пятилетний сын. Они сели у стены в баре. Президент до сих пор не понимал, что творится. Он приказал адъютанту звонить: «Советские помогут». Адъютант ответил, что советские всё это и устроили. «Врешь! – крикнул Амин. – Не может быть». Последними его словами стали: «Я об этом догадывался...» Отец и сын были скошены одной автоматной очередью.

#### 4

Зло порождает новое зло и умножается злом.

Узлы намертво завязанного зла разнимает добро, но где его взять?

Дауд захватил власть, изгнав Захир-шаха.

Тараки захватил власть на костях Дауда.

Амин захватил власть на костях Тараки.

Кармаль захватил власть на костях Амина.

В последнем случае «кости» обеспечил ему великий северный сосед. Его бойцы стали орудием политики международного разбоя.

Афган продолжало трясти.

Разборки внутри королевский семьи сменялись внутрипартийными разборками, а продолжались тотальным насилием с участием иностранного государства. Амин расстреливал и наполнял тюрьмы сторонниками Тараки. Теперь Кармаль, приведенный к власти на броне советских танков, расстреливал и наполнял тюрьмы сторонниками Амина. У него это называлось: размежеваться во имя единства, или: как они нас, так и мы их. «Революционные тройки» арестовывали, приговаривали и казнили на месте. «Товарищ Сталин научил нас...», – вслед за Амином мог бы повторить и Кармаль. Советскому руководству вся эта «национальная специфика» восточной «революции», так болезненно напоминавшая наше недавнее прошлое, вставала поперек горла, но «птичка» увязла уже не «коготком», а «по шейку». Надежды на то, что крестьяне воспримут, наконец, реформы, и в стране воцарится относительный покой, не оправдывались. У советской армии в Афганистане оказались два тяжелейших врага: почти полное бездорожье Иранского нагорья и нестигаемое сопротивление народа, воспитанного на тождестве свободы и чести. В стране разворачивалось движение моджахедов (повстанцев), по сути, партизанская война, борьбу с которой советская армия упустила в своей боевой подготовке.

Ни о чем этом я не знал не только в момент свершения событий, но и много позже. Вся афганская кампания интуитивно воспринималась мной как трагедия двух народов: афганского и советского, ставших жертвами политических интриг и личных амбиций, безосновательных надежд и грубых просчетов, жестокости и общего хаоса. Никакой иной информации, кроме тщательно отфильтрованной официальной, у меня не было. Никакими реалиями боевых действий я не владел. Рассказами участников событий

не располагал. Над Афганом лишь дважды пролетал по пути в Индию и обратно, и то ночью. И то «потом», когда «Дашти Марго» уже была написана. Я не видел страну даже сквозь разрывы облаков. Знаний о происходящем практически не было. Были корреспонденции в партийной печати, но не было доверия к ним. Были слухи, которым доверяешь больше, чем корреспонденциям, но все-таки они оставались только слухами. Я жил не знаниями об этой войне, а ее ощущением. Всколыхнувшись во мне сурами Корана. Детской памятью о Великой Отечественной, опалившей меня лишь косвенно, когда гул ее орудий уже затих, а дым пожарищ рассеялся, но всё уцелевшее, выжившее отпечаталось в памяти отчетливо и навсегда. Я жил чувством России – любимой моей печальницы, великой заложницы собственных несоразмерных людскому разумению пространств, придающих душе ее размах и удаль, неведомые чужестранцам, но и поглощающих ее жизненные силы.

Как можно приняться за труд о войне с таким фатальным незнанием? Оказалось: только с ним и можно. Я терялся перед парадоксальным выводом: чтобы не соврать, пиши о том, чего не знаешь. Художественный отклик – это оттиск души, а не игра ума. Смыслы зыбки. Знания лукавы. Трактовки переменчивы. Они выворачиваются наизнанку, как перчатка. На этой «диалектике» держится всё лицемерие прошлых и будущих веков. При умении можно доказать, что «лицо» есть изнанка, а изнанка есть «лицо». Доверься чувству и тому, что совесть не привносится извне, как последние известия, а живет внутри тебя, как весть, зароненная Богом и ставшая вашей общей истиной: со-весть.

Предыдущий опыт подсказывал, что художественный отклик нельзя вызвать искусственно, по приказу. Он должен заговорить в тебе сам, как оживший вулкан. Внезапно. Без маркирующих его признаков. Вырвавшись из неведомых тебе самому душевных глубин.

в работу  
врубается брань барабана:  
дробится сухой град  
встает с коленей вожак каравана  
другие за ним в ряд

Именно эти строки, вызванные ритмом барабанной дроби, – вместе с ним, – зазвучавшие не вне меня, а внутри, и вернули к столу, когда праздный гуляка собирался выходить из дома. Но речи о гулянии уже не шло. Как и не о чем другом. Речь шла только о том, что

песок  
пустыни студила ночь  
колючий как щека солдата  
влажно плеснул зари нож  
тьма окрасилась розовато

просить ли  
тени у того кто  
тут в песках заморозил роту?  
будем еще ловить ртом  
росу – божью мокроту

когда  
выпучив оранжевое бельмо  
барханы выжарит проклятое солнце  
станет в глазах белым бело  
покатятся разноцветные кольца

сталкиваясь  
разлетаясь всклянь  
как стеклянный бомбардировщик  
мерка  
тому что сегодня дело дрянь –  
эта примерка

кровью  
пьяный завыл шакал  
рваная рана насытилась гноем  
всадник-эхо в горах проскакал  
прахом пахнуло как перед боем

завален  
колодец овечьим дерьмом  
сюда в песок не наносишь ведер  
воды / дурной гуляет кругом  
ветер ветер ветер

туже  
ремень раз кишка тонка  
будет большая топь  
раскрошилась у кишлака  
первой обоймы дробь

это  
скрючившись старый как грех дехканин  
ломал в ладонях плод граната  
вязкий запах его вдыхая  
загонял кости в ствол автомата

тек  
между пальцами алый сок  
прыгал в руках извиваясь «узи»  
и по неверным сек сек  
очередями без всяких иллюзий

сладко  
тебе повелитель коз  
вгрызшийся волком в загривок солдата?  
чем разрешить вам свой же вопрос –  
чадам отбившимся от стада?

только  
пунктиром ответных костей  
лишь некрещеной струей огнемета  
ибо убит полковой иерей  
в спину в Галиции подле болота

там  
на германской был первый испуг  
разум России в сраженьях повытек  
что тебе надо еще политрук?  
сердцу Христа не заменит политик

себя  
потеряли в этом песке  
мы перерезав тропу караванью  
но бомбардировщик входит в пике  
значит могила дехканину

синий  
аквариум не разобьет  
взмахами крыльев стеклянная рыба  
крошечный ею проглочен пилот  
бомба пустыню поставила дыбом

выдох:  
рассеялся грубый прах  
взмученный мертвою силою тола  
у правоверного вывернут пах  
спелым гранатом сочится голо

долго  
погремок на кадыке верблюжьем  
болтался теперь не при деле он  
враг – двугорбый вожак с оружием  
на небо вознесен

сидящему  
в рыбе трудно своих  
не задеть хоть трижды будь ювелиром  
вспых последний унес двоих  
высветил их над миром

а третий  
зарылся в песок и орал  
что розы мутнеют – симптом катаракты  
и тихо его огибал караван  
пока барабан дорабатывал такты

пока  
повторял как помешанный рьяно  
что справа от нас Брабант  
в сердце – Афган – ножевая рана  
слева в огнях Рабат

если  
будущем полон был  
каждый то стали от ветра полыми  
выдул нас ветер и гонит пыль  
в сторону метрополии

сосунок–  
полумесяц потянулся губами  
к облаку за молоком  
умолк барабан / салют погребальный  
хрустнул над  
кишлаком

5

Дальше всё стало разворачиваться быстро. После первой главы «Бой» сложилось убеждение, что последующее должно группироваться вокруг этого вымышленного боя; что бой надо показать глазами разных его участников:

наших солдат, моджахедов, советского летчика бомбардировочной авиации, тех несчастных верблюдов, чей караван он бомбил, того политрука, которому вменялось в обязанность доносить до личного состава «последнее слово партии»... Вопрос о месте действия отпал, как только моего слуха коснулось имя: Дашти Марго – Пустыня Смерти. Да, это реальная земля на юго-востоке Афгана, сто пятьдесят тысяч квадратных километров песка, солончаков, такыров (сухой глины, разбитой трещинами на куски-многоугольники), где крайне трудно выжить чему угодно живому, кроме саксаула и тамариска; где достаточно простора для самых буйных ветров. Я понятия не имел, летали ли над Дашти Марго наши самолеты, ступала ли туда нога советского солдата, был ли там хоть один оазис и хоть один кишлак. Но я почувствовал без колебаний, что действие должно происходить именно в Дашти Марго и только там. Для меня она стала не географическим пунктом, не локальным топонимом, а символом Войны, превращающей в Пустыню Смерти любую землю, по которой проходит враг. Главы, звучащие от автора или от имени советских солдат, я чередовал с молитвами афганцев, отталкиваясь от избранных сур Корана так, чтобы молитвы одновременно служили и продолжением действия.

Однажды в Библиотеке естественных наук, пока ждал свой заказ – монографию и статьи по кристаллам – машинально взял в руки из свободного доступа какой-то природоведческий том, раскрыл наугад, и мне попался ветер-Афганец, о котором я прежде ничего не слышал: его характеристики, когда, откуда и куда он дует, с какой скоростью. Это было чисто техническое описание. Перечень свойств. Одухотворить их стало делом *моей* техники. Я думал об этом несколько дней, кроме рабочих часов, поскольку стены Института кристаллографии категорически не приемлют поэзию. Самый дух ее вытравлен из них рассудочностью, ученым скепсисом, иронией, ползучим реализмом, охранительностью, волей к подчинению.

Притом, что среди коллег встречались тонкие знатоки и ценители поэтического слова. Зато уже по дороге домой – в метро, прижатый толпою к стеклянным дверям грохочущего вагона, за которыми мелькали частые огни туннеля, я давал волю воображению и слагал наизусть строки, уносившие меня на просторы Иранского нагорья и превращавшие в движущийся над ним ураган.

не агнец –  
 покорный ягненок закланья  
 а вольный гонец / а летучий посланец  
 еще на заре загадавший желанье  
 явиться в Термезе  
 я – ветер  
 Афганец!

вы видели  
 танец шайтана / разини?  
 нет в мире мощней и разболтанней танца!  
 я – в центре гигантской воздушной корзины  
 набитой  
 моею вертлявою свитой –  
 нечистой силой  
 Афганца

кошачьи  
 хвосты заматают пустыню  
 я рыхлую шапку сшибаю бархану  
 ударом бича / как алайскую дыню  
 я солнце ладонью в горячке  
 достану

взмываем  
 под облако мы как на блоке:  
 воронки и хоботы  
 змеи / колонны

кто нас лицезрел – впечатленья глубоки:  
лавины песка до крупинки калены  
стеною идут  
стеною идут  
сте-но-ю и-дут!

стеною идут  
словно шлейф за корзиной  
срывая шатры и сметая строенья  
озера засасываю как резиной –  
чтоб где-нибудь выплюнуть под  
настроенье!

водЫ  
полон рот / я как висельник весел  
когда он уверен: веревка – гнилая!  
какой-то халдей на пере меня взвесил  
и сбился в нулях миллионы  
считая

стихию  
не стиснешь ремнями утяжки  
и в клетку не вгонишь нажимом пера  
когда анемометров сорваны чашки  
и клювом на север летят  
флюгера!

вам –  
узы и мера / мне – вольница в трансе  
вам – твердая роба а я оборванец  
вы в рамках / в углах  
я – в открытом пространстве  
вы – дети пределов  
я – ветер-  
Афганец!

в меня  
разноцветные струи пустите:  
как эфы они изовьются / как лента  
закрутятся и затрепещут как нити  
я – ветер свободы  
вы – жертвы  
запрета

волшебный  
мирадж – испытанье отваги –  
ты мне подарил милосердный аллах!  
когда Мухаммед на коне аль-Бураке  
вознесся на небо  
я́ был аль-Бурак

эй смерчи мои! басмачи-непоседы!  
пора вам буранам отведать съестного  
поднимем отару и риса посевы  
отварим в песочке немножечко  
плова

эй вихри мои! башлыки-вертопрахи!  
мы воздухопадом упали с небес  
Келифское взгорье осталось во прахе  
подбросьте папахи: под нами –  
Термез

границу  
Союза прошили как ветошь  
никто не заметил – уже позади  
да это же Вахш –  
вах-вах-вах! – да ведь это ж  
в его проводах  
что-то звонко  
зудит

свернем  
 на прощанье на запад Китая  
 арктический воздух –  
 куда же ты / друг?  
 в Синьцзяне последние горсти кидая  
 осядем  
 и медленно  
 выпустим  
 дух

Всё это происходило не в Афгане и не в Синьцзяне, а в Москве, в тоннеле московского метро, по ходу движения поезда зимой 1989 года.

Наташа работала тогда переводчицей на Международной конференции детских писателей. Кроме советских участников, на конференцию приехали известные литераторы из Англии, Германии, Австрии, Японии. Для них с еще советским размахом устроили поездку во Владимир и Суздаль. Место в автобусе рядом с переводчицей нашлось и для не участника. Выехали из Москвы. Кругом раскинулись поля. Смотрю в окно и вижу желтые пески до горизонта. А это – снег. Галлюцинация длилась какое-то мгновение, но позволила мне оценить глубину моего погружения в Афган.

Вначале ты не знаешь, что и когда тебя захватит, а потом не знаешь, когда отпустит. Где станет точка. Подспудно какой-то план по мере написания складывается, однако он очень зыбкий, условный, способный, и удлиняться, и укорачиваться и меняться, но вовсе не в зависимости от желаний автора, а повинуюсь внутренней логике, по которой развивается поэма, определяясь духовным порохом и физическими пределами сочинителя. Бывает так, что желания хоть отбавляй, а подступит тошнота и верный признак, что пора заканчивать: на подушечках пальцев образуются тончайшие, глубокие трещинки, как порезы от бритвы.

## 6

Деликатный вопрос – первое прочтение вновь написанного. Кому читать?

В студенческие годы, читая ближайшим друзьям, я включал свет. Мне было стыдно. Но не предосудительности содержания. Никакой предосудительности не было. Стыд вызывало возможное эстетическое несовершенство, стилевые сбои, неточность лексики, неочевидная автору смысловая двойственность. До некоторой степени такие опасения существуют и у профессионалов. Я чувствовал, как девяностолетний Александр Ревич, умевший в поэзии всё, сохранивший полную работоспособность, лауреат Госпремии и профессор Литинститута, замирал в ожидании на том конце провода, прочитав мне по телефону свой новый опус. Творчество не делает скидок ни на возраст, ни на чины, ни на звания, ни на что. Неудача может подстергать кого угодно и в любой момент. Хотя опасения Ревича казались мне совершенно напрасными. Его сознание было уже настолько структурировано, что ошибиться он не мог, даже если бы и захотел.

Только что законченные главы «Дашти Марго» я читал маме в доме у Елоховского собора. Так же, как текст рукописный отличается от набранного, а набранный от изданного, так и чтение про себя отличается от чтения вслух для себя, а то – от чтения вслух для других. Что-то происходит. Одни строки становятся ярче, другие тускнеют, от чего-то хочется отказаться еще прежде, чем слушатели выразят свое мнение. Даже молчаливое присутствие доброжелательного и компетентного критика бывает важно, тем более высказанные им соображения. Ошибется тот, кто не придаст значения аудитории, собранной для прослушивания. Первопрочтение нельзя обращать к несведущим и высокомерным, к ёрникам и циникам. Их отзывы не созидают, а разрушают; не правят, а травмируют. В высокомерии и ёрничестве скрывается какая-то бесовщина. В глазах высокомерного поблескивает иблис;

на языке ёрника крутится шайтан. Нестойкого они способны отвратить от его цели или направить по ложному следу. Не слушайте циничных и надменных; заносчивых и бесстыжих. Готов повторить еще раз: вслушайтесь в себя и в Того, Кто несет предназначенную вам весть, делая ее вашей *совместной вестью*.

В юности, когда самиздат, Солженицын, те публикации, которые редкий курьер протаскивал сквозь прутья «железного занавеса», ошеломили открывшейся правдой о построении новой жизни в Советском Союзе, я пытался сочинять на эту тему что-то свое, как отклик на прочитанное чужое, что оставалось лишь отсветом подлинных страданий. Я был не источником света, а только отражающим его зеркалом. Папа критически молчал. А мама сказала: «Не надо. Это не твое. Напрямую тебя это, слава Богу, не коснулось. Пиши о своем».

И вот – Афган, который я пережил лично, пусть не как участник, но как современник, дышащий воздухом свершающейся истории. Да, правда ее понимания от меня скрыта; неизвестно, когда раскроется и раскроется ли вообще, но невозможно обмануть ощущение происходящего, а для меня это и есть главное. Художник живет не ожиданием доказанных истин, а живым откликом на правду обожженного чувства.

...когда достается песками мотаться  
и пекла глотать лошадиные дозы  
трудней уклониться от странных мутаций  
от мировоззренческой  
метаморфозы

как бактриану не пробуй втолкать изюм  
противится уворачивается / гляди не куснул бы руку  
а иглы верблюжьи жует и жует тугодум  
тонкую челюсть небрежно гоняя  
по кругу

вот так и кочевник – старайся вгоняй его в раж  
тяни в чернозем убеждай агитируй настырно  
не хочет ваш рай / отклоняет душистый лаваш  
и бредит спросонья растресканной глиной  
такыра

а много ль на склонах настригли полки англичан?  
они подавились вонючею шерстью коз  
назад по камням задохнувшихся волоча  
и тут возникает нехитрый как правда  
вопрос:

зачем нас в плавильную печь запаяли  
в песок что мерцает осколками кварца?  
гуляли бы лучше мы по Заполярью  
да лазали в прорубь медвежью  
макаться

а нас просвещали витая в эфире  
мудрейшие: «солнце целебней маканья»  
особенно в солончаках Гауде-Зирре  
особенно в топях на юге  
Афгана

еще утверждали что есть интересы  
превыше семейного узкого круга  
когда завалившись в свои мерседесы  
и шляп не снимая лобзали друг  
друга

да будет гамак ваш подвешен у понта  
да будет волна вам шептать до рассвета  
о! вы понимали что все это подло  
но предпочитали осознанно  
это

пусть будет вам в понте приятно купаться  
вы схватитесь поздно за зимние шапки  
когда уже встанут забои Кузбасса  
и выйдут на площадь печорские  
шахты

опять обращаться к тугим портупеям?  
качается рации тонкая спица  
трухлявые мифы по частым ступеням  
летят принародно как слепки из  
гипса

любители клейм и подручные хваты  
кто наше – живое – железом повыжег  
вы их осудили принявшие вахту  
от них же / надевшие новенький  
пыжик

тогда отчего все вы клеите слепки –  
куски на дорогах разбитого воза  
цепляетесь так за свои пятилетки  
клянясь гробовою доскою  
колхоза?

всю жизнь вы клевали мне печень / доколе  
еще вам тянуть дармовую резину?  
мне солнца последние клетки доколет  
быстрее чем увижу другую  
Россию

за тысячу верст до дувалов Кабула  
отрезав от трассы Герат – Кандагар  
по пояс кевира мне ноги обула  
обуглясь в ожог превратился  
загар

здесь в Дашти Марго в этой пустоши смерти  
в трясине куда не летит даже гриф  
я вас проклиная служители тверди  
и вы не отвертитесь все  
повалив

на то что такое мол время такое  
мол знамя и темя такое тогда  
я вас не прощаю исчадья разбоя  
отцы-сластолюбцы чья выя  
туга

свободою в равенстве вы обманули  
народ что доверился мифу и лже  
неравенство в рабстве несли ваши пули  
вы всех запахали кто стал  
на меже

среди мертвых зыбей на пльвучем погосте  
где нет ни единой былинки кругом  
втяни же мои обожженные кости  
прими меня Дашти  
Марго!

*1410 год по лунному календарю –  
1989 год от Рождества Христова*

7

Поэма была завершена. На ее создание ушел целый месяц. Но неверно сказать *ушел* в смысле пропал, сгинул. Этот месяц, забрав у меня все силы, прибавил столько жизни, что он, конечно, не *ушел*, а привел за собой новые силы, новый опыт, необыкновенное чувство труднейшего, никем не заданного тебе и честно исполненного дела-долга перед павшими по обе стороны боя. Никем, кроме Со-вѣстника. Автор впервые почувствовал, что слово становится для него не профессией,

но миссией. А тогда уже не важно, в моде оно или в ауте, на казенном довольствии или на собственном, сколь тиражно, насколько прибыльно или убыльно. Это заботы профессии, а не миссии. Профессионалу обидно, если труд его не ценится или недооценивается обществом. Профессионал протестует, ищет более приемлемые для себя возможности реализации. Но если его деятельность воспринимается им как миссия, то миссия выполняется уже невзирая ни на что. Важно только не самообмануться, убедиться в том, соответствует ли твое дело твоей миссии. А в этом тебе помогают знающие люди, сами хлебнувшие того же лиха.

На Всесоюзную школу по физике прочности и пластичности кристаллов в Салтов под Харьковым, где физики две недели напрягали и ублажали, мучили и радовали друг друга потоками формул, фонтанами графиков, теориями, данными экспериментов – туда, в этот кипящий естественонаучный муравейник на два дня приехал из Харькова поэт Борис Чичибабин. Мы познакомились раньше, и разница в возрасте не помешала нам подружиться.

Авторитет Чичибабина как поэта и гражданина был для меня бесспорен. Машинописный текст «Дашти Марго» автор взял с собой в Салтов и в разгар вечернего застолья предложил Борису Алексеевичу *завтра* его посмотреть. Тот сунул машинопись под мышку, закурил и своей горделивой походкой прошел с текстом в соседнюю комнату, где никого не было. А я продолжил пировать в той же.

«Через недолго» выскочил в коридор. Борис Алексеевич с дымящей папиросой мелькнул мимо, молодо блеснув глазами:

— Уже читаю.

Спустя еще время:

— Уже прочитал!

На мой вопрос:

— Могли бы написать предисловие? – твердо ответил:

— Да.

И предисловие было прислано.

«Поэт Алексей Смирнов написал поэму о войне в Афганистане. Об этой войне написано много и прозы и стихов, но почти все написанное о ней или обезображено нестерпимой пропагандистской ложью или, сохраняя незаметно-трогательное значение достоверных и искренних свидетельств и откликов, не обеспечено необходимым художественным талантом и поэтому не может остаться в нашем сознании и сердце. Между тем, война эта – наряду с Чернобыльской катастрофой, самая сконцентрированная и неизгладимо-страшная апокалипсическая трагедия нашего времени, к которой так или иначе причастны, которой так или иначе затронуты все мы, живущие на земле – не только население воюющих сторон, но и все человечество планеты. Подлинная правда об этой трагедии нужна всем нам, должна войтив нас и остаться в нашей памяти и совести, в наших умах и душах, которые, скорее всего, не сознавая этого, вот уже сколько лет ждут и жаждут этой правды. Вот почему в литературе нашей рано или поздно должно было появиться выстраданное и продуманное, взволнованное и волнующее, подробное и глубокое произведение о войне. Я рад, что его написал мой друг, единомышленник, собрат по литературному цеху Алексей Смирнов.

Я сказал бы, что я завидую ему, если бы не одно обстоятельство. Есть вещи, которые мы хотели бы сделать, но которых не сделали из-за собственной лени, несобранности, боязни трудностей; есть вещи, которых мы никогда не делали, но которые, как нам кажется, мы могли бы сделать, если бы захотели и потрудились, которые мы, по крайней мере, способны сделать в своих мечтах и помыслах. Но есть то, чего нам попросту не дано, на что мы не отважились бы даже в воображении. Ни при каких обстоятельствах, ни за что на свете я не смог бы написать такую большую эпическую, полифоническую поэму, какую написал Алексей Смирнов. Может быть, еще и потому, читая ее, я испытываю чувство удивления и восторга.

Автор поэмы не был на войне, но она обожгла его сердце и мозг, воображение и сердце. Поэтому поэма трагична и трагедийна в самом глубоком и точном смысле этого понятия. В ней пересекаются и расходятся судьбы воинов с той и с другой стороны, мусульманские молитвы сменяются видениями и исповедями убивающих и убиваемых, проходят верблюжьи караваны и дуют пустынные ветры. Я назвал поэму эпической и полифонической, и это действительно так, но это эпическая поэма лирического поэта. Каждая ее глава представляет собой лирический монолог какого-то из многочисленных ее персонажей, и это придает ей особенную силу и убедительность, как и ее словарное и интонационное богатство, как и постоянная смена стихотворных размеров и ритмов.

Колоссальный труд поэта, затраченный на создание такой поэмы, требует и от читателя значительного усилия и напряжения. Собственно говоря, она и рассчитана на читателя-единомышленника и одиночувственника. В то же время ее долгожданная и необходимая тема, ее широкое и могучее звучание достойны и требуют самых больших и многолюдных аудиторий. Еще недавно в нашей стране были артисты, которые любили стихи и хорошо их читали. Я представляю, как бы прозвучала эта поэма со сцены, с телевизионного экрана, по радио, сколько бы людей ее услышало. Во всяком случае, я желаю ей чего-то в этом роде и благодарю поэта за талант и труд, за живую душу и доброе сердце.

12.12.1991

Борис Чичибабин»

## 8

Трудно себе представить, какое государственное издательство, кто персонально в начале 90-х рискнул бы опубликовать «Дашти Марго», но возникла возможность самостоятельного издания за счет автора. Главу «Звонница» я отдал в журнал «Дружба народов» (и она вышла в свет), а вёрстку книжечки на ладонь сделала дочка Людмилы Васильевны Савельевой Татьяна.

Тираж книжки отпечатали ближе к дому – в типографии Центрального статистического управления (ЦСУ), известного умением управлять достоверной статистикой, если она уступает по красоте недостоверной. Опыт общения с работягами из СКБ Института кристаллографии (Специального конструкторского бюро) убедил в том, что рабочий класс денег за труды не берет. Он выше этого. Рабочий класс берет ректификатом – 96%-ым этиловым спиртом. Русскому рабочему праздник души важнее накопительства. Видимо, с учетом этого лабораториям и выписывался этиловый спирт в избытке; как шутили, для протирания «оптических осей». <sup>1</sup> Бутыль, дороже любой драгоценности, передавалась в замаскированном виде на секретной явке непосредственно из рук заказчика в руки исполнителя, или точнее: из-под полы под полу. Проверенный метод. При вашей щедрой сатисфакции вам от всей души предложат написать вторую «Дашти Марго» и снова обратиться за технической поддержкой к уже зарекомендовавшим себя людям. То, что вынашивалось десять лет + всю предшествующую жизнь, а формулировалось 30 суток, типографские мощности отшлепают за пять минут, демонстрируя полное превосходство множительной техники над медлительностью мысли. Начальник цеха, с которым и ведутся тайные литературно-химические переговоры, лично упакует вам тираж в пачки из первоклассного крафта, туго перетянув их новым серым шпагатом. Транспортировка осуществляется методом самовывоза. С этой целью мы с Наташей грузим пачки на саночки, сверху сажаем трехлетнюю Катюшу (младшую дочь) и катим домой. На асфальте через дорогу Катюша встает с тиража, а как только полозья, радуясь мягкому снежку, перестают сердиться и скрежетать, дочка в шубке,

---

<sup>1</sup> Оптическая ось – геометрическая абстракция: прямая, проходящая перпендикулярно через центры кривизны сферических поверхностей.

как маленький куличик, снова усаживается поверх упаковки. Так мы и доезжаем.

Я стал раздаривать книжку друзьям, рассылать поэтам-фронтовикам. Один экземпляр, помещавшийся в простой конверт, как обыкновенное письмо, отправил Окуджаве.

Первое публичное чтение поэмы состоялось в Некрасовской библиотеке на Тверском бульваре. Народа собралось много. Я читал поэму целиком. Потом началось обсуждение. Центральных выступлений получилось два. Чичибабин осудил затеявших афганскую авантюру и поддержал прекративших. Отдал должное автору. А затем вышел незнакомый мне человек в штатском, который представился полковником советской армии, пять лет прослужившем в Афганистане во время войны. Думаю: капут мне. Сейчас выведет на промокашку. «Никаких боевых действий в Дашти Марго не велось. Откуда вы это взяли? Где документы? Где доказательства? Ничем не подтверждено. И вообще всё было не так...» Но нет. Полковник по-простому рассказал, как подействовала на него поэма, а завершил тем, что он пять лет пробыл на войне, а где его отклик? Собственное мнение о том, что произошло, – где? А вот человек не был там ни дня, а кажется, что прошел от и до и вынес свое суждение. Пожав мне руку, полковник покинул собрание. Больше я никогда его не видел. Со стороны могло показаться, что это договорной оппонент, настолько его выступление прозвучало в унисон поэме. Недаром я с детства так любил наших полковников! Мой дедушка был полковник, и оба дядюшки (один – армейский, другой – полковник метрополитена), и папа, и в Менделеевском институте вся кафедра была в полковниках и сейчас не подвели. Если бы о нашей армии судить по тем полковникам, которые окружали меня с детства, с дома Перцова (вотчины Военной академии имени Фрунзе), то лучшей армии представить себе я бы не мог. (Кстати, и меня однажды приняли за «полковника». Стою у окна в узком коридоре

поезда «Москва – Харьков». Мимо движется внушительная дама-офеня, отягощенная корзиной товаров, и минуя меня, плотно застревает со словами: «Мужчина!.. Полковник!..», – имея в виду, что не она, а я слишком толст и мешаю ей пройти).

Второе чтение было в Музее Маяковского в зале амфитеатром, сидения которого обтягивала шерсть сукуна – серого, как солдатская шинель. После Вечера один из слушателей, знавший меня с младенческих лет, сказал по ближайшей ассоциации без похвалы и без иронии, а в какой-то задумчивости:

– Еще две-три такие поэмы, и Алеша у нас будет, как Маяковский.

На что я молча возразил:

– Еще две-три такие поэмы и меня вообще не будет.

Помните прорицание Пастернака?

Но старость – это Рим, который  
 Взамен турусов и колес  
 Не читки требует с актера,  
 А полной гибели всерьез.

До старости было еще далеко, дети маленькие, а гибелью уже повеяло.

Больше «Дашти Марго» я на вечерах не читал, успокоившись тем, что по настоянию слушателей записал диск в студии звукозаписи Государственного Литературного музея. Узнал, что всё сочинение звучит 65 минут. Читалось там не перед аудиторией, а перед одной-единственной Катей Жуковой («все работы над проектом») в подвале жилого дома во Вспольном переулке.

Валентин Берестов, отроком войны эвакуированный в Ташкент и благословлённый на литературные подвиги Ахматовой и Чуковским, прищурившись за толстыми стеклами очков, как от песчаного ветра, вынес вердикт:

– Алеша, а ведь получилось. И страшненько...

В Актовом зале ФИАНА в пору депутатской эпопеи Сахарова набрался смелости, сам подошел к нему, никем не представленный:

— Андрей Дмитриевич...

Вручил книжку. Он положил в карман пиджака. Поблагодарил.

Крепко пожал руку. Раскрыл – не раскрыл, не знаю.

В белоснежном конверте с рисованным старинным фонарем пришло письмо от Окуджавы.

«Уважаемый Алексей!

Я долго приступал к чтению Вашей поэмы, а потом прочитал залпом. Это очень интересно и достойно. Не могу сказать, что все меня, ортодокса и традиционалиста, устроило в равной мере, но я старался быть предельно объективным, и мне это, кажется, удалось.

Поздравляю!

Желаю всего самого доброго.

Б. Окуджава».

Позвонила мама:

— Вчера слушала по радио интервью Булата. Он говорил о том, что молодые поэты пишут без знаков препинания, но чувствуют точно так же, как мы. Наверно, имел в виду тебя.

И вот в феврале 2019 года – ровно через тридцать лет после того, как я вернулся со своей афганской войны, о которой тогда так мало знал, а жил лишь ощущением ее несправедливости, перечитал свое тридцатилетней давности предисловие к поэме. И что же? Во втором абзаце проступают следы моего невежества.

«Кризис Афганистана начался, вероятно, с низложения короля...» Пока всё верно. Сорок лет правления Захиршаха остались в истории как «золотой век» Афгана, а потом страну стали морочить революционеры-реформисты. Но дальше, дальше! Кто воспользовался? С чего пошел кризис вширь и вглубь? «...с нашей нелепой попытки навязать феодальному – средневековому – полукочевому

Афгану тот самый «социализм», который мы теперь не приемлем у себя». Нет, не так! Не «навязать» и не «тот самый». Всё сложнее. Никакого «своего» социализма 70-х годов мы Афганистану не навязывали. Это было просто немыслимо. Полные личных амбиций афганские лидеры пытались обратить мусульман в собственный афганский «марксизм-ленинизм» с портретом Сталина наизготовку как главного методиста по встряхиванию отсталых стран и народов; установить диктатуру пролетариата при отсутствии пролетариата. Диктатора не было, а диктатура тем не менее процвела. Диктатура вождей устранявших друг друга и терроризировавших народ. Это вызывало оторопь в Кремле. Политбюро не знало, что делать с выпущенным на волю джином смертоубийства. Ситуация воспроизводила советский социализм 30-х годов, но никак не 70-х. Премьер-министр Косыгин убеждал «афганских товарищей» (документы рассекречены) прекратить беззакония, смягчить режим, учесть наш горький опыт. С ним соглашались, но ничего не менялось. Если правовая база введения войск в Чехословакию «базировалась» на «письме» группы пражских рабочих, то о введении советской армии в Афганистан целый год умоляли сами афганские лидеры, не способные справиться с протестами народа: «Введите войска!» Понимая всю остроту подобного шага, Москва отказывала до тех пор, пока ни спасовала перед поисками политического решения в пользу решения военного. В конце концов Брежнев не пережил убийства Тараки, которому дал гарантии безопасности. Он посчитал, что Амин – организатор этого злодеяния обманул доверие Москвы, обманул лично его – Брежнева.

Других замечаний к предисловию у меня не нашлось.

### ПЕРЕД ПОЭМОЙ

<...> Когда сам народ именуется участников определенного события, то имя закрепляет и отношение людей к этому событию. Разве кто-нибудь называл «немцами» солдат

Великой Отечественной? Десятилетия имя «немец» было оскорбительно нашему слуху – так долго затягивалась рана, задевшая слуховой нерв народа. Русскому солдату именовать себя «немцем» было немислимо. И вот совсем иное: афганский поход. Солдат, вернувшись домой, пленных и павших народ назвал «афганцами», то есть теми, за и против кого они воевали: не только за, но и против. Назвал по признаку географическому – по месту боевых действий.

Наш народ не хотел войны, он лишь подчинился ей, когда вооруженные силы СССР пересекли границу Афгана, родив политическую химеру, левая половина которой кричала о «невмешательстве во внутренние дела других государств», а правая призывала «с честью исполнить воинский долг». Напали не на нас – напали мы. Потому-то имя «афганец» и сохраняло в народе свой первоначальный чисто национальный смысл без патологических приращений – смысл, напоминавший лишь о плацдарме, на котором развернулись боевые действия. Потому-то в гражданской войне в Афганистане участвовали одни афганцы: афганцы-аборигены и «афганцы»-пришельцы.

Всем им – живым и павшим – эта поэма.

<...> Дашти Марго – Пустыня Смерти: здесь – образ войны, и пусть осведомленный штабист или военный историк не ищут упоминаний о Дашти Марго в сводках и приказах. Наверное, таких упоминаний там нет. Поэзия не ксерокопия со штабных документов. Дело поэта не копировать параграфы реляций, а вызывать из пламени войны скрытого в нем джина, чтобы облекать его смутные бормотанья и бессвязные вопли в доступную речь»...

## Глава пятая

### ДАР ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

2005

*За уважение к словарям. – Дверь в детскую литературу. – Журнал «Мурзилка». – Звонок Солженицына. – Редактор Глеб Карпюк. – Лучшая детская книга*

#### 1

**К**акая скука – эти словари!

В пятом классе учительница русского языка Вера Ивановна Державина – педагог старой закалки в приказном порядке заставила всех своих недорослей приобрести «Орфографический словарь русского языка» – на редкость унылую, по нашему мнению, книжку, где не было ничего, кроме слов с ударениями, выстроенных столбцами по алфавиту. Равняясь на своих правофланговых, они вытягивались в бесконечные колонны, как солдаты на плацу, решавшие всего две боевые задачи: правописание и акцентирование.

Тоска!

Никакого сюжета, никакого движения, никаких картинок. Одна статичная орфография.

Поскольку проблемы с грамотностью я начинал испытывать только, когда вспоминал правила, а без них затруднения обходили меня стороной, то я правил и не вспоминал, а в словарь заглянул раза два. Посему, если в нем были неразрезанные страницы, то они так и остались неразрезанными.

Папа моего отношения к словарям не разделял, однако для того, чтобы его изменить, не предпринимал ровно ничего, следуя своему основному педагогическому принципу, согласно которому я должен был до всего доходить сам. Этот принцип был папе очень удобен: он освобождал его от необходимости просвещать меня в чем-либо, доверяя заботы по развитию сына маме, школе, радиовещанию, а главное – самообразованию ученика. При этом папа опирался на собственный опыт. Он не ждал, когда дедушка Алеша (его папа), придя с работы из Военной академии имени Фрунзе, станет проверять уроки сына. Папа учился не для родителей. И в шахматы играл не для них. И занимался легкой атлетикой по собственному желанию. В 10-м классе он составил маме – своей однокласснице – список книг, которые ей непременно следовало прочесть. Спустя *n* лет этот список лег в основу двухсот томной Библиотеки всемирной литературы, хотя никакого отношения к этому изданию папа не имел.

Итак, орфографический словарь остался за скобками моих интересов. Но в домашней библиотеке сыскался еще один труд: «Толковый словарь русского языка» в 4-х томах под редакцией профессора Ушакова. Массивные фолианты в твердых темно-зеленых переплетах с форзацами в «мраморных» разводах показались мне другой крайностью. Толкование слов разворачивалось в целый мир, познать который, казалось, всей жизни не хватит. Вот я и не познавал, предпочитая игры на свежем воздухе.

Позже Менделеевский институт сориентировал студента на совсем другие фолианты, и никакой необходимости в словарях стипендиат кафедры приборов и материалов квантовой электроники не испытывал до тех пор, пока (сказать попроще), сдвоенная флейта Эвтерпы ни коснулась его слуха и ни увлекла в пленительный мир лирических грёз. Тут и выяснилось, что слов-то ему и не хватает... Что другой раз и правописание не грех перепроверить... И ударение. А то вдруг стихотворный размер заартачится,

откажется принимать удобное автору слово, и будь любезен найди подходящее по числу слогов и акценту другое... Нет, не первое попавшееся, а его синоним... Да нет же! Это синоним из другого стилистического ряда, а ты найди из своего... Короче, я осознал, что всё упирается в слова, и пока не разберешься со словами, все «великие мысли», все «испепеляющие чувства» так и останутся при тебе, забудутся и выгорят, не обретут дара речи, не смогут себя выразить, не останутся даже в собственной памяти, не то, что в памяти людей. Для чувств и мыслей нужен язык пластичный, гибкий, разнообразный, точный, ясный тебе самому и твоим слушателям.

На Вечере «Магистрала» в Литературном музее Пушкина среди прочих выступал поэт-переводчик Вильгельм Левик. Он прочел в своем переводе с французского стихотворение Бодлера «Альбатрос».

Временами тоска заедает матросов,  
И они ради праздной забавы тогда  
Ловят птиц океана – больших альбатросов,  
Провожающих в бурной дороге суда.

Грубо бросят на палубу. Жертва бессилья,  
Опороченный царь высоты голубой,  
Распластав исполинские белые крылья,  
Он как вёсла их тяжко влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, вздымавшийся к тучам,  
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным.  
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,  
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

Так поэт: ты летишь над грозой в урагане,  
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,  
Но ходить по земле среди свиста и брани  
Исполинские крылья мешают тебе!

Удивила не романтическая метафора «поэт – альбатрос», а скорей явленная метафорой «диалектика жизни»: изменились обстоятельства и неоспоримое достоинство альбатроса – его крылья превратились в его мучение. Но особенно поразил эпитет: какие крылья? *Исполинские*. Слово вошло в строку, как кулак в перчатку. Точно и плотно. Крылья «огромные», «громадные», «гигантские» не подходили ритмически, но и подходившие «колоссальные» были несравнимо хуже. И «богатырские» хуже. Они русифицировали французский подлинник. Нет, именно *исполинские!* Откуда взялась такая точность, и кто лучше мог знать об этом, чем сам Левик?

Мы сидим втроем вокруг настольной лампы в кабинете Левика на улице Горького (Тверской): гость, хозяин и Кот Казанский (Наум Астраханский, Разум Сибирский) – уши торчком, когти крючком, шерстяной клубок, рыжий бок. Бок дышит, вздымаясь и опадая. Любимец возлежит на каком-то толстенном томе, на письменном столе хозяина, утробно урча и не спуская с меня ясных малахитовых глаз. Он весь внимание. Он вслушивается в нашу беседу.

– Вильгельм Вениаминович, а что делать, когда не пишется?

– Читать Даля, – отвечает хозяин, деликатно извлекая из-под кота один из томов Далева словаря. Настольная книга поэта-переводчика. – И не надо читать подряд, а с любой страницы, с первого попавшегося слова. Очень советую.

Посмотрим наудачу.

Вы знаете, что такое КУТА́С? И я бы не знал, если бы не прочел. «**КУТА́С** – шнур с кистями, подвеска на шнуре, бахромчатое украшение... шнуры и плетушки на кивере; аксельбанты...» Отсюда цветочные **кутасы**, плетеницы, витни, венки или гирлянды... Отсюда **кутасник**, делающий кутасы, шнуры, кисти и бахрому. Говорят: хмель **кутасится**, вьется кутасами.

Между прочим, в Отечественной войне 1812 года участвовал молодой генерал – граф *Кутайсов*. Он командовал

артиллерией и погиб в битве под Бородино. Его отец, турок, был камердинером императора Павла I, большим пользовался влиянием при дворе. А в Гражданскую войну получил известность белый генерал – *Кутасов*. Теперь понятно происхождение этих фамилий. Наверно, они идут от *кутасников*... Как вы думаете?

Вильгельм Вениаминович закрыл книгу.

– Пройдет год-другой, и сами не заметите, какую службу сослужит вам Даль.

Но в условиях книжного голода купить Даля было нельзя. Его можно было только «достать». Однако в «доставалы» я не годился и пожелание Левика пребывало втуне.

Для чиновников советской поры отношение к тому или иному автору определялось не их собственным мнением, а соображениями высшего руководства, в особенности товарища Ленина, если таковые соображения имелись. В письме к другому начальнику – Луначарскому Ленин свое мнение по поводу Даля высказал: «Недавно мне пришлось – к сожалению и к стыду своему впервые, – ознакомиться с знаменитым словарем Даля. Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел...» В одной фразе – три определения: великолепный, областнический, устаревший. Долгое время деятели советской печати делали упор на «областнический, устаревший» и словарь не переиздавали. Но постепенно определение «великолепный» стали учитывать более предметно. Однако спрос «на Даля» с его двумястами тысячами слов и тридцатью тысячами пословиц и поговорок в качестве примеров употребления лексики превосходил все появлявшиеся тиражи. Надежда оставалась на то, что «заграница нам поможет», как помогла она в случае с Ахматовой.

В середине 80-х я оказался в городе Галле – центре немецкой электронной микроскопии. Там же располагался советский военный городок, а в городке – книжный магазин, скорей лавчонка: узкая, тесная и от пола до потолка забитая раритетами, недоступными в Союзе.

Среди них – четырехтомный «Толковый словарь» Даля с узорными золотыми корешками. Видя мой энтузиазм, коллега спросила в нерешительности:

– Может и мне купить?

И хотя никакой надобности в Дале у нее не было, я мотивировал для нее покупку тем, что лучшее в своем роде надо иметь независимо от текущих потребностей. Правда, другого коллегу – моего однофамильца из ленинградского Физтеха этот довод не убедил.

Словарь Даля заставил задуматься о том, что личный подвиг может оказаться значительней коллективного труда. Уж на что хорош был словарь Ушакова, составленный пятью крупнейшими учеными-специалистами, а по эмоциональному, художественному, да и лингвистическому воздействию Даль, с юных лет в одиночку собиравший свой словарь словечко за словечком, превзошел всех. (Помощники прибавились лишь на последнем этапе). Это был подвиг ученого, а в равной мере и подвиг художника, не постеснявшегося, кроме объективных сведений, воплотить в словаре самого себя, вложить в него не только ум, но и душу просвещенного дворянина, воздающего должное гению народа. Именно – *гению*, поскольку лексическое богатство формируется и растет не по распоряжениям столоначальников, а как живой организм: естественно; в соответствии с законами языка.

Заметно издержав свои валютные ресурсы, зато оживив скупо и вяло протекавшую гарнизонную торговлю, я получил возможность последовать совету Левика и погрузился в Даля. Оказалось, что с ним требовалось еще разобраться. Если вас заинтересует, к примеру, какие пословицы и поговорки сочинил русский народ на слово **правительство**, то статью с таким словом вы в словаре не найдете. Оно прячется в статье **Правый**, причем автор – сам крупный чиновник – приводит лишь благонамеренную констатацию: «Правительство (здесь – правление. А. С.) Муравьева в западном крае оставило навсегда благодарную память»,

хотя к нашему времени вместо памяти осталось уже только свидетельство Даля.

## 2

События Перестройки (80-е гг. XX века) тоже оставили о себе память в обществе, причем до сих пор самую противоречивую. Среди прочего, они запомнились попыткой изменения системы школьного образования. Смысл предлагавшихся перемен состоял здесь в том, чтобы уйти от политизации образовательного процесса и его «монографичности»: один предмет – один учебник. Началось движение учителей-новаторов, ратовавших за массу подходов к одним и тем же предметам, за свободную конкуренцию мнений, предоставляющую педагогам право выбора; за творческое отношение к образованию. Неожиданно выяснилось, что «Учительская газета», гложая в глубокой читательской тени, на какое-то время превратилась чуть ли не в мотор Перестройки. Создавалось впечатление, что одна из консервативнейших отраслей общественной жизни – педагогика закипает новыми идеями, проникается духом коллективного поиска в унисон с тем обновлением, которое вносило правление Горбачева, и даже опережая официальные инициативы этой «контрреволюции сверху».

Среди учителей-новаторов был мой друг Дмитрий Лебедев – учитель-романтик, увлеченный самыми вдохновляющими надеждами, исполненный самыми чистыми побуждениями. Мы полетели на Урал, в Асаново, на Съезд его единомышленников. Там собрались ученые, директора школ, завучи, преподаватели, методисты со всего Советского Союза. Атмосфера всеобщей эйфории непобедимо властвовала над людьми. Казалось, что сейчас, немедленно, вот-вот начнут сбываться самые светлые мечты о том, какой должна быть наша школа. Учителя отойдут от господствовавших над ними догм. Раскрепостится сознание учеников. Все поймут, что мир многосложен и его динамика не укладывается в монополярные представления

избранных теорий, переживших себя идеологий. Дети станут учиться не за страх, а за совесть. Им будет интересно. Авторитет преподавателей вырастит беспримерно. В классы пойдут учителя-мужчины. Гуманитарные лица возродят традиции дореволюционных русских гимназий. Родители преисполнятся благодарности к педагогам, а те не устанут восхищаться родителями, подарившими школе таких одаренных детей!

Мой товарищ – ученый-биохимик с дипломом Московского университета уже имел опыт успешного преподавания в школе предметов естественнонаучного цикла. Вместе с тем он убедился, что грамматика русского языка, разработанная со строгостью точных наук, многим детям не по зубам; грамотность массы учеников сильно хромает; что искусство публичной устной речи тоже как-то со скрипом прививается поколениям будущих ораторов, лекторов, риториков. Лебедев предложил мне написать для школьников что-нибудь доступное о русском языке и взялся помочь это «что-нибудь» опубликовать. Так возникла моя первая детская книжка «Сорок слов из простокваши» (М., 1992). Ее главными героями стали слова. В аннотации для родителей автор сообщал, что «читая книжку, детям придется поразмышлять: поиграть в синонимы, поискать антонимы, заняться комбинаторикой, то есть «вычерпать» десятки слов из слова *простокваша*, постичь азы русского стихосложения, попробовать посочинять веселые стишки – лимерики». Над оформлением книжки поработали псковский художник Александр Стройло и внучка Велимира Хлебникова Вера. Частное издательство «Лайда» выпустило «Простоквашу» сто-тысячным тиражом, и мое крещение в качестве детского писателя состоялось.

Один экземпляр я подарил поэту Якову Акимов. Знакомы мы не были, просто вместе выступали когда-то в книжном магазине на улице Кирова (ныне «Библиоглобус» на Мясницкой). Аким запомнился музыкальностью своей

лирики и безукоризненной внешностью лондонского денди. Но он оказался и первой скрипкой в редколлегии журнала «Мурзилка». По собственной инициативе Яков Лазаревич показал «Сорок слов...» в редакции, рекомендовал, и я стал постоянным автором журнала, с годами напечатав там целые детские книжки («Судьба Иисуса», «Прогулки со словами», «Азбука Козьмы Пруткова», «Имя Родины», «Рассказы о шрифтах»...), изобретательно и ярко оформленные художниками «Мурзилки». «Прогулки со словами» дважды выходили отдельными книжками (1994, 1996). Вторым изданием по моей просьбе занялась художница Ника Гольц – волшебница книжной графики, проиллюстрировавшая всего Андерсона, Гауффа, братьев Гримм. Титульный лист она украсила рисунком трех моих дочерей – сестер Смирновых. Взявшись за руки, девочки бегут с цветами по летнему лугу. Мы жили с Никой Георгиевной поблизости друг от друга на даче под Новым Иерусалимом, часто виделись. Ника показывала свои текущие работы, огорчаясь тому, что печать неизбежно их портит. В самом деле, сомнительное качество печати огрубляло рисунок, меняло краски, заметно уступало подлинникам. Кроме того, искусство в 90-е становилось частью дикого рынка. Главным критерием успеха книги сделалась ее прибыльность. Не художественные достоинства, а спрос. А спрос диктовался вкусом покупателей, тративших сокровища своего кошелька на всё пышное, золоченое, бьющее в глаза, грубо выпуклое. Как будто фальшивое золото обложек новым читателям хотелось не только видеть, но и щупать пальцами, пробовать на зуб. В результате наша несравненная школа книжной графики оказалась слишком хороша для изменившегося времени, слишком самобытна, изящна, одухотворена. Большие художники остались без работы. На персональной выставке Ники Гольц в Литературном музее в Трубниках мы ходили вдвоем с ней по безлюдным залам, наполненным образцами ее виртуозных фантазий, легкости, тонкого

вкуса. Вдвоем... Все-таки удивителен этот из поколения в поколение повторяющийся феномен: процветающее ремесло и невостребованное искусство.

К чести «Мурзилки» журнал хранил традиции детской литературы и книжной графики, доставшиеся нам в наследство от предшественников; традиции, позволявшие возвести творчество, адресованное детям, в ранг искусства.

А теперь – жанровая сценка из жизни редакции.

А в т о р . Кира, ты мои стихи получила? О зиме.

С е к р е т а р ь р е д а к ц и и . Ну, получила. Какой месяц у нас, ты помнишь, Виталий?

А в т о р . Февраль.

С е к р е т а р ь . Вот именно! Февраль... Мы уже майский номер сдаем, а ты «о зиме» прислал. Не поздно ли?

А в т о р . Ну, хорошо, сдаете... Ничего не имею против. А ты что – не можешь под меня «о́кна» оставлять?

С е к р е т а р ь . Интересно!.. «Окна» под него оставляй... А если ты ничего не напишешь? Что мне тогда с твоими «окнами» делать? Досками их заколачивать?!

Это дружески выясняют отношения Кира Николаевна Орлова и Виталий Титович Коржиков – еще один желанный гость на нашем «пиру судэб».

По-гречески Мелитополь значит медовый город. Там рос Виталий. Но мед его детства оказался отравленным. В 1937 году, когда мальчишке сравнялось шесть лет, расстреляли его отца Тита Коржикова – «партийного и государственного деятеля», а мать сослали в лагерь. Википедия сообщает, что сироту воспитывали родственники, но сам Виталий рассказывал мне, что его приютили соседи – мои прадедушка и прабабушка, при этом некоторое время доступным оставался и родительский дом. Летом 1938 года из Москвы на летние каникулы в Мелитополь к своим дедушке и бабушке приехала моя мама. Ей исполнилось шестнадцать лет. Ее красота привлекала к себе внимание всех, в том числе и Виталия, а мама его не запомнила. Зато она не раз вспоминала про богатейшую библиотеку в доме

соседей (Коржиковых), где она за лето «от корки до корки» прочла Собрание сочинений Шекспира в роскошном издании Брокгауза и Ефрона. А Виталий вырос, ходил моряком на торговых судах по всему свету и в солнечных книжках радовал детей рассказами о своих плаваниях. Ко мне он относился так, что Яков Аким как-то спросил мимоходом: «Да вы часом не родственники ли?»»

## 3

Однажды я догадался взять часть строфы из первой главы «Евгения Онегина»:

...А Петербург неугомонный  
 Уж барабаном пробужден.  
 Встает купец, идет разносчик,  
 На биржу тянется извозчик,  
 С кувшином охтенка спешит,  
 Под ней снег утренний хрустит.  
 Проснулся утра шум приятный.  
 Открыты ставни; трубный дым  
 Столбом восходит голубым... –

и пропустить ее через разные словари, а именно: орфографический, синонимов, антонимов, фразеологический, толковый, энциклопедический... Суть этой фантазии – знакомство детей с многообразием словарных ресурсов русского языка на примере пушкинских строк. А сюжетный интерес, между прочим, состоял в том, что мы искали, кто такая *охтенка*. Вначале меня смутило, что ее нигде нет, а потом я превратил это затруднение в основу сюжетного поиска. Мы переходили от словаря к словарю, якобы потому, что нам никак не попадалась охтенка. Наконец, Энциклопедический словарь разъяснил: *охтенка* – молочница из Охты – района Петербурга, где проживали финны, то есть финская молочница.

Один эпизод поисков был посвящен Толковому словарю Даля. Я извлек этот фрагмент из журнальной публикации

и передал главному редактору большого московского издательства. Спустя время, приезжаю за ответом. Редактор, соединивший в своей фамилии сталь и феррум (железо), стоял посреди кабинета в пальто тяжелом, как черная металлургия, но наполнявшем комнату острым запахом дорогого магазина кож. Бритоголовый на манер новых русских, он улетал на ярмарку в Гамбург и разговаривать со мной ему было некогда. Тем не менее спросил:

- О чем ваша рукопись? Напомните.
- О словаре Даля.
- Ах, да!.. Читал. Нет. Мы не готовы такое печатать.

Это слишком специально.

- А кто готов?
- Даже не знаю... Попробуйте обратиться в «Дрофу».
- А к кому?
- Там есть такой редактор Карпюк. Глеб Васильевич.

Если он не возьмется, то никто. Но он-то как раз может взяться. Словари – его тема.

В это время окрыленный успехом «Простокваши» учитель Лебедев предложил мне новый «проект»: он решил, что мне по силам создать такой учебник русского языка, который совершит революцию в педагогике и поднимет грамотность детворы на высоту до сих пор ей недоступную. Вся система языка проступит перед детьми в своей строгой и логичной простоте. Цепи чугунных правил, тяготившие учеников, как кандалы – каторжан; как вериги – страстотерпцев, падут, и свобода полного понимания восторжествует над умами несчастных! Горячая убежденность новатора, подкупающая своей верой в победу разума, хорошо соотносилась с модной концепцией «учиться – легко!», но никак не отвечала моим представлениям о том, что в деле повышения грамотности радостного народа (мальчишек и девчонок) легких путей нет. Хорошо, мне повезло с «врожденной грамотностью», а если ее нет? Начать хотя бы с того, что грамотность растет благодаря чтению художественной литературы и словарей. Процесс этот – многолетний сам

по себе – тормозится еще и тем, что интерес детей к художественной литературе сякнет, а словарей не читает никто. Их фундаментальную роль в культуре понимают только взрослые и то не все. Мало учить правила. Это формальный путь. Надо начитывать тексты не только про себя, но обязательно и вслух, слушать грамотную речь, самому упражняться не в надписях на заборе, а в дневниковых записях, в письменном осмысливании собственной и окружающей жизни. Кроме того, я догадывался, что новизна, бурлящая на страницах «Учительской газеты» и новаторских съездах, едва ли встретит понимание в недрах министерства просвещения, потребует массу сил и времени для того, чтобы себя утвердить, и не факт, что это получится. И я уклонился от уготованного мне подвига, сосредоточившись на книжке для детей о словаре Даля.

Но чертенок соблазна не дремал. Он затеял очередной конкурс, как водится, суля подарки победителям, и я рискнул представить свой «проект»: «Школа русской словесности» – внеклассные занятия с литературно одаренными детьми. Средняя дочка «отбила» на довоенной «Олимпиаде» семь страничек машинописи, которые попали в число лауреатов. Автора наградили заветным набором оргтехники и теплыми напутствиями.

За моральной поддержкой я обратился к Солженицыну. Передавая письмо писателю, моя «почтальонша» предупредила, что Александр Исаевич получает мешки писем и отвечать успевают лишь на самое, по его мнению, важное – в первую очередь, конечно, на письма, связанные с положением нынешних заключенных в тюрьмах и лагерях.

Эти бурные события совершенно заслонили от меня совет обратиться с книжкой о Дале в издательство «Дрофу». Я о нем просто забыл. Тем более, что Институт кристаллографии ежедневно привлекал мое внимание к собственным «проектам», связанным с экспериментами, статьями, докладами, заявками на гранты...

Как-то вечером Наташа позвала домочадца к телефону. Позвала загадочно. Как будто предчувствовала, что этот звонок таит в себе нечто необычайное.

— Тебя. Какой-то очень интеллигентный голос...

Я подошел.

— Алексей Евгеньевич? С вами говорит Солженицын.

Молодо, бодро. Дикция артистическая. Интонации радостные. Смешно сказать: «Мы поговорили». Но, действительно, поговорили. Хотя сам факт звонка показался мне тогда важней содержания разговора. Речь шла о «Школе русской словесности». Александр Исаевич интересовался, откуда она будет финансироваться: из России или из-за рубежа? Я отвечал, что, конечно, только из России. В ближайшее время предложение будет представлено в министерство просвещения. Такой ответ моего абонента удовлетворил. Он пожелал мне успеха. Кто? Солженицын!

Днями позже я был в старинном министерском особняке на Чистых прудах. Активист пришел со всеми своими «активами», отмеченными на конкурсе и поддержанными Солженицыным.

В большом и тихом двухэтажном зале с окном в пол; окном, пронизанным косым лучом солнца, вобравшем в себя всю канцелярскую пыль эпох, не сразу можно было различить по углам пару замшелых, как древесные грибы, письменных столов, за которыми шевелились два существа поколения Надежды Константиновны Крупской и (предположительно) ее же образа мыслей. Обе чиновницы укрывались шальями, широко растягивая их на плечах, и напоминали паучих, соткавших такую паутину, сквозь которую не прорвется ни одна инициативная муха. Для моего «проекта» здесь наступил конец истории, «конченный пир судёб», завершившийся судом, на который автор допущен не был. Не было и никаких мотиваций, обличений, приговоров. Просто всё постепенно и бесшумно утонуло в шальях минувших времен.

## 4

И тут я вспомнил о «Дрофе». Это издательство приняло на себя почетный труд обеспечивать учебниками и задачами школьников России, и в нем трудится единственный в стране редактор, способный оценить мою книжку о Дале, сказать о ней доброе слово, запустить в производство. Как его фамилия?.. А зовут как? Забыл...

По цепочке служебных телефонов добираюсь до редакции словарей.

Заведующая приглашает приехать. Приезжаю.

— Мы издаем *сами* словари, а не *о* словарях.

Пауза.

Дама доброжелательна, но не беспредельно. Внутренняя борьба между желанием помочь и формальной необязательностью это делать. Первое побеждает.

— Единственный для вас вариант, если возьмет Глеб Васильевич.

— А как его фамилия?

— Карпюк.

Точно! Это его мне рекомендовали, как луч света в темном царстве.

Пусть не в темном, но в рутинном.

Входит. Крепкого сложения зрелый муж – такая редкость в дамском или колеблемом ветром мужском издательском сообществе.

— Что у вас? Показывайте.

Листает, резко перебрасывая страницы с руки на руку, бросая зоркий взгляд по диагонали.

— Так... Хорошо. Мне это нравится... Да.

Я возьму, если вы согласны на два условия. Первое: вы ждете ровно год, пока я закончу словарь северных диалектов. И второе: не просто ждете, а увеличиваете объем книги минимум в шесть раз. У вас журнальный вариант.

Мы такие объемы не печатаем.

Обмениваюсь с Карпюком крепким рукопожатием, и работа закипает.

Спустя год Карпюк сдает северные диалекты и озадачивает главного редактора желанием издать книгу о словаре Даля.

— Глеб Васильевич, вы же знаете, что литература о словарях – это не наш профиль.

— Знаю.

— И охота вам возиться с книжкой, на которую вы время потратите вдвое больше, чем на словарь, а заработаете вдвое меньше?

— Мне семьдесят пять лет. Имею я право сделать то, что хочу?..

— Делайте.

Понятно, что ни содержание книги, ни ее автор начальство не интересовали. Начальство в этом – исключительном – случае учитывало только авторитет и желание Карпюка.

Через два месяца он знал текст не хуже меня, то есть (преувеличивая, но не сильно) почти наизусть. Энциклопедичность и добросовестность редактора позволили автору почувствовать себя, как за каменной стеной. Карпюк исходил из девиза свободного человека: «Автор может чего-то не знать, но редактор обязан знать всё!» Самые коварные ошибки подстерегают нас не тогда, когда мы в чем-то сомневаемся, – если сомневаемся, то трижды перепроверим, – а тогда, когда уверены в своей правоте и не проверяем, а правота оказывается мнимой. Вот здесь редакторская правка и становится спасительной. Карпюк был потомственный филолог и книголюб: серьезный и азартный, с врожденным чувством языка и громадным читательским опытом. Страсть к печатному слову гудела у него в крови и урезонивала многочисленных начальников, сменявших друг друга на своих ответственных постах. Он стал легендой издательского мира. Однако возможности Карпюка были не безграничны. Он не решал. Он работал. А решало начальство. Пока же всё шло хорошо. Мы отшлифовали текст и приступили к оформлению.

Согласно «Договору» книга предполагалась богато иллюстрированной, и автор обязывался представить

издательству весь иллюстративный материал. Карпюк понимал, что это не реально и взял инициативу на себя. Целый месяц я, как на работу (после работы), ездил к нему домой на Таганку, и мы вместе отбирали иллюстрации из десятков художественных альбомов и десятков тысяч художественных открыток, составлявших обширные домашние коллекции библиофила. Отбирали до одури, до тошноты. Обсуждали «кандидатуры». Не спорили, потому что не находилось поводов. Редактору нравилось то, что отбирал автор. Автору нравилось то, что отбирал редактор. Перед дорогой Глеб Васильевич потчевал меня байками и поил чаем на кухне, стены которой были увешаны декоративными тарелочками с видами посещенных им городов мира. Белый батон нарезался наискось ломтями величиной с богатырский лапоть. Хлеб не должен был выглядывать из-под колбасы. Крепкая русская горчица мазалась на колбасу, как масло. Варенье накладывалось не десертной ложечкой в розетки, а столовой – в мелкие тарелки. Угощение длилось по-гуджаратски, то есть по-русски, до тех пор, пока гость ни скажет: «Бас!», то есть «Баста!»

В срок сдали поставленную в план и подготовленную к печати рукопись, и я на время перестал о ней думать, понимая, что теперь к работе подключится издательство, а энтузиазм его сотрудников едва ли будет таким же героическим, как наш.

Прошло полгода. Карпюк делал очередной словарь. Мы давно не созванивались. Я всё чего-то ждал, сам не знаю, чего. Наверно, когда позвонит редактор. А он всё не звонил и не звонил. Наконец, я не выдержал – набрал номер.

— Как хорошо, что вы позвонили сегодня, а не вчера!

— Почему?

— Потому, что месяц назад у нас поменяли начальство, меня вызвали и спросили: «Что это за «Дар Владимира Даля»? Откуда он взялся? Кто его заказывал? Мы издаем учебники и задачки. Плюс – словари. Всё!» И «Даля»

вычеркнули из плана. Не перенесли, не отсрочили, а вычеркнули совсем. Я боялся вам звонить. И боялся вашего звонка. Но вчера начальство поменяли снова. А сегодня меня опять вызвали, спрашивают:

- Глеб Василевич, у нас есть что-нибудь готовое к печати?
- Есть.
- Что?
- Книга о словаре Даля.

Ну, расписал, конечно, как мог.

В итоге резолюция: «Режим-молния!» Это значит, что теперь все обязаны встать на уши, но выпустить книгу в кратчайшие сроки. Это решилось ровно сегодня.

Загорелись соты окон, и все издательство загудело и закружилось вокруг автора, как пчелиный рой вокруг царицы. Корректоры, компьютерная вёрстка, техническая редакция, обработка иллюстраций, художественная редакция, внешнее оформление...

«Даль» вышел в июне 2005 года – такой жданный, такой красивый, что с учетом драматизма своей истории стал для меня и редактора книжкой заветной. На Всероссийской книжной ярмарке в Москве это издание было признано лучшей книгой года для детей и юношества. После такой оценки «Дрофа» сделала два переиздания, в том числе одно – со словарем Даля. На отдельной пирамидке в книжном магазине «Москва» на Тверской они так и стояли рядом: четыре словарных тома и книга о словаре, вынутые из одной упаковки.

А по горячим следам первого издания меня пригласили на ярмарку. Там я встретил своего давнего приятеля поэта и переводчика Виктора Лунина, знакомого с новым питерским издательством «Вита Нова». Оно заняло издательскую нишу малотиражных, полиграфически роскошных книг. Лунин представил меня Алексею Захаренкову – директору «Вита Нова». Речь зашла о детской книжке, например, о «Неугомонном Петербурге». Захаренков посмотрел публикации в «Мурзилке» – редакционно выверенные, ярко оформленные и покачал головой:

— Нет. Своим детям я бы купил такую книжку с удовольствием, а издать мы не можем. У нас нет опыта работы на рынке детской литературы. Это не наша ниша.

— А какая ваша?

Выяснилось, что питерцы издают серии иллюстрированных томов мировой классики – вот их поле деятельности. А для современных писателей есть единственная возможность – серия жизнеописаний. В разговор включился редактор Алексей Дмитренко. Он предложил мне «развить успех» и написать биографию Даля для взрослых. «Вы в теме». Однако при всей моей любви к Далю еще на несколько лет возвращаться в прежнее русло не хотелось. Я взял два дня на размышление. Пришел домой, в некоторой рассеянности бросил взгляд на книжные полки, и мне попала на глаза давно не раскрывавшаяся книга: «Сочинения Козьмы Пруткова», 1959 года издания с господином в цилиндре и крылатке на обложке, опиравшимся левой рукой на трость зонта, а правую прижимавшем к груди то ли клятвенно, то ли молитвенно. Директор Санкт-Петербургской Пробирной палатки, поэт и мыслитель Козьма Петрович Прутков. Оборот авантитула украшал классически выписанный портрет сочинителя, взор которого выражал какую-то снисходительную надменность и гордую самоуверенность. Вспомнилось, как папа принес «Пруткова» и немедленно принялся за чтение, приходя во все более веселое расположение духа. Поначалу Козьма меня не заинтересовал. Потом несколько сбил с толку своей абсурдной ерундистикой. И, наконец, я его полюбил как источник разнообразных смехотворных коллизий, как плод досуга братьев-остроумцев Жемчужниковых и Алексея Константиновича Толстого – людей светлого ума, душевной чистоты, безупречного художественного вкуса. Прожить несколько ближайших лет в их компании показалось мне очень заманчивым. Я позвонил на стенд «Вита Нова» и предложил подготовить жизнеописание Козьмы Пруткова. Последовал ответ: «Согласны».

## Глава шестая

### СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

2007

*Кристаллография и литература в зеркале русской контрреволюции 1991 года. – Поход Игоревой дружины. – История памятника. Проблема подлинности. – Отец Марк и мир монастыря. Помощь грузинского князя. – Из Кембриджа в обитель Святого Пафнутия*

#### 1

В 90-е годы жизнь стала стремительно разваливаться. Первое в мире социалистическое государство превратилось в последнее в мире капиталистическое, точнее в пятнадцать последних – по числу отколовшихся союзных республик. Сверхдержава распоролась по всем геополитическим швам. Распад СССР явился следствием объективных процессов экономической деградации, жажды союзных руководителей стать неподвластными Москве; жажды, поддержанной национальными движениями и вылившейся в так называемый «парад суверенитетов». А субъективно распад СССР явился следствием личных амбиций Ельцина и его команды, вступивших в настоящую схватку за власть с Горбачевым. Когда стало ясно, что на законных основаниях сменить Горбачева на пестром ковре союзных республик Ельцин не в состоянии, он выдернул из-под Президента сам ковер, дав возможность разорвать ткань на лоскуты и сделав Горбачева Президентом уже не

существующего государства. При этом сильно «порозовевшие», то есть выцветшие и деморализованные коммунисты позволили бордовым пиджакам обмануть себя на президентских выборах 1996 года, как будто оппозиция власти была для коммунистов важнее, чем позиция (сама власть).

Крайне противоречивые и растянувшиеся во времени процессы социальной реакции «капитализм – социализм», оказавшейся бурно-обратимой, ближе всего я мог наблюдать в науке и литературе.

Институт кристаллографии был единственным в мире научным учреждением, исследовавшим кристаллы со всей полнотой и многообразием. Здесь их выращивали, здесь определяли их структуру, здесь исследовали свойства. Отцом-основателем Института стал Алексей Васильевич Шубников, собравший коллектив выдающихся специалистов, сохранивших аромат дореволюционной русской интеллигентности. Структурные исследования возглавлял главный кристаллограф мира Николай Васильевич Белов, еще и в свои девяносто активно занимавшийся наукой, а в библиотеку на высокий пятый этаж поднимавшийся только пешком. Разгадку тайн белковых молекул по заданию Келдыша взял на себя Вайнштейн. Каждой лабораторией заведовали ученые с мировым именем, а не только члены КПСС. Волнующим для всего научного сообщества стал тот факт, что сотрудник Института солдат-инвалид Великой Отечественной войны Борис Николаевич Гречушников сделал закрытую работу, аналог которой, позже опубликованный в открытой печати французскими учеными, был удостоен Нобелевской премии по физике. Институт гудел не столько от количества, сколько от качества трудившихся в нем дарований. Премьер-министр Великобритании Тэтчер, начинавшая карьеру не с политики, а с расшифровки белковых структур, значительно превысила отведенный ей по протоколу регламент пребывания в Институте кристаллографии. Персонально для нее в Актовом зале была устроена выставка достижений

с демонстрацией реальных методик и оборудования самими авторами. Не удивительно, если это посещение стало жемчужиной ее официального визита в СССР.

Первый удар новое время нанесло по институтскому Специальному конструкторскому бюро, в котором проектировались и строились приборы и аппараты для научной работы и полупромышленных приложений. Третий этаж – кульманы. Второй этаж – электроника. Первый этаж – рабочие цеха. Апофеоз – продажа установок по росту кристаллов в Японию. И вот – пустота. Не востребованность. Люди ушли. Вначале кто куда, потом – из жизни. А новая дирекция рассказывала, что СКБ – это наша «Квантунская армия» (некая отборная часть во временной «засаде»), не обращая внимания на тот факт, что Квантунская армия – образцовое соединение Императорской армии Японии – в 1945 году была наголову разгромлена Красной армией. Кто в 90-е взял на себя роль «Красной армии» в разгроме СКБ?.. Постепенно пал и лучший в своей области Институт. Осталось свежеремонтируемое здание. Остались отдельные очаги сопротивления, которые замыслила погасить реформа Академии наук, первоначально нацеленная на ликвидацию всей Академии.

А литература? Она стала заложницей рыночных отношений. Идеологическая удавка, равно как и щекотливый критерий качества, были заменены ставкой на прибыльность, бухгалтерскую арифметику. Качество по идее определяли жюри нескольких литературных конкурсов с их скудным рационом из трех премий на триста конкурентов. А все издательства стремились к доходности, поскольку литература в условиях рынка превратилась в бизнес. Тиражи толстых журналов упали в тысячи раз, «зато» авторы получили возможность издавать книги за свой счет микроскопическими тиражами, как некрологи, для друзей и родственников.

Локальные проблемы в специальных отраслях жизни возникали на фоне более общих. Уже российские

региональные «элиты» заявляли о своих планах отпочковаться от центральной власти. Татария, Урал, Сибирь, Северный Кавказ... все хотели самоопределения. А передел собственности шел через кумовство и криминал. На кладбищах вырос гранитный лес памятников новопреставленным «браткам» – жертвам бандитских междоусобиц. В целом ситуация напоминала Русь XII века с ее княжескими раздорами, братоубийствами и взаимными предательствами, на которых играли жестокие соседи. Ранящей стала для меня сушая, казалось бы, мелочь. По радио промелькнуло сообщение, что на некоторых зданиях в Крыму, тогда еще украинско-русском, без разделения, появились турецкие флаги... Почему турецкие? На каком основании турецкие? Откуда они взялись? Турецкие-половецкие... Современникам трудно отвечать на текущие вопросы. Это дело летописей. К ним я и обратился.

## 2

Канва похода князя Игоря, запечатленная летописцами и художественно осмысленная автором «Слова о полку Игореве», поддержанная нашими избранными комментариями, такова.

25 апреля 1185 года черниговский князь Игорь с дружиною выступает в поход на половцев – воинственное степное племя, не предупредив об этом старшего киевского князя Святослава, то есть без разрешения. Самовольность поступка вызвана не только личной храбростью Игоря, не только желанием отвоевать у половцев потерянный город Тьмуторокань на Сурожском (Азовском) море, но и досадой не удовлетворившего свое честолюбие воина. Незадолго до того Святослав совершил удачный поход на половцев, а Игорь к битве опоздал. Как ни торопился он поспеть, но кони Игоревой дружины скользили на гололеде, и время было упущено. Отсюда самостийный поход-реванш.

1 мая 1185 года у реки Донец

Взглянул Игорь на солнце светлое  
И видит: тьмой от него  
Все войско затмилось<sup>1</sup>.

На Древней Руси затмение солнца считалось дурным знаком: оно предвещало иноземное нашествие. Но Игорь пренебрегает небесным знамением. Он рассчитывает застать половцев врасплох, однако те начеку и готовы к бою. Два войска движутся навстречу друг другу.

Кричат телеги полуночи,  
Словно лебеди распущенные

Одна из прекрасных метафор памятника. Половцы не смазывали колес своих телег, и при движении они страшно скрипели. Этот скрип был похож на крик северных лебедей-кликунов, когда они тысячами летели зимовать на Черное и Азовское моря. Исследователь Н. В. Шарлемань (Труды отдела древнерусской литературы, VI, М.–Л., 1949) обращает внимание, с каким мастерством автор памятника передает звуки зверей и птиц, как точно и разнообразно ставит слова. Суслики у него *свистят*, туры *рыкают*. Вспугнутые лебеди *кричат*. Соловьиное пение – *щёкот*, дятлы *тектom* «путь кажут». Вороны *грают*, сороки *трещат*... Эти обозначения существуют и поныне. Подумайте: они удерживаются в языке уже свыше восьмисот лет!

Клекот орлиный на кости скликает зверей.  
Брешут лисицы на червлёные щиты.

<sup>1</sup> Здесь и далее цитируется по изданию: Слово о полку Игоре. Перевод с древнерусского, статьи, комментарии Алексея Смирнова. М., 2007.

В XII веке щиты русских воинов были легкие, деревянные, окованные железом. Щитам придавали овальную или миндалевидную форму. Их окрашивали черленью (отсюда червленые). Это яркая красно-розовая краска. Ее получали из насекомого червеца (*soccus polonicus*). Восхищенная красотой доспехов, Ипатьевская летопись сравнивает красно-розовые сомкнутые щиты древнерусских дружин с зарей, а блеск шлемов над ними с восходящим солнцем: «щите же их яко зоря бе, шолом же их яко солнцу восходящу...»

Рати сходятся, закипает бой, и поначалу берут верх русичи. Степь бежит, бросая стяги, древки, хоругви; *красных девок половецких*; все богатства своих кочевых телег...

Лаврентьевская летопись сообщает, что после этого торжества победители три дня веселились и предавались похвальбе, как они пойдут за Дон, дойдут до Лукоморья (Азовского) и «до конца изобьют поганых» (язычников).

Согласно же Ипатьевской летописи, язычники не дали христианам попировать и одного дня. Они окружили игореву дружину такую силою, как будто русское войско собрало против себя в кольцо «всю половецкую землю».

Тогда и началась настоящая битва. Она длилась без малого трое суток. Русичи сражались отчаянно, но – сила солону ломит, а силы были слишком неравные.

Автор «Слова» вспоминает черные времена междоусобных походов Олега «Гориславича», подорвавших русское единство.

Тот Олег – мечом крамолу ковавший,

Еще один пример образной многозначности и глубины, дающей нам право считать «Слово» мировым художественным памятником. Меч – эмблема княжеской власти и одновременно символ войны. Меч священен. На мечах клялись во времена язычества. Культ меча сохранился и в христианстве. Он – оружие князя и воевод.

Меч запрещено поднимать против смердов. Меч выковывают ударами молота наотмашь, а здесь Олег использует меч, как молот: он кует им крамолу – ковы, измены, смуты, мятежи. В его руках меч из священного символа защитника свободы превращается в орудие агрессии, братоубийства. Каждым взмахом меча, каждым ударом наотмашь Олег выковывает козни, крепит их. Святое служит святотатству. Так с иносказанием и лаконизмом, присущими гениальной поэзии, автор памятника вбирает в три слова смысловое богатство, связанное с образом меча. Предельная метафорическая сжатость. Заметим, что в этом, как и во всех подобных случаях, речь ни в коей мере не идет об «удачном» переводе. Речь идет об «удачном» оригинале, который повторен переводчиком дословно: «Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше».

Неведомый нам автор «Слова», будто птица, мечется над полем битвы, душою летит на все стороны света – зовет русских князей помочь Игорю.

Ты буй Рюрик и Давид!..

Рюрик Ростиславич – один из самых неистовых русских князей («буй Рюрик») имел на редкость закаленную в боях дружину. Всю жизнь провел в походах против половцев и в междоусобных бранях. В одной из них разгромил совместное войско Игоря и Кончака. Князь и хан спасались от Рюрика в одной ладье. Сражался за Русь, но, преследуя личные цели, сам был способен объединиться с половцами и подвергнуть разорению Киев (1203 г.). Семь раз владел киевским «золотым столом». Был насильно пострижен в монахи, но сбросил рясу и вновь овладел Киевом. Строил церкви, питал «любовь несъитну о зданьих». Покровительствовал летописцам. Умер на княжении в Чернигове (1215 г.).

Давид Ростиславич Смоленский, брат Рюрика. Много воевал в союзе с братом и самостоятельно. Перед смертью добровольно постригся в чернецы.

Галицкий Осмомысл Ярослав!  
 Высоко сидишь на столе своем златокованном,  
 Горы Угорские (Карпаты. – А. С.)  
 подпер полками железными.  
 Заступив путь королю,  
 Замыкаешь Дунаю ворота;  
 Мечешь бремена через облака  
 (камни из катапульта. – А. С.),  
 Суды рядишь до Дуная.  
 Грозы твои по землям текут;  
 Отворяешь врата Киева  
 (подчиняешь его себе. – А. С.);  
 Стреляешь с отчего злата стола  
 Дальних салтанов  
 (есть догадка, что галичане участвовали  
 в третьем крестовом походе против  
 турок султана Саладина. – А. С.).  
 Стреляй, господин, Кончака,  
 Поганого кощя  
 За землю Русскую, за раны Игоревы,  
 Буйного Святославича!

Ярослава Галицкого – тестя Игоря прозвали Осмомыслом, вероятно, от того, что он был умен за восьмерых (восемь смыслов).

Автор «Слова» продолжает обращаться за помощью к воинственным князьям.

А ты, буй Роман...

Еще один неукротимый русский князь Роман Мстиславич. Его именем половцы пугали детей. Летопись пишет о нем, что он устремлялся «на поганых как лев, сердит был как рысь, губил их как крокодил... храбр был как тур». Победенных литовцев он заставил корчевать лес и заниматься земледелием. В Западной Европе его

называли «королем Руси», а в отечестве «царем» и «самодержцем». Папа Иннокентий III предлагал ему королевскую корону, если он признает власть Рима. Роман наводил мистический ужас на своих врагов. Он погиб при походе на Польшу: был убит двумя польскими князьями в день святых Гервазия и Протасия. В благодарность за избавление от Романа поляки посвятили этим святым алтарь в изумительном по красоте Мариацком костёле в Кракове.

А далее автор «Слова» обращается к потомкам Ярослава Мудрого и Всеслава Полоцкого. Непримируемая вражда между этими родами прошла через XI и XII века, обескровив русские земли. А победу праздновали литовцы и половцы.

Ярославичи и все внуки Всеслава!  
 Склоните стяги свои,  
 Воткните в землю мечи переломанные.  
 Ибо лишились дедовой славы.  
 Ибо вы своими смутами  
 Навели поганых  
 На землю Русскую, на богатство Всеслава.  
 Из-за распри вашей  
 Пошло насилие от земли Половецкой!  
 На седьмом веке Трояна  
 (последние языческие времена. – А. С.)  
 Кинул Всеслав жребий  
 О девице себе любой.

В XI веке в Киеве, Новгороде, на Белоозере вспыхнули восстания смердов. Они сомкнулись с движением волхвов. Это была языческая реакция на христианизацию Руси. Однако восстания носили и социальный протест. Князь Всеслав Полоцкий, согласно летописи, «родился от волхвования» и был причастен чародейству. Он воспользовался благоприятной для себя ситуацией антицерковного

бунта, чтобы разграбить новгородские храмы, а затем решил не упустить и «социальный шанс»: захватить власть в Киеве (1068 г.). Именно Киев назван в «Слове» «девицей», любой Всеславу. Он

Оперся хитростью на коней.

После поражения сыновей киевского князя Изяслава от половцев Вече постановило создать новую конницу из городской и сельской бедноты, но Изяслав отказался дать для нее коней. Это послужило поводом к восстанию киевлян, возмущенных тем, что сам князь вести боевых действий не умеет, а народ вооружить боится. К тому времени Всеслав был уже в Киеве, но сидел под арестом на княжеском дворе. Хитрость его состояла в том, что он пообещал дать восставшим коней и за это получил от них незаконное княжение.

И скакнул ко граду Киеву  
И доторкнулся древком  
До злата стола киевского.  
Но отпрянул от него лютым зверем  
В полночь из Белгорода,  
Синей мглою охвачен;  
Утром же вонзил секиры –  
Распахнул врата Новгорода,  
Расшиб престол Ярослава,  
Волком метнулся с Дудуток до Немиги.

По предположению Н. М. Карамзина под Дудутками имеется в виду монастырь под Новгородом. Немига – река, на которой Всеслав был разгромлен в кровавой междоусобной битве и бежал (1067).

А на Немиге снопы головами стелют,  
Молотят цепами булатными,

На току жизнь кладут,  
 Отвевают душу от тела.  
 У Немиги кровавы берега  
 Не добром засеяны,  
 Засеяны костями сынов русских.

Всеслав князь над людьми суд правил,  
 Князьям грады рядил,  
 А сам в ночи волком рыскал:

Исследователи отмечают «неприкаянность» Всеслава, стремительность его передвижений. Он «колесил по всей Руси, с боем отстаивая свои права, отбиваясь от нападавших», захватывая города и веси. Владимир Мономах вспоминал в «Поучении», что однажды гнался за Всеславом со своими черниговцами «о двою коню», т.е. со свободными поводными конями, но догнать не смог.

А Всеслав

От Киева в Тьмуторокань дорыскал  
 до первых петухов,  
 Великому Хорсу  
 (славянскому богу солнца. – А. С.)  
 путь пересек.  
 Тому Всеславу в Полоцке  
 Прозвонили раннюю заутреню  
 У святой Софии в колокола,  
 А он в Киеве звон слышал.

В свете предыдущего это место толковали как еще один пример молниеносности Всеслава. Однако Д. С. Лихачев считает, что на сей раз речь о другом: Всеслав сидит в заключении в Киеве, а тем временем Полоцк молится об его спасении. В целом весь фрагмент по единству драматичности, образности, стремительности и лаконизма есть непревзойденный поэтический шедевр.

Хоть и вещая душа в дерзком теле,  
 Но часто от бед страдал.  
 Ему Боян-песнетворец  
 Когда еще попевку, разумный, сложил:  
 «Ни хитрецу, ни гораздому,  
 Ни птице проворной  
 Суда Божия не миновать».

Зов князьями не услышан. Гибнет дружина. Раненый Игорь попадает в плен. После долгого пленения он бежит. Киев встречает его как героя у «святой Богородице Пирогощей». Церковь Богородицы Пирогощей названа по иконе, привезенной в Киев из Константинополя вместе с иконой Владимирской Божьей Матери. Последняя, как известно, находится ныне в Москве в храме Николы в Толмачах, а «Пирогощая» не уцелела.

### 3

С детства меня тяготило и удивляло кажущееся несоответствие между героическим характером «Слова» и горечью происходящих в нем событий.

Почему литературным памятником стало описание *неудачного* похода? А кто такой Игорь? Удельный князек, бывший союзник половецкого хана Кончака по борьбе с Киевом, малым войском самовольно напавший на половцев, погубивший дружину, попавший в плен... За что же его считают героем?

Если бы не «Слово», об этом Игоре, наверно, давно уже никто бы и не помнил...

Переключка времен (конец XII – конец XX века) пронзительна. Переживавшиеся нами горькие чувства были схожи с теми, что испытывал наш соотечественник в XII веке, ибо причины их совпадали: распад, ослабление, амбиции, раздоры. Может быть, потому безотчетно, лишь с необъяснимым ощущением срочности и сделан этот новый (*n*-ный) перевод.

Было ритмизованное переложение Жуковского. Был рифмованный Заболоцкий. Был пунктуально выверенный Лихачев. И много кто еще. Но «на дворе у нас» третье тысячелетие. Времена изменились, и они не отдалили нас от «Слова», а приблизили к нему. Так легла спираль истории. Сила литературного памятника в том, что он требует новых и новых обращений к себе, потому что затрагивает вечные, повторяющиеся казусы бытия. Пребывая в небрежении и забвении, культурная нива зарастает столь же стремительно, как и полевая. Возделывать ее нужно постоянно. Приходит новое поколение, и оно требует своего прочтения памятника. Время изменяет акценты, уточняет детали. Вот побудительные мотивы этого перевода.

Начиная работу, надо было определить свой подход к памятнику, выбрать переводческую стратегию. Принципиально она может строиться на том, чтобы приблизить свою версию к пониманию, слуху и вкусу читателя XXI века или наоборот приблизить читателя к смыслу, звучанию, эстетике подлинника. Идеал перевода мне виделся в том, чтобы текст, ясный современному человеку, звучал между тем как древний. В музыке это достигается тем, что современные артисты, исполняя старинные произведения, обращаются к музыкальным инструментам, для которых сочинялась и на которых при жизни автора исполнялась его музыка. Такое исполнение называют аутентичным. По аналогии нашу стратегию работы со «Словом...» можно было бы назвать *аутентичным переводом*.

Древнерусская поэзия не знала регулярных размеров и рифм. Иногда в тексте могли возникнуть внутренние рифмы, но происходило это случайно, ни о каком «красогласии» речи не шло, ведь не было и никакого музыкально обусловленного «края» – длина строки определялась шириной страницы. Для придания переводу аутентичности мы сохранили свойственное оригиналу отсутствие регулярного ритма и рифм. На самом деле ритм есть, но он возникает и исчезает. Это – ритм мерцающий. Пульсации

его нелегко заметить, поскольку они преимущественно касаются не строк, а больших фрагментов текста. Они не заданы заранее, но определяются смыслом, темпом, пафосом происходящего. По наблюдению Лихачева, ритм памятника основан на равновесии синтаксических единиц – более или менее равномерном чередовании коротких и длинных периодов. Наряду с живыми интонациями, это производит впечатление не монотонности, «легкости... текста».

Далее. В своем переводе мы использовали архаичные лексические формы (*ранехонько, причитаючи*); те славянизмы, которые понятны нынешнему читателю (*тресветлое, лада*).

Вообще аутентичный перевод предполагает максимально возможное сохранение оригинала. Искусство перевода здесь состоит в том, чтобы создать текст, который наполнен ароматом старины, но вполне понятен нынешнему читателю. Очевидно, что сама возможность аутентичного перевода определяется близостью передающего и воспринимающего языков. В нашем случае древнерусского и русского. Древний текст как бы возрождается. Возвращаются его ритмический строй и лексика. А лексическое обновление там, где оно неизбежно, идет по пути замещения вышедших из употребления древних слов оставшимися в употреблении старыми словами или словами, нейтральными к нашему восприятию их во времени. Здесь не памятник приближается к читателю, а читатель приближается к памятнику. Значит, наша задача не в том, чтобы адаптировать оригинал, сделать его эстетически узнаваемым, а в том, чтобы актуализировать архаику подлинника, сохранить его поэтику, обратив внимание на первозданную красоту и мощь тех эпических форм, которые, может быть, нынешнему ценителю и малознакомы. Да, принцип ориентации на читателя облегчает ему восприятие памятника, зато принцип ориентации на оригинал позволяет услышать первородный звук, что в поэзии равносильно первородному смыслу.

После того, как перевод был сделан, показалось интересным в отдельной статье рассказать читателю об истории самого «Слова», тем более, что споры об его подлинности не утихали. Краткая история открытия и опубликования «Слова» такова.

Архимандрит Иоиль Быковский управлял Спасо-Ярославским монастырем. В конце XVIII века обитель упразднили. Иоиль сильно нуждался, а тут случился человек из Петербурга – некий оставшийся неизвестным комиссионер графа А. И. Мусина-Пушкина, археографа, обер-прокурора Святейшего Синода. Граф интересовался русскими древностями. Комиссионер купил у архимандрита монастырские рукописи для своего патрона. Среди них оказалось и «Слово». Так из Ярославля оно попало в Петербург, где произошло его «открытие».

Манускрипт представлял собой не авторскую рукопись, а ее копию предположительно XVI века. В 1795 г. Мусин-Пушкин, оценивший значение находки, повелел снять с ярославского оригинала (то есть копии XVI века) копию для Екатерины II («Екатерининский список»), а первым изданием «Слово» вышло в 1800 г. в Москве. При пожаре Москвы 1812 г. ярославский манускрипт сгорел. Таким образом, ни оригинальной авторской рукописи, ни ее копии XVI века не сохранилось. Остались два косвенных свидетельства: «Екатерининский список» и московское издание.

Ни даты создания, ни автора у ярославской копии не было. Тем не менее, люди, обнаружившие «Слово», не сомневались в том, что оно написано по горячим следам событий, то есть в конце XII века и представляет собой древнейший памятник русской литературы.

Между тем нашлись скептики, допустившие, что это вовсе не так. Перед нами не древний памятник, а всего лишь его позднейшая подделка. В качестве возможного мистификатора подозревали самого Мусина-Пушкина. Так первая тень подозрения на подлинность находки была брошена еще в пушкинскую эпоху.

Советская гуманитарная наука никогда в истинности памятника не сомневалась. Однако ее патриотическая ангажированность, хотя бы и в ущерб научной достоверности, была настолько очевидной, что это привело к новому всплеску недоверия. Возникла гипотеза о том, что «Слово» не что иное как сочинение его хранителя – ярославского архимандрита Иоиля Быковского, который стилизовал историческую тему из чисто писательского азарта, не задаваясь целью произвести на свет заведомую фальсификацию, а вот Мусин-Пушкин осознанно решил выдать «новодел» за древность.

Наконец, уже в начале XXI века появилась еще одна версия. Согласно ей «Слово», как заведомая подделка, принадлежит перу известного чешского лингвиста Йозефа Добровского (1753–1829).

Любопытно, что в лагере скептиков люди, чьи имена мало что говорят широкому читателю, зато в подлинности памятника не сомневались историки Татищев и Карамзин, литераторы Пушкин и Набоков, исследователи литературы Якобсон и Лихачев.

Хочется верить, что убедительную точку в затянувшемся споре поставила книга А. А. Зализняка «Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста». Языки славянской культуры, М., 2004. Исследователь исходит из того, что в пространстве большого текста сфальсифицировать все языковые тонкости настолько, чтобы это ускользнуло от взора опытного лингвиста, невозможно. Тем более, что речь идет не просто о лингвистическом упражнении, но о поэтическом шедевре, создать который в XVIII веке славянский мир был не в состоянии. Державин не мог, а кто еще? Ученый муж Добровский из Чехии? Или обер-прокурор Святейшего синода Мусин-Пушкин? Или архимандрит ярославского монастыря Иоиль?.. На такой подвиг был бы способен лишь человек, совмещивший в себе непревзойденность лингвиста с гением поэта, что стало бы настоящим творческим чудом. Между тем никаких

предпосылок к его явлению не наблюдается. Детальнейший разбор оригинального текста и аргументов скептиков с позиций лингвистики привел А. А. Зализняка к следующему выводу: с максимальной вероятностью «Слово» есть подлинный памятник литературы Древней Руси, а его автор нам неизвестен.

По мнению Набокова «Слово...» создано весной 1187 г. – через два года после описанных в нем событий («Слово о полку Игореве». Перевод и комментарии Владимира Набокова. Иллюстрации Натальи Гончаровой. Академический проект. Санкт-Петербург. 2004).

Как поэма-документ, основанная на действительных исторических событиях, населенная невымышленными героями, полная смыслов и ассоциаций за древностью лет нам не понятных, «Слово» нуждается в толковании. Наша цель состояла не в том, чтобы попытаться объяснить «всё», но в том, чтобы из «всего» выделить некоторый необходимый минимум: родственные отношения, древнерусские слова, «темные места» оригинала, – и кое-что «лишнее», но необыкновенно интересное, проливающее свет на «необходимое». Наш комментарий, следовательно, получился не таким полным, как его опора – объяснения Д. С. Лихачева («Слово о полку Игореве». Изд-во АН СССР, М. – Л., 1950), однако и не таким кратким, чтобы ограничиться лишь преодолением явных трудностей. Толкования относились не к оригиналу, а к переводу – к тем его местам, которые дословно или почти дословно воспроизводят оригинал.

#### 4

Если бы переводчик имел письменный Договор с издательством или хотя бы устный с редактором (как в случае «Дара Владимира Даля»), то на этом его работа была бы, в основном, завершена. Но мой перевод «Слова» был личной инициативой, не поддержанной никакими договорами или обещаниями. Кто его издаст, оставалось не ясным. Он лежал в столе, ожидая лучшей участи, и лежал

долго, несмотря на попытки довести его до сведения читающей публики.

К тому времени я познакомился с московским издательством «Языки славянской культуры», в котором математики занялись выпуском научной гуманитарной литературы и литературных памятников. Восхищенный масштабностью и качеством их деятельности, я опубликовал в «Новом мире» рецензии на некоторые их издания: трехтомные «Избранные труды» Б. А. Успенского, обширный двухтомник «Святость и святые в русской духовной культуре» В. Н. Топорова, на его же том «Из истории русской литературы», посвященный творчеству поэта и писателя XVIII века М. Н. Муравьева. Никаких возражений у издательства на опубликование моего перевода «Слова о полку Игореве» не было. Но благотворительностью оно не занималось. Требовался грант.

Пока новый перевод ждал своего часа, мой друг Валентин Никитин – один из организаторов патриарших Рождественских чтений предложил мне выступить на секции «Христианство и культура» с неопубликованной отдельно детской книжкой «Судьба Иисуса», журнальный вариант которой печатался в одиннадцати номерах «Мурзилки», сопровождаемый целой выставкой иллюстраций художника Михаила Федорова.

Секция собралась в ЦДРИ. Утреннее заседание уже началось, когда в зал вошел невысокого роста монах в черной рясе и присел на свободное место рядом со мной. После моего выступления мы познакомились, а в перерыве я представил ему Наташу, которая тоже была в зале. Отец Марк оказался иеромонахом Боровского Свято-Пафнутиева монастыря, то есть монахом-священником с правом проведения богослужений. Вначале Марк привлек мое внимание своей живостью, какой-то душевной веселостью, а ближайшее знакомство показало, что он являет собой редкий тип русского монаха не отрешенного от мира, не молчаливо и задумчиво углубленного в себя,

а радостно раскрытого миру и людям, необыкновенно деятельного, оставаясь при этом духовно сосредоточенным. Несмотря на средние летá, в нем чувствовалась уже какая-то умудренность, а не просто ум, недаром его духовным отцом был оптинский старец Илий (солнце) – прозорливец и утешитель, внушавший возвышающее человека совестливое самоумаление и столь приятную окружающим душевную легкость – качества, отличавшие и его духовного сына. О. Марк вел Воскресную школу в своем монастыре. Он пригласил меня приехать выступить перед детьми с рассказом о жизни Иисуса. Я приехал на Рождество и впервые получил возможность наблюдать изнутри монастырский быт, всегда сокрытый толстыми стенами от любопытных глаз.

Марк встретил меня у своей кельи, куда на высокий второй этаж восходила с улицы наружная деревянная лестница. Тесноватая прихожая служила еще и домашней столовой для чаепитий. За ней размещалась спальня-кабинет с темными иконами в золотых ризах, старинными книгами, ноутбуком на письменном столе. В келье было тепло и уютно. Хозяин быстро накрыл чай. К чаю прилагались грецкие орехи, арахис и сухарики с изюмом. От варенья и меда гость отказался. «Келейная» беседа длилась больше двух часов, и никто к нам не пожаловал. Никто, кроме огромного кота-красавца Черныша, жившего под этой сенью своей напряженной холостяцкой жизнью, невзирая на сакральный характер самой монастырской сени. Она официально допускала существование в обители котов и запрещала существование собак, превращая кошачью жизнь в сущий рай. Когда мы поднимались по лестнице, Черныш сидел на широком перильце и от удовольствия глухо урчал всей утробой. А внизу, заглядываясь на предмет собственных вожелений, страдала от неразделенной любви маленькая серая кошечка. Она умывалась лапкой так, как будто наводила последние росчерки макияжа, не теряя надежды на то, что ее разглаженная краса обратит,

наконец, на себя внимание самовлюбленного строптивца; что ее марафет будет, наконец, оценен по достоинству. Однако Черныш продолжал испытывать терпение (или нетерпение) этого разбитого сердца. Время шло. Уже смолкли воробышки в кустах напротив. Уже завозились, укладываясь на боковую, голуби, облепившие деревянный конек монастырской стены... В конце концов Черныш смилостивился и пригласил гостью в келью, где хозяин беседовал с каким-то иноземцем (для Черныша иноземцами были все, обитавшие не на земле монастыря, а за его пределами – на иных землях). Кошечка вошла не то, чтобы на задних лапках, но весьма почтительно и скромно. По стеночке. Осторожненько. Как бы затаив дыхание. Видимо, долгое ожидание благосклонности со стороны кавалера заставило ее подмерзнуть и проголодаться. Поэтому, заметив в углу кошачью миску с пахучей рыбной похлебкой, приготовленную для Черныша, она не смогла побороть искушения и без спроса принялась часто и звонко лакать. Какое-то время Черныш смотрел, недоумевая, на свою дымчатую нахлебницу, словно не веря, что невоспитанность может дойти до такой крайности. Он не стал говорить ей: «Лакай реже!» или: «Не чавкай!» Он без церемоний одним ударом отбросил ее в противоположный угол кельи и занял свое правомерное место у миски. Грубо. Негостеприимно. Не по-мужски, а по-мужицки. Но на законном основании. Такова реальность даже и одомашненной природы. На этом трапеза для кошечки завершилась, а с тем в этот вечер погибли и все ее романтические мечты.

Живой мир во дворе перед кельями располагался на трех ярусах. Землей владели коты. При отсутствии собак она была в их полном распоряжении. Кусты населяли верещавшие от счастья воришки-воробышки. А в небе царили голуби, дружно взлетающие и тучей носившиеся над обителью, то закрывая, то открывая солнце, с бесподобной синхронностью выполняя фигуры высшего птичьего пилотажа.

О. Марк вставал ни свет ни заря, тихо, чтобы не разбудить меня, молился в келье и шел на раннюю службу, разрешив мне приходить позже. После утренней службы и короткого отдыха начиналось долгое – по полному чину – дневное богослужение в храме Рождества или в утепленной зимней церкви. А уже после службы монахи, как солдаты, строем, только что с хоругвями взамен знамен, шли на трапезу. Кроме как с ними, поесть в округе было не с кем и негде. Меня вместе с насельниками кормили за столом для трудников (работников) и гостей. К приходу братии столы, поставленные буквой П, были полностью накрыты, и под древними сводами трапезной всё действо напоминало царский пир. Помолившись, по колокольчику игумена, восседавшего в одиночестве за П–«перекладиной», чернецы, сняв клобуки и оберегая бороды, приступали к яствам, следом подключались трудники и гости, а назначенный дежурный читал «страсти» (страхи) из житий; что-нибудь связанное с мучениями святых отцов – их допросами, пытками, казнями. Предполагалось, что «страсти» должны портить аппетит и отвлекать внимание вкушающих от убажания плоти чудесами кулинарии. Мне поначалу портили, а братия к ним уже притерпелась и воздавала должное искусству повара и рыбному меню Рождественского поста. Пёстрые разносолы радовали глаз. Красная рыба. Белая рыба. Рыба заливная. Суп грибной духовитый, с наваристой слизью боровиков. Рыба жареная. Рыба отварная. Брусника. Пирожки с грибами. Пирожки с маком. Сок морковный. Компот. Виноград. Мандарины... Темп трапезы регулировал колокольчик в руке молодого медноволосого игумена. После «страстей» это был еще один рычаг управления чревоугодием. Трапеза протекала в темпе *presto*. Игумен звонил в колокольчик двоянным звоном, как бы на два слога: «*Pres-to, pres-to!*» (*Быст-по, быст-по!*), словно подстегивая тех, кто решил, что обед подан нам не для утоления голода, а для пиршественной роскоши. Неспешное

вкушение яств превращалось в торопливое поглощение пищи, как будто мы опаздывали на вечернюю службу, хотя никуда мы не опаздывали и до службы было еще часа три. Кажется, только сели, а уже подъем, скорая молитва и на улицу. Нечего расслаживаться!..

Я рассказал о Марку о своем переводе «Слова о полку». Он пригласил меня выступить в монастыре, когда книжка выйдет. А когда она выйдет, никто не знал. Няня говорила мне маленькому: «Человек предполагать, а Бог располагать». Здесь же человек даже не предполагал, а Бог расположил. Сам по себе перевод – хорош он или плох – никого не интересовал. Для выхода его в свет требовалось что-то совсем другое, а вовсе не отношение к качеству труда переводчика.

В одном старомосковском доме за фигурным столом с висящем над ним желтым абажуром, похожим на опрокинутый парашют, зацепившийся длинными стропами за крюк под потолком, меня познакомили с потомком грузинских князей Владимиром Мачабели, жившем в Париже, а временно работавшим в Москве. Он говорил на трех языках, к коим имел отношение потомственно (улица Мачабели в Тбилиси), по месту постоянного жительства (Париж) и по фактическому проживанию сейчас (Москва). Князь был по-грузински обаятелен, по-французски красноречив и по-русски участлив. В конце вечера, услышав мой рассказ о переводе «Слова» с комментариями и сопроводительными статьями; о том, что всё готово к печати, и есть где печатать, но не на что, он проникся нелепостью момента: литературный памятник в его новейшей версии лежит без движения только потому, что на его издание не хватает месячной зарплаты парижского клерка.

— Я подумаю, как вам помочь, – сказал Владимир, и мне показалось, что сказал не столько из сословной солидарности с Игорем Черниговским (как «князь с князем»), а скорей из желания разрешить ситуацию, бросающую тень на благородство капиталистических отношений

в России (свои меценаты в дефиците или подходы к ним крайне затруднены). Сказал не так, как говорят в подобных случаях: «Я постараюсь, но ничего не обещаю», а вот так: «Не обещаю, но надеюсь, что получится». Акценты, акценты, господа! Именно они делают нашу жизнь либо безрадостной, либо исполненной надежд.

Вскоре «Российский гуманитарный научный фонд» РАН предоставил издательству «Языки славянской культуры» грант на выпуск перевода «Слова о полку Игореве» отдельной книжкой. Человек из Парижа, который видел меня впервые, содействовал в Москве изданию памятника древнерусской литературы с гравюрами Владимира Фаворского – классического иллюстратора «Слова». Французский подданный, только что приехавший в Россию, слегка раскошелил Академию, тогда как ее давний сотрудник не знал, с какого бока к ней подступить.

## 5

«Мировая премьера» нового перевода состоялась в марте 2007 года в Фитцвильям-колледже Кембриджского университета на конференции Британских славистов.

Мы со старшей дочерью Марией, представлявшей доклад о творчестве классика европейского модернизма Дэвида Лоуренса, приехали в Кембридж накануне. После плутания с вещами по городу (автобусы уже не ходили) нас ожидали чай и кофе в угловом номере студенческого кампуса с окнами в парк. Воздух свеж, как весной на подмосковной даче где-нибудь в «Заветах Ильича» или под Новым Иерусалимом. За окнами – теннисный корт и тюльпаны в грунте. Внутри всё с иголки: обивка стен, мебель. На душе – предупреждение не дать пару проникнуть наружу, в комнату. Слишком чуткий прибор противопожарной сигнализации может сработать на пар, как на дым, и вызвать пожарную команду с безотказными, как всё английское, брандспойтами. Маша (в Англии не впервые) почувствовала себя как дома, в обстановке

стильного и скромного комфорта и устроилась пить чай у раскрытого в парк окна.

Утром за английским завтраком в университетской столовой (бекон с яйцом, жареные сосиски, кофе с круассаном, масло, джем, компот) к нам подошел главный человек на этой конференции – академик Андрей Анатольевич Зализняк. Подошел с подносом тех же блюд, что и у нас, и не для того, чтобы познакомиться, а для того, чтобы сесть на свободное место и съесть, что положено. Но познакомились, конечно. Сказал, что знает о моей книжке и наметил быть на ее представлении, да не получится: англичане попросили вести другую секцию в то же самое время. Так что «премьера» состоялась без Зализняка в присутствии семи заинтересованных лиц. Это меня не обескуражило. Наука приучила к тому, что стадионы созданы для шоу, а для серьезных дел предусмотрены семинары на семь персон. (Моя «этимология» слова *семинары*: когда первые семинары собирались в древнеримских «шарашках» – то, верно, *семь* персон размещались *на нарах* (*нары* для *семи*), отсюда, и происходит слово *семинары*. Надзиратель кричал: «*Семь на нары!*» и начиналось обсуждение научной проблемы. Эту вольную этимологию по-своему подтверждает и Макс Фасмер: «Заимств. через польск. *seminarium* от лат. *seminarium* «место посадки»...» (См. М. Фасмер Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Том III. С. 599).

После красивой жизни в Кембридже мы вернулись в Лондон и сняли номер в отеле с интригующим названием «New Dawn» – «Новый рассвет». Первый этаж. Все удобства. Номер с душем... Более тесную конуру трудно было себе представить. По сравнению с ней прихожая в келье о. Марка – целый маркплац! Чтобы одному человеку, открыв дверь, войти в душ отеля «New Dawn», другому человеку требовалось протиснуться из комнаты в коридор: иначе они не могли разминуться. Соответственно принявший душ не мог из него выйти до тех пор, пока его

компаньон снова ни освободит ему дверь. На улице перед отелем наше воображение, воспитанное на английской добропорядочности, поразил крепко клюкнувший чернокожий гражданин в красной футболке. Судя по энергии вырывавшихся из него выражений, окружающая жизнь не внушала ему особых симпатий. А в телефонной будке по соседству зиял след от вырванного с мясом телефона-автомата. Маша хохотала, присев на корточки, когда выяснилось, что район, в котором мы очутились, называется *Порчер-гарден*, как будто от русского слова *порча*.

Зато панорама ночного Лондона с высоты взлетающего «Боинга» была изумительна: мерцающий золотой лом до горизонта...

Первое представление книги «Слово о полку Игореве» в родном Отечестве произошло на Воскресной школе Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. Весь антураж отвечал здесь лучшим образом колориту памятника. И древность окружавших стен; и то, что обитель – живая, с настоящей братией; и то, что собрался полный зал слушателей-прихожан, настроенных на восприятие «Слова», и то, что Вечер вел о. Марк в парадном облачении русского иеромонаха, торжественно взволнованный, а не вежливо равнодушный или скептически любезный, как председатель иноземного семинара. О. Марк обожал русскую древность, ее подлинный литературный реликт – «Слово о полку Игореве», и это отношение невольно осенило его оценку перевода – еще одного образа памятника, еще одну книгу во славу «Слова».

Праздник завершился ударом колокола, сзывавшего братию и прихожан на Божественную литургию в Рождественский собор.

«Князьям слава и дружине!

Аминь».

## Глава седьмая

### КОРАБЛИК

2007

*Ботаника на острие политической борьбы. – Сталин против Вавилова. – Первомай зовет! – Школьник в сумерках «политпросвета»: параллелограммы сил. – Всесоюзный шабаш 48 года. – Андрюшка. Красный мотоциклист. – Наташина тайна*

#### 1

**Н**аша хронология определяется не порядком развития событий, а порядком выхода книг, потому отраженные в них более поздние времена могут предшествовать более ранним. Это позволяет «пиру судёб» менять направление движения, течь вспять. Память, как кораблик, плывущий по воле волн, подгоняемый или тормозимый ветром, попутными или встречными течениями, пускаемый ими то назад, то вкось, то снова вперед. Она не чугунный военно-морской утюг, заранее знающий свой маневр, изучивший маршрут от и до, все его подводные камни и мели, дружеские порты и враждебные встречи в океане. Скорей она – парусный ботик, кусочек сосновой коры, танцующий в солнечных бликах. Суденышко под изогнутым парусом бересты, кренящееся с борта на борт, подверженное опасности в любой момент перевернуться, пойти на дно или выправиться и продолжить плавание от книги к книге, как от причала к причалу.

В моем младенчестве произошла катастрофа, которую я не мог еще ни оценить, ни даже воспринять, находясь тем не менее поблизости от ее эпицентра.

Часто говорят, что история ничему не учит. Те же самые подвиги добра, как и те же самые злодеяния, повторяются вновь и вновь. А почему? Может быть, потому, что новые поколения, несущие в себе пороки и достоинства предков, каждый раз входят в жизнь с чистого листа, как будто до них никого и ничего не было. Они открывают мир впервые? Да, для себя впервые. Но до них мир уже открывался тысячи раз. И ровно столько же благородство сталкивалось с подлостью, честь с раболепием, вдохновение с его безжизненной имитацией. И все это воспроизводилось и воспроизводится из рода в род, облагораживаясь очень медленно и очень выборочно, можно сказать за «эволюционные времена»: столетия. В отличие от революционных перемен, сдвиги эволюции происходят незаметно, потому что рассчитаны не на жизнь человека во времени, а на жизнь народа в истории.

Мама была аспиранткой академика Жуковского – знаменитого ботаника и генетика, профессора Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, коллеги, единомышленника и адресата одного из крупнейших ученых XX века Николая Вавилова. В первые послевоенные годы Жуковский вел трех аспирантов. Кроме мамы, его учениками были Раиса Бутенко и Жорес Медведев. Они дружили и бывали у нас в доме Перцова в Курсовом переулке. Но я помню их уже школьником, позже интересующего нас события.

В августе 1948 года состоялась сессия Академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ), посвященная «дискуссии» между сторонниками и противниками генетики. Однако дискуссия как свободное и основанное на взаимном уважении обсуждение спорных вопросов вылилась в политическое судилище одних над другими; в судилище с подлейшей подоплекой.

Краткая предыстория его такова.

Помимо всеобщей неграмотности, бедности и прочих социальных зол, силою захваченных большевиками у своих классовых оппонентов, новая власть «захватила» еще и ряд сформировавшихся до революции научных школ и всемирно известных ученых из остававшихся в России, начиная с академиков Павлова и Вернадского. В том числе ботаников, генетиков, селекционеров. В 20-е годы фундаментальная отечественная наука заботила вождей пролетариата в последнюю очередь и могла развиваться по инерции, пускай без помощи, но и без вмешательства в свои профессиональные дела. «Пролетариат» решал всемирно-историческую задачу слома старого мира и построения на его руинах новой социалистической жизни, ему было не до генетики и даже не до селекции. Однако уже в 30-е годы первоочередными стали задачи военной безопасности и борьбы с голодом. Потому, кроме вооружения, вождей заинтересовала урожайность сельскохозяйственных культур. Страну надо было кормить, и эту заботу взяло на себя государство, считая, что, если оно командует, то оно и отвечает (хотя на поверку командовали одни, а отвечали другие). Селекция обещала высокие и устойчивые урожаи. А что обещала генетика? Раскрытие тайн природы? Установление скрытых от глаз особенностей ее строения? Познание секретов наследственности? Перспективы практических применений в неопределенном будущем? Но это не актуально, когда есть надо сейчас. Помогать пахоте и севу. Растить и ссыпать в закрома обильные урожаи.

Между тем Вавилов далеко не был кабинетным ученым. Он обосновал и выявил мировые центры происхождения культурных растений. Для этого за два десятилетия он объездил в экспедициях весь земной шар и объездил не как турист. Вавилов собрал богатейшую коллекцию семян культурных растений – семенной фонд планеты и собрал в дикой природе, в труднодоступных местностях: в горах,

на болотах, в пустынях... Это был подвиг самоотверженности и профессионализма. Ученый разместил свой фонд не в Лондоне, не в Калифорнии, а в Ленинграде, во Всесоюзном институте растениеводства (ВИР).

Заслуги Вавилова перед мировым научным сообществом, – а, сказать без преувеличения, перед человечеством, – были оценены сподвижниками в СССР и коллегами за рубежом. Международный конгресс генетиков под председательством академика Вавилова должен был собраться в Москве. Но что значат общепризнанные заслуги, если Политбюро придерживается иного мнения?

Вавилов был знаком со Сталиным лично. Все тридцатые годы за ученым осуществляли негласный надзор как штатные агенты НКВД, так и завербованные осведомители. Результатом слежки становились доносы, приобщавшиеся к «Делу», которое ждало своего часа. Вавилов находился в секретной чекистской «разработке».

В те же годы советская биология раскололась на два лагеря. Один образовался вокруг генетика Вавилова, другой – вокруг селекционера Трофима Лысенко. Трофим Денисович не только был знаком со Сталиным лично, но приправлял свои зерновые тезисы такой социальной демагогией, которую вождь мирового пролетариата приветствовал стоя, долго не смолкавшими аплодисментами. Лысенко обещал всё и сразу. Морозоустойчивые сорта, высокую урожайность, ее стабильность во времени. При этом он не забывал клеймить западную науку, ее советских «подголосков» и бить себя в свою патриотическую грудь. А если, выдав первый стартовый урожай, его сортовые поля в последующие годы зарастали бурьяном, дружным мусором сорняков, то это испытателя природы ничуть не смущало, поскольку внимание вождя было уже переключено и приковано к новым спекуляциям «народного академика». Под крылом Корифея наук в предвоенные годы Лысенко превратился в маленького сельскохозяйственного фюрера, подмявшего под себя всю советскую биологию.

Логика Сталина была проста. Наука – дело темное, а мне нужен результат сейчас. Генетика его не дает, а революционная селекция даст. Я вкладываю народные деньги не в теории аполитичных «попутчиков», не в музейные ботанические «коллекции», а в реальные эксперименты твердых борцов с буржуазной лженаукой. Западная генетика, основанная на каком-то горохе какого-то австрийского монаха, на его заглохших опытах, в которые он сам не верил, не вызывает и у меня ни малейшего доверия. Она трудна, скучна, неинтересна, а главное – бесплодна. Какая от нее польза? А кто такой академик Вавилов? Не слишком ли много он себе позволяет? Страна напрягает все силы. Народ, преодолевая сопротивление врагов, саботаж и диверсии, модернизирует промышленность, переустраивает деревенскую жизнь, а Вавилов странствует. «Путешественник...» Другое дело – товарищ Лысенко. Вот кто наш плоть от плоти. Вот кому я доверяю всецело. Работает. Ставит опыты. И не с плодовыми мушками, – кой черт в них толку? – а с ценными сортами пшеницы, чтобы сделать их еще ценней, помочь партии накормить страну. Он яровизирует, скрещивает. День и ночь в поле. И с четких марксистских позиций может объяснить плоды своего труда. А с этими «путешественниками» далеко не уедешь...

## 2

Известно, что последняя встреча Вавилова и Сталина состоялась в Кремле в ночь на 21 ноября 1939 года.

«Вместо приветствия Сталин сказал: «Ну что, гражданин Вавилов (обращение следователя к обвиняемому. – А. С.), так и будете заниматься цветочками, лепесточками, василёчками и другими ботаническими финтифлюшками? А кто будет заниматься повышением урожайности сельскохозяйственных культур?» Вначале Вавилов опешил, но потом, собравшись с духом, начал рассказывать о сущности проводимых в институте (ВИР. – А. С.) исследований и об их значении для сельского хозяйства. Поскольку

Сталин не пригласил его сесть, то Вавилов стоя прочитал устную лекцию о вировских исследованиях. Во время лекции Сталин продолжал ходить с трубкой в руке, и видно было, что ему всё это совершенно не интересно. В конце Сталин спросил: «У вас всё, гражданин Вавилов? Идите. Вы свободны»<sup>1</sup>

Но «свободным» Вавилов оставался не долго. Меньше года.

В июне 1939-го свой след в истории науки оставил ближайший соратник Лысенко Исаак Презент – консультант по философским вопросам, лектор, идеолог «мичуринского направления» в биологии, спекулировавший на уважаемом имени селекционера Мичурина. По отзывам знавших Презента людей, блестящий оратор-демагог – он оказался подарком для Лысенко и кошмаром для всего, к чему прикасался. Любую профессиональную дискуссию он немедленно переводил на рельсы обострившейся классовой борьбы, превращал в тошнотворное политиканство. Он утверждал публично, что никаких научных школ в СССР не существует. Кроме двух. Партийной (Лысенко) и антипартийной (Вавилов). Именно Презент и направил председателю Совнаркома СССР В. М. Молотову докладную записку, – фактический донос, – предупредительно извещая:

«Хору капиталистических шавок от генетики (оцените стилистику времени в устах его верного опричника. – А. С.) в последнее время начали подпевать и наши отечественные морганисты (Томас Морган – американский биолог, один из создателей генетики, лауреат Нобелевской премии. – А. С.). Вавилов в ряде публичных выступлений заявляет, что «мы пойдём на костёр», изображая дело так, будто бы в нашей стране возрождены времена Галилея. Поведение Вавилова и его группы приобретает

<sup>1</sup> Лебедев Д. В., Колчинский Э. И. Последняя встреча Н. И. Вавилова с И. В. Сталиным (Интервью с Е. С. Якушевским, 1989) // [www.ihst.ru](http://www.ihst.ru) / Репрессированная наука, вып. 2. – СПб.: Наука, 1994. – С. 219–221.

в последнее время совершенно не терпимый характер. Вавилов и вавиловцы окончательно распоясались, и нельзя не сделать вывод, что они постараются использовать международный генетический конгресс для укрепления своих позиций и положения... не исключена возможность своеобразной политической демонстрации «в защиту науки» против её «притеснения» в Советской стране. Конгресс может стать средством борьбы против поворота нашей советской науки к практике, к нуждам социалистического производства, средством борьбы против передовой науки» (представляемой Лысенко и Презентом. – А. С.)<sup>1</sup>.

На докладной стоят подпись и виза президента ВАСХНИЛ, академика Лысенко<sup>2</sup>. Считается, что эта докладная записка и послужила поводом для ареста Вавилова. Прочитав ее, Берия попросил Молотова дать санкцию на арест<sup>3</sup>.

Один негодяй написал донос, другой его заверил, третий проявил бдительность, четвертый санкционировал, а пятый сунул трубку в зубы и умыл руки. Молодец Презент – не проспал врага. Молодец Лысенко – поддержал инициативу. Лаврентий на своем месте: сделал вывод. Вячеслав подписал арест без бюрократических проволочек. «Цветочки-василёчки...» А Верховный тут вообще не при чем. Всё сами сделали. Система – отлажена.

Летом 1940 года академик Вавилов был арестован и после пыток погибнет в Саратовской тюрьме.

Конгресс генетиков перенесли из Москвы в Эдинбург, однако он прошел без председательствующего. Раз его кресло не мог занять Вавилов, то кресло пустовало. Так западные коллеги ответили на бесчинство верховной власти. Слухи о гибели ученого стали просачиваться только после окончания войны.

<sup>1</sup> И. И. Презент, Докладная записка председателю Совета народных комиссаров Вячеславу Молотову о международном генетическом конгрессе, Государственный архив РФ.

<sup>2</sup> Шайкин В. Г. Николай Вавилов. – М., 2006 (ЖЗЛ).

<sup>3</sup> Там же.

А «партийная школа» Лысенко торжествовала. Часть сторонников Вавилова была уничтожена или подверглась репрессиям. «Идеи» Лысенко нанесли стране ощутимый экономический урон, однако преданность делу партии и лично Верховному главнокомандующему, вкупе с неустанной борьбой за урожайность сельскохозяйственных культур щедро отблагодарили. «Народный академик» был награжден (или будет донагражден) звездой Героя, восемью орденами Ленина, тремя Сталинскими премиями I степени. И все-таки еще оставались отдельные «недобитки» с академическими званиями и профессорскими регалиями. Вот им и был дан последний, решительный бой в августе 1948 года.

## 3

Я – дошкольник.

У меня каждый день – праздник.

А у взрослых?

Будней много, а праздников кот наплакал.

Мама с утра уезжает в свою Тимирязевку, а возвращается только вечером.

Папа с утра уходит в Военно-юридическую академию. Бывает, что приходит днем. Поест, поспит на диванчике под маминым халатом, накрывшись с головой и высунув пятки, или, натянув халатик на пятки, но тогда обнажив голову. То высунув, то обнажив. И опять на службу.

Я целый день с няней. Хорошо, что мы дружим, хоть и говорим не совсем на одном языке. Я – на русском городском, она – на русском деревенском.

У взрослых даже воскресенье называется не праздник, а выходной. Не понимаю. Выходной – куда? На работу они и так выходят каждый день. Если судить по выходам на работу, то, кроме воскресенья, у них каждый день – выходной. Это похоже на соседку Марию Степановну. Ее муж – военный. Сама не работает. Но бывает, пока муж в Генштабе, она напудрится, подкрасится перед

кругленьким ручным зеркальцем и говорит няне: «Филипповна, я в город». В какой еще город, Марья Степановна? Вы и так живете в самом центре...

Сколько же в году настоящих праздников? А всего три: 7 ноября, Новый год и 1 мая. Особенно 1 мая!

Уже утром наш Курсовой переулочек, всегда до обидного пустой, заполняют грузовики. Они привезли демонстрантов откуда-то издалека. Грузовики встают прямо у нас под окнами: маневрируют, сигналият, потрескивают, покашливают, фырчат. Воздух насыщается запахом бензина, едкими выхлопными газами. Для меня это – благовония. Техника! Только на праздники и понюхать. А так – чем дышать? Один чистый воздух. Правда, когда подует ветер с того берега Москвы-реки, от кондитерской фабрики «Красный Октябрь», то потянет ароматом какао... Но это как ветер захочет.

1-го мая после завтрака начинается парад по радио.

В тишине перезванивают куранты на Спасской башне.

Министр обороны держит суровую речь.

Трещат барабаны. Идут суворовцы-барабанщики.

Они начинают марш парадных расчетов.

Идут военные академии, в том числе папина.

Проходит конница. Я знаю: у нее свой запах – запах лошадиного пота.

Радио его не передает. Радио передает лишь дружное щелканье подков по булыжникам, как будто щепу дерут, только звонче.

Идет артиллерия – бог войны. Пушки, зенитки, «Катюши», минометы, гаубицы...

Обдавая вонючим смрадом (радио передать не в состоянии), грохочут, скрипят гусеницами, поворачиваются нервными рывками танки.

В мгновение ока низко над крышами проносятся эскадрильи так, что стекла дрожат. Истребителей уже след простыл, а замазка сыплется.

Я выбегаю на набережную. По ней мимо нас войска возвращаются с парада.

Вот это – праздник!

Папа может участвовать в параде, но не хочет; я стремлюсь, а меня не зовут.

Мама может участвовать в демонстрации, но не хочет; я стремлюсь, да пойти не с кем.

С трех лет каждый год прошу:

– Мама, пошли на демонстрацию!

Мамочка, ну, пойдём на демонстрацию!

– Ты еще маленький, а это удовольствие на целый день.

Но если *удовольствие*, то что же тут такого, что на целый день?

Хорошо!

Наконец, в шесть лет уговорил.

Если идти по набережной, то до Красной площади рукой подать. Но тогда мы окажемся против течения. Все оттуда, а мы туда. Не пустят. Надо обходить Красную площадь с обратной стороны, и тоже не везде пускают.

Точней, почти нигде. Обходить приходится через пол-Москвы. Где-то очень далеко от дома находим колонну Тимирязевской академии и присоединяемся к ней.

Кругом знамена, транспаранты, бумажные цветы.

Рвутся в небо разноцветные воздушные шарик – они легче воздуха и стремятся улететь, жужжат трещотки, выпрастываются наружу свернутые трубочкой «тёщины языки».

На остановках: газировка, эскимо, красные сахарные петушки на палочке – обливные леденцы.

Толчея, суматоха. Народа – туча.

Пройдем, остановимся. Пройдем, остановимся. А то и попятимся.

Где поют под аккордеон, где танцуют под гармошку.

Море флагов. Повсюду – красное, красное, красное.

Над колоннами, на домах. Впереди, сзади, вокруг.

К вечеру выходим на улицу Горького. Силы на исходе, но теперь близко, а впереди – самое интересное.

Последняя остановка у Центрального телеграфа.

Мама прячет меня от солнца в тени знамен. (Сейчас понимаю: ради одной этой фразы стоило идти на демонстрацию: «Мама прячет меня от солнца в тени знамен»).

Да, удовольствие, хотя и нелегкое. Если бы не официальность повода, мама наверняка добавила бы: *сомнительное*.

На Красную площадь вступаем в шесть вечера в дальней колонне ближе к ГУМу.

До этого: то брели, то ползли, то вообще стояли, а тут: быстрее-быстрее-быстрее! Как это понять? Как самое интересное, так быстрее! Именно тут особенно хочется постоять, полюбоваться. Но кругом столько взрослых... Они мне всё загораживают, всех вождей. Я ничего не вижу.

— Мама, мне не видно!

И мама сажает меня на плечи. Теперь другое дело.

Там, на Мавзолее... Все как один вокруг генералиссимуса. И товарищ Молотов, и товарищ Берия... Они в шляпах. Даже, кажется, Мао-дзе-дун рукой машет... Но за Мао-дзе-дуна не ручаюсь – уж больно они все мелкие издали. Тем более, что видны только по грудь: как бюсты. Вблизи, наверно, большие, а чем дальше, тем мельче.

Всё!

Спустились к реке, добрались до дома. Добрались, как мама сказала, «без задних ног».

Был. Видел. Здоровско!

Папа: «На будущий год пойдешь?»

Я: «Подумаю.»

Няня: «Правильно, милоч. Етто ишшо подумать надо...»

#### 4

Мой «политпросвет» формировали несколько разнонаправленных идеологических векторов, действовавших то поочередно, то вкупе.

Магистральное направление мыслям задавало Всесоюзное радио, которое я обожал, мог слушать часами напролет и до поры верил каждому его слову. «По радио

сказали» – как истина в последней инстанции. Возражения исключены. Жить легко и просто. Радио снимало все сомнения. «По радио сказали» – и все ясно. Вот каким предельным уровнем доверия пожертвовала наша пропаганда во имя достижения своих сиюминутных выгод, временных идеологических барышей!

Маргинальное направление мыслям задавала няня скупыми рассказами о колхозной жизни вообще и по сравнению с дореволюционной крестьянской жизнью в особенности. Из ее рассказов невольно следовало, что в замкнутой стране одни могут богатеть только разоряя других. Помещики богатели за счет крестьян, капиталисты – за счет рабочих, а нынешнее начальство – за счет рабочих и крестьян. Не то, чтобы Филипповна прямо противоречила словам диктора о счастливой судьбе трудового народа, нет, но она чертила свою независимую линию, свой вектор под углом к «магистрали», создавая «параллелограмм сил», результирующей которого становилось мнение мамы.

К радийным версиям происходящего мама относилась с долей здорового скепсиса. По радио она с удовольствием слушала оперы, концерты или «Театр у микрофона», а в «Последних известиях» ее безусловно интересовала сводка погоды. Тогда погода подавалась со всем географическим размахом, имперским шиком. Владивосток и Калининград, Архангельск и Ашхабад, Магадан и Тбилиси, Хатанга и Улан-Удэ; Таллин, Минск, Киев, Ленинград... Пока диктор добирался до Москвы у него начинало першить в горле. Но и нянино маргинальное направление мама, учитывая, подвергала корректировке. Ее вектор проходил посередине, как биссектриса острого угла.

Спасибо, папа, подобно английской королеве, оставался выше текущих треволнений и не усложнял для меня и без того усложнившуюся задачу ориентирования в идеологическом пространстве.

Отдельная песня – школа. В целом она старалась аккуратно обводить магистраль цветными карандашами: все

ее изломы, изгибы и развороты. От старания школа даже высовывала кончик язычка, даже пыталась предугадать ход магистрали там, куда линия партии еще не дотянула. Это не всегда удавалось. На пустом месте рука школы начинала дрожать, пошаливать, стрелка вектора кривилась влево-вправо, влево-вправо, как бы принохиваясь и ощупывая воздух времени, пока ни замирала в ожидании дальнейших руководящих указаний. В ту пору на уроках биологии пропагандировался тезис о дружбе и взаимопомощи в живой природе, о воспитании и перевоспитании растений, согласно великому и непобедимому учению академика Лысенко; перевоспитанию, аналогичному работе с оступившимися гражданами.

Но ведь были еще и влияния извне! Например, классе в седьмом я познакомился ближе с давним маминым коллегой по Тимирязевской академии Жоресом Медведевым, который зашел к нам домой как-то днем, повернул одной рукой тяжелый дубовый стул, сел спиной к столу, потряхнул мятым (как у Жванецкого) портфелем, с ловкостью фокусника вытащил оттуда толстый том «самиздата» и стал обсуждать с мамой его содержание. Это была неизданная на ту пору монография Жореса «Синтез белка и проблемы онтогенеза». О белках я что-то слышал, но онтогенез – биологию развития организма от рождения до смерти – мы «не проходили». Делаю уроки. В одной комнате трудно не прислушаться, хоть и говорят вполголоса и не с тобой. Среди темного леса терминов и специальных представлений время от времени мелькают фамилии: Жуковский... Лысенко... Вавилов... Презент... Снова Жуковский... В дополнении к «Онтогенезу» из портфеля извлекается еще один самодельно склеенный и переплетенный том: «Биологическая наука и культ личности». Спрашиваю, можно ли почитать. Жорес смеется каким-то отрывистым, икающим смехом. Но смеется не потому, что моя просьба ему смешна, а потому, что ему не до смеха...

— Можно. Только в школу не носи.

Так возникает новый «параллелограмм сил». Его составляют вектор школьной биологии и вектор Жореса. А результирующую вечером проводит-таки папа: «Живи своим умом», то есть читай, но критически.

Постепенно, точнее с временами, соразмерными человеческой жизни, вырисовывается и то событие, упоминанием о котором началась глава. Не будем стараться охватить всех его героев и антигероев. Их было много, а их позиции зафиксировала Стенограмма сессии ВАС-ХНИЛ 1948 года.

Объектом идеологической атаки стала целая группа виднейших ученых. Но мы остановимся лишь на персонажах уже нам знакомых и будем иметь в виду, что по тому времени и попутные «разоблачения» грозили строгими административными, а то и уголовными преследованиями.

## 5

Сессия началась обширным докладом Президента ВАС-ХНИЛ академика Лысенко.

«**Лысенко.** ...Ныне, в эпоху борьбы двух миров, особенно резко определились два противоположные, противостоящие друг другу направления, пронизывающие основы почти всех биологических дисциплин.

...немогущая метафизическая моргановская «наука» о природе живых тел ни в какое сравнение не может итти (в стенограмме так! – А. С.) с нашей действенной мичуринской агробиологической наукой».

Особое внимание Президент уделяет научной молодежи, то есть Раисе, Жоресу, маме.

«Молодые ученые, разбирающиеся в философских вопросах, в последние годы под влиянием мичуринской критики морганизма понимают, что воззрения морганизма совершенно чужды мировоззрению советского человека. В этом свете нехорошо выглядит позиция академика П. М. Жуковского, советующего молодым биологам не

обращать внимания на критику морганизма мичуринцами и продолжать развивать морганизм.»

В прениях по докладу Президента слово берет академик Жуковский.

«**Жуковский.** ...Было бы печально, если бы вся группа генетиков, которую зачислили в менделисты-морганисты (Георг Мендель – аббат, австрийский ботаник, открывший законы наследования, которые легли в основу генетики. – А. С.), стала бы тут на трибуне отрекаться от хромосомной теории наследственности. Я этого делать не собираюсь».

А именно этого и требовала от генетиков «партийная школа», ради отречения и покаяния и устроила она эту показательную сессию.

Речь заходит о лысенковской теории воспитания и перевоспитания растительного царства. Жуковский позволяет себе шутить над всеильным начальством.

«Пошлите, академик Лысенко, в тропическую зону земного шара кого-либо из сотрудников, и пусть он там воспитает бананы таким образом, чтобы они давали семена. Все вы бананы любите, они ценны тем, что они бессемянны.

...Я обращаюсь к Трофиму Денисовичу с личной просьбой. Трофим Денисович, поручите вашему коллективу издать основательное, фундаментальное руководство, как надо воспитывать растения, как надо переделывать их. Научите нас, мы также хотим учиться, и если действительно эта методика оправдается на деле, мы ее примем».

Кто хотя бы краешком жизни, ранним детством задел и почувствовал под бурными здравицами, маршами и бодрыми лозунгами цепящую атмосферу первых послевоенных лет, атмосферу обманутых гражданских надежд, тот оценит смелость и свободу в обращении к оппонентам, которую выказывали противники Президента – колхозного колдуна, за чьей спиной маячила тень Корифея наук. Его политика исправительно-трудового перевоспитания всех,

кто не проникся духом социалистического строительства, беззаветного служения партии и народу, была перенесена на яровые и озимые. И с тем же успехом.

Еще одна важная для науки и образования тема – существование научных школ.

**«Жуковский.** Тов. Дмитриев, начальник управления планирования сельского хозяйства Госплана, говорил здесь о том, что школ не должно быть.

**Лысенко.** Правильно.

**Жуковский.** Не знаю, присутствует ли в зале академик Митин (Марк Митин – еще один крупный «философ»-обскурантист, верная сталинская личарда по кличке Мрак.– А. С.), он, по-видимому, не проявил должной бдительности. Во вчерашнем номере «Литературной газеты» помещена статья академика Уразова под названием «Бережь школы...» (Смех.) Я думаю, что надо беречь научные школы, в Советском Союзе их много, и нельзя делать одну научную школу.

...дело идет к тому, что тухнут вулканы, и скоро мы будем видеть ряд потухших вулканов... если не будет дана возможность свободной дискуссии, а дискуссию организовать надо... и не здесь... а то дело доходит до того, что университет объявляют гнездом черной реакции.

**Лысенко.** В биологической науке!»

Наконец, под самый занавес после нескольких десятков погромных выступлений слово взял козырной туз-интерпретатор советской социалистической биологии Исаак Презент. Он добивал генетику и возносил Лысенко. Он ликовал. Острил. Разоблачал. Издевался, купаясь в напыщенной риторике.

**«Презент.** Как можете вы, ботаник Жуковский, не знать, что... А если эти работы знаете, то почему вы их скрываете и не делаете из них соответствующих выводов?»

Презент указывал на отсутствие у отечественных генетиков «собственных достижений, за исключением единичных, случайно полученных». Между тем, открытия как

раз и делаются случайно; открытие = это шаг в неизвестное, а неизвестное нельзя подготовить заранее. Заранее можно подготовить донос.

Наконец, увлеченный оратор призвал покончить «с тлетворным влиянием морганистов на работников других специальностей, в частности на философов... Философы обязаны иметь свою, и притом правильную, точку зрения на вопрос о том, кто же решил проблему управления наследственной изменчивостью: Морган... или же... Лысенко» (подсказываю: Морган – неправильно, Лысенко – правильно. – А. С.).

Шабаш завершился здравицей Корифею наук.

После того, как повестка была исчерпана Жуковский выступил с покаяльным «Заявлением», в котором свел принципиальные разногласия к личной обиде и призвал примириться.

Жорес вспоминал, что на кафедре в «Тимирязевке», как только они остались наедине, Петр Михайлович сказал: «Я заключил с Лысенко «Брестский мир»... Поганый мир... Я сделал это ради своих учеников»<sup>1</sup>.

Вавилов, как Джордано Бруно, «пошел на костер», жизнь заплатил за свое бесстрашие и неподкупность. Вечная слава. Но при этом погибли и его ученики, была разгромлена научная школа.

Жуковский, как Галилей, покаялся перед судом новой инквизиции, по существу не изменив своего мнения. И при этом он сохранил учеников, не дал разрушить научную школу, продолжившую жизнь в науке. Раиса Бутенко стала ведущим в стране специалистом в области физиологии растений («культура ткани»). Жорес Медведев активно работал в радиобиологии; с риском для личной свободы и благополучия выступал за очищение науки от политического шаманства. Мама получила признание как специалист по морфологии орхидных, заведовала уникальной

<sup>1</sup> Жорес Медведев. Опасная профессия // Историко-биологические исследования. – 2011 – Т. 3, № 2.

Фондовой оранжереей Главного Ботанического сада Академии наук. Я звал ее главной орхидеей Советского Союза, для меня она таковой и осталась.

А спустя целую жизнь, кораблик памяти нечаянно вынырнул из вольно бегущих волн, чтобы напомнить о том далеком Первомае 1952 года.

Заревой Петух, птенец рукотворных раев –  
Самый сладкий леденец красных Первомаев!  
Нес тебя я, как флажок, в гуще демонстрантов,  
И скользили из-под ног тени транспарантов.

Ты, не пряча круглых глаз, видел изумленно  
Всей Москвы кумач-окрас. Смех, цветы, знамена.  
Милицейских лошадей гулкие подковки.  
Остановки. Тьма людей. А на «Маяковке»

Как ударил баянист по сипатым кнопкам!  
Пробежал их сверху вниз и прижал всем скопом.  
На плече тряхнув бушлат, – бескозырку в слякоть! –  
Баба «Барыней» пошла орденами звякать.

Веселиться дан зарок. Выбились кудряшки,  
Съехал на бок козырек летчицкой фуражки.  
– Сыпь, Семённа, топочи, не жалея колодку,  
Малахольных поучи рассыпать чечетку!

У меня шесток в руке. Врать не станет птица:  
Ликованью на шестке не с чем и сравниться.  
Сласть послевоенных лет – Петушок мой липкий!  
В треск потертых кинолент влился дождик хлипкий.

Пленка рваная, куда? Захрустела: «Склейте!..»  
Как чернильная звезда прыгает на ленте!  
Перфорация скрипит. Мы ее поборем.  
Демонстрация кипит разлитым морем.

И во сне ли, наяву – в сердце панорамы  
 Красной площадью плыву на плечах у мамы.  
 В пятьдесят втором году над цветочной пеной  
 Подмигнул мне на беду лучший Друг вселенной.

Пролетели огоньки радости каленой  
 С Мавзолея до руки над Седьмой колонной.  
 Загорелся и упал Петушок от счастья.  
 Леденцовая крупа хрупнула на части.

Обернулся я, как мог, неостановимо:  
 «Мама, мама, Петушок...» Люди – мимо, мимо.  
 «Мама, мама, Петушок!..» Руки, крики, топот.  
 Вот мой праздничный ожог – вот мой первый опыт.

Нас несет нахлёт волны, флагами алея,  
 Вдоль кладбищенской стены, мимо Мавзолея.  
 Как же мне тебя постичь, льющаяся лава?  
 Как перекричать твой клич:  
 «Слава! Слава! Слава!» –  
 Если сам я – голос твой, той химеры рая,  
 Что свисала над рекой, по мостам сползая?

## 6

До школы и в первых классах был у меня приятель Андрюшка. Мы жили в одной коммунальной квартире на третьем этаже дома Перцова. Андрей обожал всякую рухлядь, повсюду собирал ее и тащил в дом. А собирать было где и что. Сквер напротив по недавней памяти взрослые называли развалкой. Он вырос на месте соседнего дома, разрушенного немецкой авиабомбой, метившей в Кремль. С краю сквера лепились жилые деревянные бараки, переполненные многодетными семьями, а, значит, и предметами их обихода: барахлом. А на месте храма Христа Спасителя чадила грузовая автобаза. Если пролезть в пролом заляпанного грязью забора, то на автобазе тоже было чем поживиться.

Гнутые гвозди; окаменевшие деревяшки, замызганные и облепленные засохшим цементом; шарики от сломанных подшипников; какие-то корявые ржавые железяки; куски колючей проволоки, рваный крафт, провода в оплетке и без, – всё становилось андрюшкиной добычей, весь этот хлам вызывал в нем алчный трепет кладоискателя. Маленький Плюшкин не мог пройти спокойно мимо ничего, что бесхозно валялось на земле, или торчало из земли, или тщетно пряталось под землю, спасаясь от взора следопыта. Всё он тащил в нору и складировал у себя под кроватью. Регулярно мать устраивала ему скандалы, крикливые разносы, официальные взбучки с апелляциями к соседкам, а периодически и облавы, набивая два жидких, косых чемодана бесценными сокровищами сына, проходившими у матери по графе «Всякая дрянь!», и гневно опустошала чемоданы на помойке. В мусорных баках Андрей не рылся, опрокинутое в них обратно не извлекал, разделяя народную мудрость: *что упало, то пропало*. Но спустя недолгое время чемоданы опять наполнялись разными «законными штуками». Следовала их очередная шумная ликвидация, и всё повторялось вновь.

Я такого пристрастия к старью никогда не испытывал. Вещи меня вообще не интересовали. Меня интересовали люди. А из вещей – только новое, купленное в магазине, но никак не «притыренное» со свалки. И никогда не пытался я докопаться, из чего вещь состоит. Андрей же, завладев чем-то более или менее сложным, немедленно раскурочивал сложное на простое, что лишь прибавляло бытового мусора к возмущению андрюшкиной мамы: была одна испутившая дух гармошка, а стало десять разодранных мехов и куча кнопок. Соседки слушали несчастную мать, сочувствовали ей, давали ценные советы как отвадить парня от пагубной страсти, однако и всем миром тягу Андрюшки к бескорыстному накопительству, к доискиванию до сути предметов побороть не могли. Это дитя родилось старьевщиком-аналитиком: выручить

выброшенное и разобрать на запчасти, понять как устроено и убедиться в том, что ничего сверхъестественного в находке нет. Она – дополнительный аргумент к торжеству материализма над идеализмом под отдельно взятой кроватью. Отсутствие сверхъестественного ничуть не огорчало Андрея, а наоборот поддерживало в нем не сянкую бодрую духа, веру в бесконечную изобретательность человеческого разума.

А я однажды согрешил против своей природы ничего не ломать и получил хороший урок. В день рождения мне подарили желанную игрушку – красного мотоциклиста на красном мотоцикле. Мотоциклист в шлеме прильнул к рулю, готовый сорваться с места. Для этого достаточно было кукольным ключиком завести мотор до упора. Я завел, и гонщик помчался кругами по паркету, объезжая ножки стульев и натываясь на ножки стола, пятась, поворачивая, гремя на всю Ивановскую к неудовольствию мамы (что бы она сказала, разделяй я с Андрюшкой его страсть?). А наигравшемуся заводным мотоциклом захотелось узнать как устроен мотоциклист, которого я уже одухотворил со всей доступной моему детскому воображению силой. Дал ему имя и фамилию, присвоил чемпионский титул, наделил замечательным даром дружбы, отвагой, верностью слову, чувством чести.

Я внимательно осмотрел жестяную фигурку и обнаружил вдоль ее спины несколько загнутых металлических язычков. Поддел их один за другим и легко разнял гонщика на две зеркальные половинки. И что же я узрел? О, профанация! О, ужас! У меня в руках лежали две полые полу-фигурки... Мотоциклист оказался штампованным! Его выдавили на прессе, слепили заклепками, раскрасили и пустили в путь. Внутри мотоциклист был абсолютно пустой. Левая половинка – ноль, правая половинка – нуль. Как ни крути, всё пусто. Не человек, а кукла. Не человек, а муляж из крашеной жести. А как же имя? Фамилия? Чемпионская история? Личные достоинства? Куда вы

их дели?! Я понятия не имел, что именно увижу, разняв половинки, вряд ли бы меня устроила картинка разноцветных внутренних органов чемпиона, но *пустота* просто ошеломила. Весь итог моей аналитической работы, союз ума и рук, желание докопаться до истины выявили только то, что *истина есть пустота*. Так что же лучше: миф о прекрасном мотоциклисте, который возвышал и облагораживал меня, или правда о выдавленной жестянке; правда, которая меня оскорбила и покорила? Не трогая игрушку, я жил в облаке чуда; разобрал ее, погрузился в обыденность бескрылой, разоблачительной яви.

К счастью, мне не пришло в голову молиться на это поразившее меня открытие, доводить до крайности свое неприятие вечно мира. Он присутствовал всюду, вынуждая с собой считаться, или даже доставляя удовольствие. Футбольный мяч – вещь? Вещь. Английская теннисная ракетка «Пингвин» – вещь? Вещь. А пятнадцати струнная испанская гитара XVII века в антикварном магазине – старье? Нет, драгоценность. Потому мне было приятно надеть по весне новый коричневый плащ с поясом и погончиками, который мама подарила мне в мои пятнадцать лет. Еще перед зеркалом повертелся прежде, чем выбежать из подъезда в Соймоновский проезд и устремиться к арке метро, перекинутой архитектором Дужкиным через вход на Гоголевский бульвар. Именно этот плащ и окажется главным вещественным доказательством доверия к той мистической истории, которую многие годы спустя поведала мне Наташа. Правда вещи не развенчала чудо, а подтвердила его.

## 7

Наташин отец был военным летчиком, героем войны. Восемнадцати лет он падал с горящим самолетом в Черное море, а на берег выбрался совершенно седым от пережитого. После войны, будучи офицером Генштаба, рыбачил в нейтральных водах, был арестован нашими пограничниками и уволен со службы. Никаких препятствий для него не

существовало. Он выскакивал из своей голубой «Победы», вручную поднимал полосатый железнодорожный шлагбаум и проныривал под самым носом у приближающегося поезда. Настоящих летчиков отличает острое нетерпение. Для них ждать – хуже некуда. Они закодированы на постоянно тренируемую быстроту реакций. Но однажды летчику пришлось притормозить. Помимо явной страсти к небу, он был скрытым эстетом – не только поклонником женской красоты или итальянской оперы, но и ценителем архитектурных шедевров. Как-то он вез в машине по набережной свою десятилетнюю дочь и повернул в Соймоновский проезд перед домом Перцова, невольно сбросив скорость, чтобы полюбоваться языческой сказкой русского модерна. По словам Наташи в этот момент из подъезда вышел молодой человек и направился в сторону метро. Здесь и случилось загадочное обстоятельство, похожее на выдумку экзальтированной девочки. Она услышала голос:

– Вот твой будущий муж.

Мы встретились через пятнадцать лет в Большом зале консерватории, причем первым со мной познакомился наташин отец и представил нас друг другу. А еще годы спустя она рассказала мне о сбывшемся пророчестве. К тому времени я далеко не считал, что существует только то, что можно рационально объяснить, а всё необъяснимое – ложно. Ни мой собственный, ни чей-то иной мистический опыт никакого скепсиса во мне не вызывали. Правда, на сей раз я не удержался и спросил:

– А в чем я был одет?

– На тебе был коричневый плащ.

\* \* \*

Когда-то поэт Борис Слуцкий опрашивал своих учеников, много ли у них читателей. С таким вопросом он обратился и ко мне:

– Алексей, как вы думаете, сколько человек интересуется тем, что вы пишете?

Как начинающий автор, я вселял в друзей и родственников некоторые надежды. Пожалуй, человек двадцать интересовались. Но были двое, которые не интересовались: мама и Наташа. Они *жили* тем, что я пишу.

— Как я не люблю, когда ты уезжаешь! – говорила мама, а уезжать приходилось и по своей воле, и по казенной надобности. Академия наук помогала поднимать сельское хозяйство на бескрайних просторах Подмосквья и смежных областей, а наш Институт прикрепили к совхозу «Емельяновский», к деревне Каблочки, что на Оке за Каширой. Разнарядка райкома партии требовала от дирекции ежегодно с весны до поздней осени мобилизовывать на битву за урожай ударные силы отечественной кристаллографии. Мы трудились вахтами по две недели, жили посреди опустевшей деревни в полуразвалившейся хибаре с печкой в углу, которая давно не досчитывалась четверти своих кирпичей. Именно там после трудового дня приходили в себя на шестнадцать продавленных койках шестнадцать испытателей природы, часть которых в недалеком будущем, кардинально улучшит бытовые условия, посвятив свои умы укреплению физических наук Старого и Нового света. А пока кто-то баловался шахматами с обугленной пуговкой вместо черной пешки, тогда как общество в целом разгадывало вслух газетный кроссворд:

— Итальянский композитор-классик...

Молчание.

— Россини?

— Нет.

— Доницетти?

— Нет.

— Пуччини?

— Нет.

— Верди!

— Нет!

— Скарлатти?

— Нет.

— Беллини?

— Ванька, мать твою!.. Ты куда кнут дел? – ударяло в оконное стекло и тонко резонировало в нем. Это слабо трезвый пастух на курьих ножках пытал подпaska, любившего о вечерней заре поупражняться в стрельбе кнутом по пустым четвертинкам, криво выстроенным в линию чуть поодаль от нашей хибары.

Мельничный сарай дрожал от электрической машины, смалывавшей в пыль зерно из девяностокилограммовых мешков с клеймом «Невада» и посреди лета весь утопал в муке, как в снегу.

Щербатый тракторист, ощерившись «Беломором», торчавшим поперек верхнего клыка, гнал по междурядьям взбрыкивавший на кочках, дребезжавший всеми «подкрылками» агрегат, и осыпал химикалиями из бункера километровые грядки, но ни в коем случае не педалировал равномерности натрушивания, не педалировал...

Вертолет сельскохозяйственной авиации разворачивался над полем в нашу сторону, и мы бросались врассыпную из-под облака какой-то рвани, которую он выпускал *в белый свет как в копеечку*. Не дай Бог удобрит!

А где-то в волшебном сумраке старой, пропахшей лошадиным духом конюшни местного царька Авгия два довольных своей долей (которая всем казалась несчастной) раба-кристалло-графá без геркулесовых усилий поддевали вилами с пола пласты конского, перемешанного соломой, навоза, залежавшегося здесь, если не со времен Древней Эллады, то с отдаленных лет колхозной барщины. Пласты отходили легко, отвечая на вспарывание вил сухим потрескиванием, и ничуть не мешали работникам дискутировать о колорите, свежести и чувственной красоте ренуаровских женщин, пока лошади, чутко всхрапывая над ухом и обдавая дыханием горячих ноздрей, переступали по настилу, а сам Авгий, с утра опившийся хлебным вином, приваливался спиной к стене, сползал и приваливался вновь, пытаясь уловить ход

искусствоведческой мысли. Однако взгляд его выражал лишь полное недоумение.

Однажды возвращаюсь летним вечером с поля, а навстречу бежит только что защитившийся кандидат наук, похожий на рыжего, щупленького раввина. Поездкой в деревню его премировали за удачную защиту.

— Алёша, к тебе жена приехала!..

В голосе – счастливое изумление. Чего здесь только не было, но чтобы к кому-то, посланному на сельхозработы, приезжала из Москвы жена, такое случилось впервые. Молодые московские жены, как огня, боялись всякого упоминания о «колхозе». «Колхоз» пугал их полным дискомфортом, предполагаемой грубостью нравов, тяжестью подневольного труда. Никому не приходило на ум навещать мужей в этой «ссылке». Время героической романтики миновало. Наступило время маникюра и макияжа, несовместимое с посещением заброшенных деревень, по которым бывало не только на каблучках не пройдешь, а на бульдозере не проедешь – застрянешь в развороченной глине.

Вот почему кандидат бежал мне навстречу, повторяя с радостным удивлением:

— Алёша, к тебе жена приехала!..

А мы ни о чем не договаривались. Взяла и приехала. Наташа была человеком поступка, стихийных движений души, исполненных неожиданной смелости и остроты. Она не строила планы, не кроила, не взвешивала: удобно – не удобно, даст ей желаемое что-нибудь или ничего не даст, отзовется благодарностью или останется без ответа. Дружба ее была бескорыстной. Понятие взаимного расчета («ты – мне, я – тебе») обошло ее стороной. Самоотверженная доброта составляла ее существо не как «осознанная необходимость», а как сорожденное ей бессознательное. Она творила добро, не задумываясь, по какому-то природному инстинкту. Душа ее была христианкой до всякого воцерковления, независимо ни от чьей проповеди. Это очень почувствовал обожавший ее о. Марк: «Почему Наташа так

легко приняла веру? Потому что она уже была готова к этому всей предыдущей жизнью, служением семье – мужу, детям. Да, это жертва, но жертва для нее естественная, желанная. А где *такая* жертва, там Бог».

Знакомая художница вспоминала: «Я столько слышала о Наташе, что решила: таких людей не бывает. А когда узнала ее, поняла: бывают». Люди стремились к нам в гости послушать меня, поиграть с детьми, увидеть Наташу. Сотрудница лаборатории конфиденциально попросила пригласить человека легендарной судьбы, одного из создателей атомного проекта: «Он очень хочет побывать у вас дома...» Борис Алексеевич Чичибабин сказал, когда мы встретились в Харькове: «Я ничего не помню, как у вас там: какая мебель, где – что, но я помню, что мне было очень хорошо. Какая-то атмосфера такая...»

Русского человека Средняя полоса России притягивает магически – вся кроткая ее красота: полевая, речная, лесная; ее равнинность, мягкие линии холмов, печаль покинутых деревень...

Мы вышли на высокий берег Оки.

Здесь река делает плавный поворот, и простор на низком берегу открывается необозримый вплоть до плавучего моста, раздвигающего понтоны для плывущей баржи, вплоть до брезжущего вдали городка Озёры.

С юности Ока представлялась мне куда значительней, нежели просто речной поток. Она не так полноводна и громадна, как Волга. Нет в ней никакой тяги к первенству; тяги, которая по мере течения лет становится нам всё смешней. Ока – приток. Величина ее соразмерна человеку. Воды ее несут неиссякаемую энергию жизни. Берега ее древнее русской истории. Идти вдоль Оки – значит впитывать в себя ее целебные токи. Вижу сероватое вечернее небо, серебристую пушинку облака, колеблемую водой, и Наташу, собирающую цветы на склоне, и это запечатлелось как самое светлое и незабываемое, что слито во мне с чувством родины.

Речной волны песчаный шорох,  
Оки просторный поворот,  
И над водой ворон тяжелых  
Горластый, бредущий полет.

Прошелестит в стволах отвесных  
Упругий ветер, уходя,  
И тянет стая в клювах тесных  
Косую кисею дождя.

Она ложится складкой первой  
Нам сверху на плечи с тобой,  
И хорошо под этой серой,  
Под этой старой кисеей.

Когда еще, в каком столетье  
Нам возвратят счастливый час,  
Чтобы вот так могли смотреть мы  
На все, что связывает нас –

На поворот Оки широкий,  
Теченья темную струю  
И на спадающую в ноги  
Дождя сырую кисею...

**КОЗЬМА ПРУТКОВ: ЖИЗНЕОПИСАНИЕ  
ПРУТКОВИАДА: НОВЫЕ ДОСУГИ**  
2010

*Дифирамбы герою. Бряцание лиры. – Опусы «гисторические» и антилиберальные. Проект: о введении единомыслия в России. – Постсоветское выступление с того света. Муравьиные яйца славы. – Извержение исландского вулкана*

1

**К**озьма Прутков принадлежит к тем мистификациям, которые реальней любой действительности.

Он одновременно воспринимается нами в трех обликах: как вымышленный литературный образ, как исторический персонаж (1800 – 1860), как автор собственных творений.

Благодарнейший герой!

Биографу он дает исключительный шанс на жизнеписание квазифантома. Не чистого призрака, возникшего, скажем, из бумажной ошибки полкового писаря, подобно поручику Кижe, а *как бы* призрака, успевшего заключить такое количество земных связей, так войти в плоть и кровь поколений, что, понимая всю его фантомность, мы в нее не верим, а верим в его подлинность и тем создаем себе духовное поле редкой юмористической цельности, удивительного отдохновения.

Прутков ни в коем случае не кукла, ведомая искусными кукловодами, невидимыми публике за высокой ширмой балагана, и лишь в конце представления выходящими на поклон, демонстрируя заметное несовпадение роста актеров с кукольностью персонажа.

Прутков даже не обобщенный псевдоним четырех скрывшихся от нас остроумцев (братьев Жемчужниковых и А. К. Толстого). Он – один из великолепной пятерки; тот, кто принял под сень своего артистического имени плоды совместной литературной забавы всех досточтимейших господ, стоящих за его спиной.

Он – званый гость на земном пиру. Есть у него свой характер, образ мыслей, своя судьба. Есть и неповторимая внешность, запечатленная на известном портрете художниками Жемчужниковым, Лагорио, Бейдеманом: мохнатые черные брови вразлет, нос набалдашником и ямочка строго посреди подбородка. Гордая посадка несколько запрокинутой головы выдает честолюбца, равно как и скошенный вправо взор, словно следящий за тем впечатлением, какое модель производит на окружающих. Лоб его как бы отчасти стесан, слегка завален и устремлен более к затылку, нежели в зенит. Галстук гордеца трудно назвать «бабочкой». Скорей это бант художника, какой-то гигантский тропический махаон, привлеченный на творческую грудь ее внутренним жаром.

А руки? Руки?!

Впрочем, правая, трудовая, несущая флажок гусяного пера, скромно опущена и не видна зрителю, зато ленивица-левая во всей красе покоится на груди, униженная перстнями через палец (указательный, безымянный) – пример для модников-подражателей грядущих эпох.

Остроту портрету придает ощущение, что перед нами все-таки не столько потомственный дворянин, сколько слегка утомленный шумом света камердинер, не без удовольствия позирующий перед зеркалом в отсутствии господ. Он как будто спрашивает нас:

Так чьи ж, курчавясь проседью, волосы  
Зашевелились в легком неприглаже?  
Кто так отважно бросил на весы  
Портфель стихов в лирическом кураже?

Кто на бритвѣ ни времени ни сил  
Жалеть не станет, мыльный крем пузыря?  
Кому цирюльник шею залепил  
Квадратиком аглицкого пластыря?

В чьих очесах горит безумства жар,  
Уста же изъязвил змеиный холод?  
Кто, восклицая: «Боже, как я стар!..»,  
В виду имеет: «Господи, как молод!..»?

Познав величье своего пути,  
Кто, став символом вечного движенья,  
Бичует всех и вся на фоне ти –  
Танического самоуваженья

И, стиснув угол мягкого плаща –  
Прославленной в поэтах альмавивы,  
Плеща, бросает за угол плеча  
Ея вольнолюбивыя извивы?

Чья белая перчатка, – черт возьми! –  
Унизана перстнями через палец?  
И ежели ответствуешь: «Козьмы»,  
То лишь тогда ты будешь прав, гадалец! <sup>1</sup>

Обратите внимание на правописание имени Прутковя. Нам предложено не простонародное: «Кузьма», а высоко-родное: «Козьма», что отсылает нас не к нижегородскому посаднику Кузьме Минину, а к властителю Флоренции

---

<sup>1</sup> Алексей Смирнов. Прутковиада. Новые досуги. – СПб., 2010. С. 12.

Козимо Медичи... Само имя словно указывает, какому историческому прототипу хотел бы наследовать его носитель. Италия, Флоренция, банкирские дома... А вовсе не пригороды Нижнего Новгорода, как мы могли бы подумать.

С первых поэтических опусов честолюбивые мечты Козьмы Петровича выливаются в энергичные требования, неисполнимость которых настолько очевидна, что позволяет автору смело претендовать на бессмертие, если его риторические обращения к пространству будут выполнены:

Дайте череп мне Сенеки;  
 Дайте мне Вергильев стих –  
 Затряслись бы человеки  
 От глаголов уст моих!  
 Я бы, с мужеством Ликурга,  
 Озираясь кругом,  
 Стогны все Санктпетербурга  
 Потрясал своим стихом!  
 Для значения инова  
 Я исхитил бы из тьмы  
 Имя славное Пруткова,  
 Имя громкое Козьмы! <sup>1</sup>

Поэты не читают свои стихи, поэты их поют. Отсюда – повышенное внимание к лире: ее настрою, благозвучности, звонкости, прочности струн... К ее величине, наконец! Поэты меряются друг с другом габаритами лир, а публике следить за этим куда доступней и отрадней, чем погружаться собственно в лирику. Считается, что чем больше лира, тем она громогласней, убедительней, достойней всеобщего восхищения. Однако Козьма Прутков решительно опровергает такое мнение. Для него величие поэта не зависит от размеров инструмента. Не в этом дело! А дело в том, какое эхо откликается на стройное бряцание творца, и кто бряцает.

<sup>1</sup> Сочинения Козьмы Пруткова. – СПб., 2011. С. 17.

Бывают лиры много больше арфы.  
Оне громадны... Но, увы-увы,  
На них играют крохотные Марфы,  
Их трогают малюсенькие Львы.

А я владею лирой-невеличкой,  
Но эхом умножённый во сто крат, –  
Как ты перстами струны ни попичкай, –  
Рокочет в небе доблестный раскат!

Не надо делать из меня кумира,  
И так ведь сразу видно по лицу,  
Что эта, – в общем махонькая, – лира  
Принадлежит великому певцу! <sup>1</sup>

Подлинность Козьмы подтверждена его служебным положением. Он – директор Санкт-Петербургской Провизорской Палатки, реального учреждения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 28. В этой «палатке» тестировали золотые и серебряные слитки, а так же ставили на них клейма. Палатка, полная драгоценных металлов, относилась к министерству финансов, а ее директор был хоть и не сеньор Флоренции, но действительный статский советник (армейский полковник), что ничуть не мешало Козьме Петровичу считать себя *тайным* советником (генералом) и внушить эту мысль всем окрестным дворникам, охтенкам и кучерам. Никак не мог он согласиться с известным стихотворцем нашим господином Пушкиным в одном из трёх пунктов, от которых упомянутый господин просил его избавить:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,  
Любоначалия, змеи сокрытой сей,  
И празднословия не дай душе моей.

<sup>1</sup> Алексей Смирнов. Прутковида. Новые досуги. – СПб., 2010. С. 35.

Назвать *любоначалие* – сокрытой змеей Прутков не мог бы и в страшном сне. Как? Да мыслимо ли?.. На *любоначалии* подчиненных и благосклонности начальствующих держится вся империя. Убери *любоначалие* = что же останется? Одни либеральные издёвки да вольнодумные насмешки?.. Одни вынутые из карманов дули да передразнивания?.. Потому-то в обширной морали к басне «Звезда и брюхо» автор, самопроизведённый в генералы, наставляет читателя:

Но главное: не отставай от службы!  
 Начальство, день и ночь пекущееся о нас,  
 Коли сумеешь ты прийти к нему по нраву,  
 Тебя, конечно, в добрый час  
 Представит к ордену святого Станислава.  
 Из смертных не один уж в жизни испытал,  
 Как награждают нрав почтительный и скромный.  
 Тогда, – в день постный, в день скоромный, –  
 Сам будучи степенный генерал,  
 Ты можешь быть и с бодрым духом,  
 И с сытым брюхом!.. <sup>1</sup>

А в другом месте и в другое время баснописец вновь возвращается к той же теме:

Ложусь ли с девою на ложе,  
 Брожу ль среди ночных полей,  
 Любоначалье мне дороже  
 Иных любвей.

Куды в июне дева мая?  
 А поле? Тропки не сыщу.  
 И лишь начальство вспоминая, –  
 Вос-тре-пе-щу! <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Сочинения Козьмы Пруткова. СПб., 2010. С. 68.

<sup>2</sup> Алексей Смирнов. Прутковиада. Новые досуги. СПб., 2010. С. 15.

Конкретность Козьме Петровичу придает и прослеженная нами в пяти коленах генеалогия дворянского рода Прутковых, их родовой герб с прутками на желтом фоне, лирой – на голубом и служебной печатью – на красном. Два жадно дышащих мопса, стоящие на задних лапах, как львята с высунутыми языками, поддерживают щит герба слева и справа. У подножия – лента, не упустившая из вида указание: «Смотри в корень!» (но не «зри», как принято думать). А голова Пегаса в кивере с высоким султаном венчает композицию герба.

В разысканной нами генеалогии насчитывается семнадцать персон – предков и потомков Козьмы, не считая его супруги Антонида Платоновны (урожденной Проклеветантовой) и ее родственника Илиодора – охальника и кляузника, разоблаченного стихотворно:

Когда ты мелешь сущий вздор  
По поводу моих талантов,  
Мне жаль тебя, Илиодор  
Проклеветантов!

И самый подлый наговор  
Не возмутит мой профиль Дантов.  
Позор тебе. Илиодор  
Проклеветантов!

Кто оклеветывать остёр,  
Тому не место среди грандов.  
Сгинь с глаз моих, Илиодор  
Проклеветантов!<sup>1</sup>

## 2

Замечено, что чем серьезней художник, тем с большим раздражением относится он ко всякого рода отвлекающим обстоятельствам. Граф Алексей Константинович

<sup>1</sup> Алексей Смирнов. Прутковиана. Новые досуги. СПб., 2010. С. 55.

Толстой – литературный гигант, для которого соавторство в создании образа Козьмы всегда оставалось не более, чем приятной домашней забавой, с юности ощущал в себе поэтический дар.

«Я родился художником, но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался *вполне* художником. Вообще вся наша администрация и общий строй – явный неприятель всему, что есть искусство, – начиная с поэзии и до устройства улиц...»<sup>1</sup>

Интересно, какие же «все» обстоятельства противились осуществлению призвания? Высокородность. Обязанности придворного сановника: Толстой – церемониймейстер императорского Двора – самого пышного в Европе, устроитель маскарадов, балов, фейерверков. Постоянный спутник государя Александра II, его друг и *советчик*, что куда задушевней, чем табельный *советник*. И всему этому блеску граф предпочел творческое уединение.

Не то Козьма Петрович. Этот не только не чурался фейерверков, но ловил их малейшие блёстки. Праздник для него – оказия наипервейшая. «Не для какой-нибудь Анюты // Из пушек делаются салюты». А служба государева? Да это дар небес! Пока ты служишь, ты на коне. А как спешишься, так и очутишься под конем... Никогда в жизни не приходило Пруткову на ум уйти с директорского поста по собственному желанию, да и кому придет? «Чертовски хочется работать!» – как сказал один секретарь ЦК, сядясь в персональную «Чайку». Так и Прутков до конца дней своих оставался верен родной палатке. Смертный миг встретил он на посту с канцелярским пером в руке.

Вот час последних сил упадка  
От органических причин...  
Прости, Пробирная Палатка,  
Где я снискал высокий чин,

<sup>1</sup> Толстой А. К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. С. 53, 54.

Но музы не отверг объятий  
Среди мне вверенных занятий!..<sup>1</sup>

Будучи крупным чиновником, человеком положительным, законопослушным, Козьма Петрович, между тем, уважал художества, но уважал сугубо как досуг, и посвящал им обыкновенно свои дни рождения: 11-е апреля. Однако, сколько же он успел натворить «на досуге»! Стихотворения, басни, эпиграммы... Мысли и афоризмы... Пьесы... Письма и предисловия... А так же два бессмертных шедевра литературы и общественной мысли: «Гисторические материалы Федота Кузьмича Пруткова (деда)» и «Проект: о введении единомыслия в России».

Художественная система Пруткова покоится на трех китах: пародии, абсурде, глубокомысленной банальности. Прутков – непревзойденный мастер стилевой пародии, основоположник европейского абсурда, специалист по изречению ходячих истин. И все эти благодати сошлись в «Гисторических материалах» и «Проекте».

Начнем с «материалов».

Здесь Козьма выступает не автором, но публикатором творений своего деда – отставного Премьер-майора и Кавалера Федота Кузьмича Пруткова.

Поначалу публикатор дивит читателя логикой биографических изысканий: «Дед мой родился в 1720 году, а кончил записки в 1780 году; значит: они начаты в 1764 году. В записках его видна сила чувств, свежесть впечатлений; значит: при деревенском воздухе он мог прожить до 70 лет. Стало быть, он умер в 1790 году!»<sup>2</sup>

А затем Козьма переходит собственно к делу.

«Гисторические материалы» Федота Кузьмича по трудности пародирования и успеху исполнения служат украшением всего наследия Козьмы. Недаром в статье «Прутков»

<sup>1</sup> Сочинения Козьмы Пруткова. СПб., 2010. С. 83.

<sup>2</sup> Там же. С. 193.

для энциклопедии Брокгауза и Ефрона философ Владимир Соловьев пишет: «Один из главных перлов “Полного собрания” – 17 старинных анекдотов (плюс 10 “не включавшихся в Собрание сочинений”. – А. С.), которые представляют мастерскую пародию на “достопримечательности”, издававшиеся в XVIII веке в различных сборниках. Конечно, сам Прутков не мог бы так художественно воспроизвести варварский язык того времени и особую смесь пошлости и нелепости в содержании таких рассказов. Для этой части прутковского творения создан особый автор – дед Федот Прутков, отставной премьер-майор, который под вечер жизни своей достохвально в воспоминаниях упражнялся, “уподобляясь оному древних римлян Цынцынатусу (Цицирону. – А. С.) в гнетомые старостью года свои”»<sup>1</sup>.

Удостоверимся в том, что эти упражнения поражают не столько потешной дурью бородастого анекдота, сколько адекватностью языку и стилю XVIII века.

### «ТИХО И ГРОМКО

Господин виконт де Брассард, с отменною ласкою принятый в доме одного богатого ветерана, в известном сражении левой ноги лишившегося, усердно приволакивался за молодою его супругою, незаметно, по-военному, подпуская ей амура. То однажды, изготовив в мыслях две для нее речи, из коих одну: «Пойдем на антресоли» – сказать тихо, а другую: «Я еду на свою мызу» – громко; толико от внезапно разливавшегося по членам его любовного пламени замешался, что, при многих тут бывших, произнес оные в обратном порядке, а именно – тихо и пригнувшись к ее уху: «*Я еду на свою мызу*»; а за сим громко и целуя ее в руку: «*Пойдем на антресоли!*» – За что, быв выпровожден из того дому с изрядно накостылеваннным затылком, никогда уже в оный назад не возвращался»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В. Соловьев. Прутков. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 50. С. 634.

<sup>2</sup> Сочинения Козьмы Пруткова. СПб., 2010. С. 205.

Восхищенный пародийным талантом Прутков, Ф. М. Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» пишет: «Вы думаете, что это надуванье, вздор, что никогда такого деда и на свете не было. Но клянусь вам, что я сам лично в детстве моем, когда мне было десять лет от роду, читал одну книжку екатерининского времени <...> и с тех пор не забыл»<sup>1</sup>.

Здесь то, как пишет Прутков, несравненно важнее того, о чем он пишет. Virtuозность его инверсий, архаичность лексики, общий гривуазно-учтивый тон повествования и составляют суть этих бесподобных упражнений.

А теперь займемся «Проектом...»

В середине XIX века господствовало официальное мнение, что Россия совершенно особенное государство, которое не только отличается, но и должно коренным образом отличаться от Западной Европы всеми чертами своего социального устройства. Требования и чаяния европейского общества абсолютно неприемлемы для России. Тот порядок вещей, который заведен здесь, единственно правильный, его основа – самодержавие, православие, народность, и он покоится на патриархальных началах отеческой заботы государя, наставнической роли духовенства и преданности подданных. Вот что гарантирует устойчивость общества, его стабильность. Тогда, кажется, ещё не догадывались, что стабильность и застой – это одно и то же, разница лишь в эмоциональной окраске самого термина. Тем не менее время от времени (обычно при смене царствований, а позже – руководств) возникало желание что-то реформировать, упорядочивать, улучшать. Желание это часто носило характер громогласного призыва, и никогда не обходилось без понятного стремления поддержать свой порыв финансово за счет кропотливого потрошения казны. Это касалось и военных и гражданских реформ. Все они требовали средств независимо от результата.

<sup>1</sup> Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 15 т. Л., 1989–1996. Т. 3. С. 400.

Козьма Прутков был принципиальным противником всяких реформ. Он их ненавидел. Он боялся их, как огня. Но боялся не потому, что из опыта ждал катастрофических для народа последствий любой отечественной реформы, а потому, что опасался за собственное относительное благополучие. Да, Козьма Петрович Прутков – директор Пробирной палатки, действительный статский советник не хотел никаких новаций. Однако, если уж они, действительно, назревали, перезревали и, наконец, проводились в жизнь правительством по распоряжению императора, как, скажем, Великая крестьянская реформа, то тут убежденный консерватор сам активно подключался к реформаторской деятельности и предлагал свои всегда неожиданно смелые проекты. Правда, проекты эти отличались направлением скорей утеснительным, нежели освободительным, то есть носили характер контрреформ, пытаясь компенсировать возможные последствия расширения народных прав и свобод.

Как художник, Прутков разделял пушкинский взгляд на противостояние творца и черни:

Поэт! не дорожи любовью народной.  
 Восторженных похвал пройдет минутный шум;  
 Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,  
 Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Козьма подхватывает пушкинское презрение к толпе и, не меняя размера, обращается к ней, пародируя Пушкина:

Постой!.. Скажи: за что ты злобно так смеешься?  
 Скажи: чего давно так ждешь ты от меня?  
 Не льстивых ли похвал?! Нет, их ты не дождешься!  
 Призванью своему по гроб не изменя,  
 Но с правдой на устах, улыбкою дрожащих,  
 С змеєю желчною в изношенной груди,

Тебя я наведу в стихах, огнем палящих,  
На путь с неправого пути! <sup>1</sup>

Заметим, что у романтика Пушкина не было намерения исправлять путь толпы, как дело безнадежное, а у пересмешника Пруткива оно возникает... В целом же он – непримиримый противник демократии, воспринимающий ее как бунт беснующейся черни против законной власти.

О, вы, что покусились на  
Закон и трон в плебейской злобе,  
На бой вас вывел сатана  
С кривыми рожками на лобе!  
Чего взалкали? Воли?.. Прав?..  
А может – вольницы разбоя?  
Златых тельцов и тучных крав  
У водопоая?!

Вы посулили нам Эдем  
И гогель-могель, демагоги,  
Но ясно показали всем,  
Какие Гоги и Магоги.  
Клеймлю вас, жалкие, клеймлю  
Своей служебною печатью  
И никому не уступлю  
Предать проклятью!

Вжимаю в сонмище врагов,  
Презренным торгом осрамленных,  
Герб государев, герб Петров,  
Герб всех любимых и влюбленных!  
Я заклюю им вашу плоть,  
Я закогчу им ваши чресла,  
И не поможет вам Господь  
Восстать из кресла.

---

<sup>1</sup> Сочинения Козьмы Пруткива. СПб., 2010. С. 88.



Вершиной реформаторской деятельности Козьмы Прутка следует признать его «Проект: о введении единомыслия в России». Шутки шутками, но проблема на самом деле существует. Рассуждая общо, разнообразие мнений демократично, однако приводит к ослаблению внутреннего единства. Напротив, полицейские меры хотя бы внешне восстанавливают сплоченное единообразие, но при этом страдает каждое трепетное я, утесняется творческое начало. Вопрос в том, как ненасильственно совместить интересы государства с правами и желаниями граждан. Россия не принадлежит к тем странам, которые преуспели в искусстве подобного компромисса. Наш особенный перманентный национальный «компромисс» ярче всего воплотился в одной из статей «Уложения о наказаниях исправительных и уголовных» 1845 года. «Уложение» отменило жестокое наказание кнутом, но при этом заменило наказание «мягкой» двухвостой плетью на плетью куда более жесткую – трехвостую, чем компенсировало отмену кнута.

Крестьянская реформа, упразднявшая крепостное право, вызвала в Козьме Петровиче законное возмущение, как в дворянине, пострадавшем по крайней мере морально. Выразить открыто свое несогласие, будучи человеком благонамеренным, он не мог. Ведь это же был правительственный акт, а император Александр II, благодаря реформе, получил заслуженный титул Освободителя. И тогда Козьма Петрович решил взять реванш на идеологическом фронте. Ему показалось, что представилась возможность... как бы это лучше сказать?...нет, не то что бы выслужиться, но обратить внимание руководства на свое врожденное любоначалие и чувство субординации. Осознав это, он воскликнул: «Да разве может быть *собственное* мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмется? На чем основано?» И кавалер ордена Св. Станислава формулирует положение, которое мы вправе назвать *Аксиомой Пруткова*, поскольку оно никак не доказывается, а просто принимается на веру:

*Очевидный вред различия во взглядах и убеждениях.*<sup>1</sup>

На основании своей аксиомы, Прутков еще в 1842 году предлагает, согласно нашему наименованию, «*Теорему о водочерпательнице*». Она звучит следующим образом:

*«Не по частям водочерпательницы, но по совокупности ее частей суди о ее достоинствах»*<sup>2</sup>.

**Д о к а з а т е л ь с т в о .** «Единственным материалом (для мнения подчиненного – А. С.) может быть только мнение начальства. Иначе нет ручательства, что мнение (подчинённого – А. С.) безошибочно.

Но как узнать мнение начальства? Нам скажут: оно видно из принимаемых мер. Это правда...

Гм! Нет! Это неправда!.. Правительство нередко таит свои цели из-за высших государственных соображений, недоступных пониманию большинства. Оно нередко достигает результата рядом косвенных мер, которые могут, по-видимому, противоречить одна другой, будто бы не иметь связи между собою. Но это лишь кажется! Они всегда взаимно соединены секретными шолнёрами (шарнирами. – А. С.) единой государственной идеи, единого государственного плана; и план этот поразил бы ум своею громадностью и своими последствиями! Он открывается в неотвратимых результатах истории (например, развивая мысль Козьмы, в революции Петра Великого или в контрреволюции Николая I; в революциях 1917 года или в контрреволюции 1991 года. А дальше Козьма Петрович задаётся замечательным вопросом – А. С.): как же подданным знать мнение правительства, пока не наступила история (то есть пока не прошло значительное время – А. С.)? Как им обсуждать правительственные мероприятия, не владея ключом

<sup>1</sup> Сочинения Козьмы Пруткова. СПб., 2010. С. 187.

<sup>2</sup> Там же. С. 188.

их взаимной связи? (При негласном правлении «мнение правительства», действительно, раскрывается только тогда, когда «наступает история», и этого правительства уже давно нет, и никто ни за что не отвечает. Сдвиг во времени между принятием решения и конечным результатом такого принятия дает самый широкий простор для манипуляций каждому новому поколению политиков. – А. С.).

Где подданному, – продолжает доказательство Козьма, – уразуметь все эти причины, поводы, соображения; разные виды с одной стороны и усмотрения с другой?! Никогда не понять ему их, если само правительство не даст ему благодетельных указаний. В этом мы убеждаемся ежедневно, ежечасно, скажу: ежеминутно. Вот почему иные люди, уже вполне благонамеренные, сбиваются иногда злонамеренными толкованиями; у них нет сведений: какое мнение справедливо? Они не знают: какого мнения надо держаться?»<sup>1</sup>.

Таким образом, сам собою напрашивается вывод: о достоинствах водочерпательницы следует судить не по отдельным ее частям, а по всей совокупности частей в целом, что и требовалось доказать.

Но как узнать это целое, пока не «наступит история»?

Поскольку вся совокупность частей правительственной водочерпательницы поданным не может и не должна быть известна, то для оценки ее достоинств необходимо «учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет»<sup>2</sup>.

Значит, цель проекта «О введении единомыслия в России» – «установление единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства»<sup>3</sup>. А достигнута эта цель может быть посредством учреждения «официального издания».

<sup>1</sup> Сочинения Козьмы Пруткова. СПб., 2010. С. 187, 188.

<sup>2</sup> Там же. С. 189.

<sup>3</sup> Там же. С. 188.

Козьма продолжает: «Этот правительственный орган, будучи поддержан достаточным, полицейским и административным, содействием властей, был бы для общественного мнения необходимою и надёжною звездою, маяком, вехою. Пагубная склонность человеческого разума обсуждать всё происходящее на земном круге была бы обуздана и направлена к исключительному служению указанным целям и видам. Установилось бы одно господствующее мнение по всем событиям и вопросам. Можно бы даже противодействовать развивающейся склонности возбуждать «вопросы» по делам общественной и государственной жизни; ибо к чему они ведут? Истинный патриот должен быть враг всех так называемых «вопросов»!

С учреждением такого руководительного правительственного издания даже злонамеренные люди, если б они дерзнули быть иногда несогласными с указанным «господствующим» мнением, естественно, будут остерегаться противоречить оному, дабы не подпасть подозрению и наказанию. Можно даже ручаться, что каждый, желая спокойствия своим детям и родственникам, будет и им внушать уважение к «господствующему» мнению; и, таким образом, благодетельные последствия предлагаемой меры отразятся не только на современниках, но даже на самом отдаленном потомстве. <...>

Но самым важным условием успеха будет выбор редактора для такого правительственного органа. Редактором должен быть человек, достойный во всех отношениях, известный своим усердием и своею преданностью, пользующийся славою литератора, несмотря на своё нахождение на правительственной службе, и готовый, для пользы правительства, пренебречь общественным мнением и уважением вследствие твёрдого убеждения в их полнейшей несостоятельности. Конечно, подобный человек заслуживал бы достаточное денежное вознаграждение и награды чинами и орденскими отличиями. Не смею предлагать себя для такой должности по свойственной мне скромности. Но

я готов жертвовать собою до последнего издыхания для бескорыстной службы нашему общему престол-отечеству, если только это будет согласно с предначертаниями высшего начальства. Долговременная и беспорочная служба моя по министерству финансов, в Пробринной Палатке, дала бы мне, между прочим, возможность благоприятно разъяснять и разные финансовые вопросы, согласно с видами правительства. Разъяснения же эти бывают часто почти необходимы ввиду стеснительного положения финансов нашего дорогого отечества». <...> 1859 года. (annus, i)»<sup>1</sup>.

Но этого автору Проекта показалось мало. Два пункта он выделил в самостоятельное примечание: «1) «Велеть всем редакторам частных печатных органов перепечатывать руководящие статьи из официального органа, дозволяя себе только их повторение и развитие» и 2) «Вменить в обязанность всем начальникам отдельных частей управления: неусыпно вести и постоянно сообщать в одно центральное учреждение списки всех лиц, служащих под их ведомством, с обозначением противу каждого: какие получает журналы и газеты. И не получающих официального органа, как не сочувствующих благодетельным указаниям начальства, отнюдь не повышать ни в должности, ни в чины и не удостаивать ни наград, ни командировок».<sup>2</sup>

Остается заметить, что Проект о единомыслии и примечание к нему (о перепечатке и принудительной подписке) намного опередили своё время. В условиях царизма их осуществление оказалось нереальным. И только советская власть полностью воплотила в жизнь пророческие замыслы Козьмы Пруткова. Единомыслие, опирающееся на полицейское и административное содействие, было установлено по всей территории Советского Союза.

<sup>1</sup> Сочинения Козьмы Пруткова. СПб., 2010. С. 189, 190.

<sup>2</sup> Там же. С. 190.

«Официальным... изданием, которое довело бы руководительные взгляды на каждый предмет», стала газета «Правда» – «надежная звезда, маяк» «для общественного мнения». «Частные печатные органы» были упразднены, а во всех официальных перепечатывались руководящие статьи из главного официоза. Была организована массовая подписка на многомиллионный официоз по символической цене 2 копейки за номер, 3 копейки за номер с вкладышем. Каждый момент общественной жизни получал свое единственно правильное толкование. Атмосфера благоприятствовала «повышению в должности, наградам и командировкам» тому, кто выписывал газету «Правда» и журнал «Коммунист».

В 1991 году вся эта налаженная система рухнула, и некоторое время казалось, что разнообразие мнений вот-вот поставит крест на трудах Козьмы Пруткова, сделает его Проект объектом сугубо архивного, чисто академического интереса. Но бюрократия – в поколениях! – без боя не сдается. Она воспользовалась бедственным положением умов замученного социальными экспериментами «электората» и воспрянула с новой, удесятенной силою. Роль центрального проводника «руководительных взглядов» взяло на себя государственное телевидение, а риторика «Единой России» в XXI веке вновь вернула актуальность прутковскому Проекту единомыслия, триумфально возвращающему нас на полтора столетия вспять.

### 3

Да, Прутков панически боялся всяких реформ. Но если реформы исходили сверху, он вынужден был им следовать. И не просто следовать, а приветствовать откликами в унисон предлагаемому. Он и с того света реагировал на взволновавшие его события, доводя через медиума свои реакции до читателей. Последний известный нам отклик возник осенью 2013 года в связи с реформированием (в начальном варианте – ликвидацией) Российской академии

наук. Дело касалось судебных массы ученых, в прошлом самой образованной и независимой части общества, порой имевшей собственное мнение, не всегда совпадавшее с мнением начальства. Именно этот слой граждан традиционно наиболее скептически относился к прутковскому Проекту единомыслия, можно сказать, осмеивал его в поколениях. Полагая себя крупным мыслителем, пусть и не вхожим в академические круги, а так же активным гражданином, продолжающим и с того света наблюдать за процессами, происходящими в постсоветской России, Козьма Петрович не мог обойти молчанием вопиющую обструкцию, которую незначительная часть интеллигентов от науки устроила правительственному постановлению по радикальному реформированию Академии, уже полностью подготовленному к одобрению Государственной думой. Козьма Петрович давно подозревал, что его, Пруткова, пересмешники знакомы с ним лишь понаслышке, а творений его либо не читали вовсе, либо пробегали глазами по диагонали, дабы взбодриться на своих снотворных Ученых советах. Потому в цитируемом ниже обращении автор не затруднился напомнить некоторые опорные положения Проекта о единомыслии, а кое-что повторить и дословно. Вместе с тем, используя все преимущества своего «геополитического» положения (на Небесах), то есть взирая на всё происходящее в России с безопасного расстояния – не то что из-за границы, а из-за границы земного притяжения! – Козьма Петрович позволил себе некоторые инсинуации по поводу излишней снисходительности начальствующих лиц к явлению возмутительных прений, допущенных подчиненными. Свои раздумья бывший законотворец донес до нас чрез испытанный канал связи – медиума: генерал-майора и кавалера NN.

### «НЕ МОГУ ПРОЙТИ МОЛЧАНИЕМ!

Не могу пройти молчанием необыкновенный шум, вдруг поднявшийся нынешним летом вокруг Великой академической реформы 2013 года. К осени шум сей докатился

и до меня, обыкновенно узнающего новости последним, ибо отношусь к ним с крайним недоверием. И вот я принялся внимательно листать газеты, не ограничиваясь, как бывало прежде, токмо что чтением о колдунах и наградах. Каково же было мое изумление, когда, не будучи горазд в науках, но всегда пытаюсь объяснить необъяснимое, я пришел к тому убеждению, что столпами истины, на коих зиждется правительственный меморандум, провозгласивший Великую академическую реформу, служат обдуманность и великодушие. Зря кричат, что он возник в тайне от подданных, что он попирает их права! А как бы вы хотели? Правительство нередко таит свои цели из высших государственных усмотрений, ускользящих от сознания подчиненных, так что сии усмотрения открываются вполне лишь в неотвратимых развязках истории. И вот люди, не допущенные уразуметь ни таинственные виды, ни скрепленные секретным грифом прожекты персон, облеченных высшими полномочиями, вздумали возвысить голос на план, поражающий воображение громадностью своих последствий! Злонамеренные толкования умножились, сбивая с толку даже весьма осведомленную академическую публику. Между тем наклонность человеческого разума обсуждать всё происходящее на земном круге идет не от ума, но от безделья и прямо пагубна, ибо плодит ежедневно, ежечасно, скажу: ежеминутно сомнения в благодетельности начальственных постановлений.

Не скрою: реформы 2013 года мы ждали триста лет с того момента, когда император Петр Алексеевич опрометчиво предоставил ученым несвойственное и обременительное для них право самим распоряжаться науками, а не вверять их отеческой опеке молодых сибирских столоничальников, назначенных на свои должности чинами не досягаемой доблести и благородства. Мы ждали триста лет, а когда оставалось прождать всего каких-нибудь дня три, чтобы меморандум единомысленно прошел утверждение Государственной думой и получил статус Закона,

вокруг него стали возбуждаться вопросы, возник шум, посыпались поправки, и решение переложили на осень.

Не могу пройти молчанием!

Где это видано: предлагать вопросы начальству, когда свое мнение оно уже составило? Истинный патриот должен быть противник всех так называемых «вопросов»!

Не могу пройти молчанием так же и тот факт, что среди академиков нашлись либералы, письменно выступившие против Великой академической реформы. Стыдно, господа! Вы считаете ошибкой допускать ученых к приборам и препаратам токмо после подачи соответствующих прошений по начальству и в случае его благосклонного согласия? Но начальству видней! Оно же сидит выше вас на сучках вертикали власти, занимает куда выше расположенные дупла и потому видит дальше. Я, как экс-директор Санкт-Петербургской Пробирной Палатки, могу вас уверить: отеческий контроль над сынами и дочерью науки не ошибка, но благо. Он позволяет сохранять должную субординацию, обеспечивать занятость руководящих членов, а управлять пробирками можно и не разбираясь в тонкостях лигатурного сплава. Кто вправе требовать, чтобы кругообразное движение примесей в расплавленном металле непременно совпадало с направлением финансовых потоков, лежащих вне компетенции химических сфер? Зная сердце человеческое и коренные свойства русской души, отвечу прямо: никто! Корифеи финансовой химии не обязаны присягать профессору Менделееву. Ручаюсь, что творцы и радетели Великой академической реформы желали счастья и спокойствия своим детям и родственникам. В том зрю ее обдуманность и гуманность.

Не скрою: удивлен снисходительностью правительства, не решившего вопрос в три дня, а позволившего некоторым ученым колпакам хватать за фалды заслуженных чиновников-орденоносцев. Я всегда был начальник строгий, но справедливый, и не любил потакать вольнодумцам.

Но вот пожелтели листья, настала осень. Депутаты возвратились с летних вакансий, чтобы принять, наконец, благодетельный Закон со всеми искажающими его цели коррективами, со всеми поправками, нарушающими благообразие первоначального меморандума. Хоть так...

А теперь, когда общественное мнение успокоено, считаю необходимым чредой подзаконных актов постепенно, без лишней огласки, упразднить все скоропалительные поправки и вернуться на круги своя, то бишь к радикальной версии реформы, каковую резолюцию посылаю чрез медиума почтенному редактору «Литературной газеты».

Ваш доброжелатель Козьма Прутков.

С подлинным верно: медиум, генерал-майор и кавалер NN.

11 октября 2013 года (annus, i)». <sup>1</sup>

\* \* \*

Когда-то в афоризме за № -м 107 Козьма Петрович сформулировал закон соотношения между физическим временем жизни одаренного индивидуума и временем жизни его славы. При этом поэт прибег к оригинальному сравнению из мира фауны, что метафорически обогатило не бесспорность самого закона.

Афоризм гласит: *«Муравьиные яйца более породившей их твари; так и слава даровитого человека далеко продолжительнее собственной его жизни».*

Уподобить даровитого, трудолюбивого человека муравью не фунт, а вот для того, чтобы уподобить его славу муравьиному яйцу, надо быть Козьмой Прутковым. Всё верно. Вначале муравей откладывает яйца больше себя, а потом из них вылупливаются славящие его потомки. Значит, по Пруткову, яйца славы уже при жизни муравья должны быть больше него, тогда и продолжительность славы превзойдет срок муравьиной жизни.

<sup>1</sup> Алексей Смирнов. Партия анекдотов. М., 2016. С. 175–177.

Экстраполяция такого наблюдения на человека сомнительна. Но пророческим образом она подтвердилась прижизненной и посмертной судьбой самого автора. Отложенные им при жизни муравьиные яйца славы, плодотворно воспроизводимые в новых поколениях, во много раз пережили легендарного Козьму.

Начиная работать над «Жизнеописанием», мы *уже* имели в запасе сочиненную лет на двенадцать раньше рукопись «Прутковиады» – новых досугов, составленных из неизвестных произведений, якобы найденных нами в портфелях любимого сочинителя. О чем это говорит? Может быть, о том, что вначале мы всей душой прониклись Козьмою, как бы отождествили себя с ним, и только потом вникли в перипетию его судьбы. Хотелось дополнить «Жизнеописание» «Прутковиадой», но издатель не спешил на это соглашаться. Когда же биография Козьмы подходила к завершению, оказалось, что «Вита Нова» готовит «Прутковиаду» не приложением в том же томе, а отдельной книжкой того же формата с цветным гербом рода Прутковых на обложке, выполненным художником Лурье по нашему эскизу. Обе книжки должны были выйти одновременно в одном комплекте. Кроме того, по просьбе издательства автор подготовил послесловие и комментарии к парадному тому сочинений самого Козьмы, а питерский художник Аземша создал для них сто цветных иллюстраций. Наконец, в Москве издательство «Молодая гвардия» решила переиздать петербургское «Жизнеописание» в популярной серии ЖЗЛ. Так из одной книжки рождались четыре: Прутковский проект.

Я был в Петербурге, когда выяснилось, что часть тиража «Прутковиады», отпечатанная типографией финского Порвоо, уже на подходе, а «Жизнеописание» задерживается. Именно тогда – в апреле 2011 года – словарь народов северной Европы обогатился непронизносимым исландским словом «Эй-я-фья-длай-ёк-юдль». Радиодикторы произносили его, запинаясь, а девушки-телеведущие отказывались произносить вообще. В Исландии ожил древний

вулкан. Он изверг на высоту гору вулканического пепла, которую попутным ветром стало медленно сносить к не подозревавшему о такой напасти Петербургу...

16 апреля, приехав из Павловска на Витебский вокзал и заглянув перекусить в «Чайную ложку» на Загородном проспекте, получаю СМС-ку от редактора Алексея Дмитренко: «Вышла Прутковиада!»

Договариваемся встретиться через час на Невском у Гостиного двора.

Примчался, жду.

«Вдруг» – именно вдруг! – среди бела дня всё потемнело и запахло каким-то жженым смрадом. Именно так: сильно смерклось и потянуло гарью доисторических недр. Народ вокруг не то, что замер, но как бы прижух. Движение притормозилось. Ничто не сыплется на голову, просто мрак и гарь. И в тот самый миг, когда туча вулканического пепла от изверга Эйяфьядлайёкюдля накрывает Невский проспект, на нем, не как из-под земли, а, на самом деле, из глубин метро, вырастает радостная фигура Дмитренко с десятком авторских экземпляров «Прутковиады». Что за мистика совпадений?! Выход «Андреиша» совпал с кишиневским землетрясением, а выход «Прутковиады» – с извержением исландского вулкана. И как этот «Ёкюдль» рассчитал направление, скорость ветра и время, за которое туча пепла из Исландии достигнет Невского с тем, чтобы управиться точно к моменту передачи книг; чтобы два события – вулканического и книжного – происхождения совпали на пяточке перед Гостиным двором? Тут и напрашивается совершенно необязательный, но окрыляющий автора ответ: сама природа по Божьей воле салютует трудам недостойного летописца.

В мае вышло долгожданное «Жизнеописание», и хозяйка наших домашних пиров, прежде начитавшая автору вслух, как народная артистка, не мало и бодрых, и снотворных страниц, посвященных предшественниками герою книги, украсила овальное блюдо надписью из красной редиски на белой сметане:

«ПРУТКОВ

Вита Нова»

А под блюдо подложила «ла́вровые уши» – семь веч-  
нозеленых листьев. Пока ели салат, почтили на лаврах. Но  
главный «лаврик» неожиданно для себя самого подло-  
жил мне Алёша Дмитренко на представлении «Пруткова»  
и «Прутковиады» в Петербурге, в Музее книги на Мойке.  
От волнения он кое-что перепутал и поименовал меня  
с изящной простотой: «Алексей Евгеньевич Прутков».

## ЗИМНЯЯ КАНАВКА

2012

*В каком времени жить? Братки и баски. – С Гоголем по Невскому проспекту. – Гений места и Гений времени. – Попутчик Родион. Хлопья лебединой пены. – Снова о снах наяву. Но уже Чайковский. – Александрийский столп. – Драгоценная Венеция. – Родственный круг Сары Скопін. – Исторический экскурс. – Nebbia – туман полночный*

### 1

Современный человек способен многое выбрать в своей жизни. Он может выбрать *стремя* (вид транспорта). Он может выбрать *племя* (гражданство). Облегчить или утяжелить тяготящее его *бремя* забот. Но считается, что он не в состоянии выбрать *время* своего пребывания на земле. Якобы никаких альтернатив судьба ему здесь не предоставила. Даже поэты безжалостно утверждают, что время себе по сердцу выбрать нельзя. Какое досталось, в том и живи. Да, можно родиться в одну эпоху, жить в другую, умереть в третью, а воскреснуть в четвертую, но всё это не ваш выбор. Так распоряжается вами судьба, не спрашивая своих подопечных, не потакая их прихотям. Она еще скажет: «Ишь, какие! Я им трижды времена поменяла, а они всё недовольны, всё недовольны...» Потому и недовольны, что поменяла она, а не они сами; поменяла по своему усмотрению, а не по их. Однако до некоторой

степени мы в силах сделать собственный выбор в обход фатуму, надо лишь знать какой, что именно мы хотим. Надо лишь извлечь из минувшего предпочтительную для нас эпоху, погрузиться в нее и в ней жить.

Если бы меня спросили: «В каком времени тебе хотелось бы очутиться?» – мой ответ: «В первой трети русского XIX века».

- А где?
- В Петербурге.
- А там?
- На Зимней канавке.
- Постой... Там же один Зимний дворец.
- Ну, значит... Раз больше негде.

Мы в Москве первой трети XXI века живем в каком-то двойственном времени: хочешь добраться до Петербурга, езжай на Ленинградский вокзал.

– Но с Ленинградского вокзала поезда на Петербург не ходят, они ходят на Ленинград.

– Это у вас не ходят, а у нас каждые полчаса.

Между тем двоится и Питер. Надо попасть загород, езжай в Ленинградскую область. И любой не выбирающий время вынужден раздваиваться в этом пересечении эпох. Так называемое «время перемен» вылилось у нас в наложение двух составляющих: старой (советской) и еще более старой (царской), родив нечто под названием *советский царизм*, в котором и советское, и царское заметно выцвело. И это преподносится как новое слово в истории России.

– Любопытно узнать, когда и чем всё это кончится, – задумчиво произнес однажды папин друг, свидетель моих первых литературных опытов.

А кончится это не может. История катит в никуда по рельсам, которые прокладывает перед собою сама. У нее нет ни смысла, ни цели. Только актуальные интересы. Но на пути ее следования существуют такие иллюзорные полустанки надежды, разъезды веры, станции любви, которые приходится вам более всего по душе. Туда и устремляйтесь.

Мне, например, для этого подходит поезд «Афанасий Никитин». Он отправляется из Москвы в Петербург по ночам, и я совсем не прочь, если за пять минут до отхода полупустое купе оккупирует влетевшая на рысях супружеская пара, состоящая из бывшей гимнастки и бывшего хоккеиста. Она взволнованна, кипуча, горяча. Он – молчун, отдавший последние силы финишному спурту с вещами от такси до вагона.

Разместились. Отдышались.

И теперь уже гимнастка от Клина до Твери рассказывает о причинах того, почему они чуть ни опоздали на поезд.

Были на похоронах. Еле ноги унесли.

— А кого хоронили?

— Большого человека. Нового русского.

Далее по существу.

Черные иномарки съехались на кладбище со всей Москвы, как на стоянку перед Госдумой. Волны цветов. По ним к могиле поплыли венки, венки, венки, перевитые красными лентами с выпуклым золотом клятв помнить вечно и мстить беспощадно.

Траур каменный. Тишина – не дыхни.

Все братки – качки как на подбор – в длиннополых коверкотовых пальто. Все баски в одинаковых норковых шубах до пят с пробитыми алмазом ноздрями, пахучие, как флаконы. И – дождь! Меха намокли, отяжелели, висят косицами, тянут вниз.

В золотом нагруднике ризы перепуганный батюшка суетится с дымящимся кадилом.

И все – молчат.

Безмолвие, как в могиле.

Только кадило позвякивает серебряной цепочкой, обмахивая и окуривая свежий холмик под временным кипарисовым крестом.

Здесь будет воздвигнут Мавзолей.

Из черного мрамора. Как на Сицилии.

Спрашиваю:

- А почему все молчат? Неужели от скорби?
- Да что вы! (*Переходя на шепот*). Боятся.
- Кого?
- Друг друга. Друг друга боятся, как огня. Не дай Бог чего-нибудь лишнего ляпнуть – туда же и ляжешь.

Утром уже на подъезде к Питеру супруги спорят о том, как лечить оставшегося в Москве сына, тоже спортсмена: дома или амбулаторно? Что за лекарства прописать? Простыл на тренировке. Мне интересно, какой вид спорта мог родиться в браке гимнастики с хоккеем. Слово берет мать, по инерции продолжая качаться на фармацевтическом батуте. Отец просит не углубляться в латынь. Мать обещает, но тут же тонет в новых рецептурных комбинациях. Она не сомневается, что когда-нибудь ее обязательно подбросит к основной теме.

- Короче, он – яхтсмен! – не выдерживает отец.

Предсказать ответ было совершенно невозможно: при чем тут яхтсмен? Однако, смотрите, как естественно всё объясняется, когда ответ знаешь: от мамы малыш унаследовал ловкость, необходимую для владения парусом, а от папы – умение скользить галсами.

## 2

Когда после долгой разлуки выходишь на Невский проспект на самой его половинке, а лучше сказать в самом начале того луча, что устремляется к Неве, какая-то беспричинная радость охватывает тебя при виде этой улицы – красавицы нашей северной столицы! И если извозчищи дрожки окружают тебя дружно со всех сторон и возницы станут наперебой предлагать докатить за гривенник хоть до Миллионной, ты только отмахнешься от их докучливых услуг – а, ну, их! «К черту дрожки! Прочь извозчиков! Пойду пешком». Найдется ли в целом свете прогулка приятнее, чем утренний моцион по Невскому проспекту?

Говорят, что весь Петербург теперь трясет какая-то меркантильная лихорадка. Всё скупается и перепродается.

Недвижимость своим ходом перемещается с Литейного на Морскую, с Васильевского на Гороховую. Всюду ремонты, растворяющие без остатка благороднейшим образом нажитые барыши. Человек, ранее предававшийся греху осуждения всяких общественных безобразий от французской диеты до русского обжорства, теперь сам чередует постные пятницы с переяданием по субботам и уже подвергается осуждению тех, кому еще предстоит вкусить всю сладость чревоугодия.

Слава Богу, Петербург не пострадал от нашествия Наполеона, горожане не спалили город, как москвичи Москву, выкуривая из Кремля кошмарного корсиканца, и столица, широко шагнув через Неву, разрослась настолько, что окрестные деревни сделались окраинами, и новые окраины так отделились от центра, что с них до Невского и не добраться. Знакомый петербуржец, большой путешественник, забравшийся с семьей невесть за какую окраину, на вопрос: «Как часто ты бываешь на Невском?» – отвечал: «Реже, чем в Москве». Реже! А в Москве он бывает не каждый год...

Конечно, Невский предназначен для гуляний. Для них его и строили пленные шведы. Но всякое ли гуляние устоит против здешнего климата? Когда балтийский ветер без малейшего почтения срывает с мужчин их блестящие цилиндры и катит по тротуару, а упитанные господа вынуждены семенить за своими уборами, приседая, но ухватывая рукою лишь пустой воздух, как не хочется аборигену вытаскивать из-под жаркого верблюжьего одеяла затекшую за ночь ногу и думать, думать, во что бы ему сегодня обрядиться во имя своего регулярного променада. Он и не думает. В дождь и холод даже Невский кажется неуютным, даже он не влечет к себе никого, кроме приезжих, не располагающих временем на ожидание погоды у капризного моря.

Но морской климат переменчив. Глядишь, и небо очистилось от облаков, и уже осчастливило тебя прятавшееся

солнце, и никаких помех пешеходу ничто не чинит. Тогда половина Петербурга стремится на Невский проспект, но не разом, дабы не будоражить полицмейстера и его воинство таким подозрительным многолюдием, а согласно расписанию, сложившемуся как-то само собой, естественно, без указаний градоначальника.

Бездомные старухи в изодранных платьях и салопах уже совершили с утра наезды на церкви и сострадательных прохожих.

А вот коммерсанты в длинных ночных рубашках голландского ткачества еще только намылили толстую щетину щеки и, забыв добрить ее и смыть клочки оставшейся пены, пьют с кусочком сахара вприкуску дымящийся кофий, доставленный им из Мюнхена прямо к завтраку знакомой модисткой.

Нищие не решились войти в дверь угловой кондитерской и робко топчутся возле, пока ганимед с метлой ни выкинет им за порог черствых пирогов от вчерашнего пира.

Глядя на Екатерининский канал, никогда не поймешь, какая в нем вода: стоячая или проточная? А если проточная, то в какую сторону она течет: к Казанскому собору или наоборот? Известно только, что она чистая, и потому русский мужик без опаски моет в ней заляпанную известкой сапоги, уверенный, что от такого мытья сапогам ничего не будет. Мокрой пятерней он размажет, развезет известь по всему голенищу, и вроде чище стало. Во всяком случае чернота сапога как-то поседела. А вода не испачкалась? А что – вода? Чай, не форелей ловить... Считается, что в это время дамам неприлично подходить к Екатерининскому каналу. Отмывая сапог, мужик может беседовать с ним на языке, не предназначенном для женских ушей. Особенно, если уколется гвоздиком, проколовшим подошву изнутри, или упустит сапог в канал.

Об эту пору, по наблюдению Николая Васильевича – молодого чиновника, оставившего, впрочем, службу и ушедшего на вольные хлеба, пересылаемые ему из

деревни матушкой Марией Ивановной – полтавской помещицей, так вот: об эту пору (до 12 часов дня) Невский служит одним лишь средством простому народу для его повседневных нужд, как-то: попобираться, поразжиться вчерашними пирогами, поотмывать испачканную на стройке обувь, поговорить про медные деньги с теми, у кого их нет, или хоть и с самим собой, но вслух и с выразительными жестами. Проспект здесь вообще не фигурирует. Его как будто и нет. До полдня никто, кроме приезжего москвича, не любит Невским проспектом. Все ходят по нему взад-назад, взад-назад, как по какой-то обыкновенной дороге, что-то бормоча, поглощенные своими заботами.

Но в полдень всё меняется. Решительно всё.

Гувернеры и гувернантки под руку с воспитанниками устраивают на Невском настоящий парад педагогики. Место старух в салопах и нищих занимают английские Джонсы и французские Коки, а вместо нечесанного ганимеда выступают питомцы и питомицы англо-французской цивилизации в отутюженных батистовых воротничках. Тротуары гудят от стука шагов. Идут дети и наставники. Всё их внимание обращено на Невский. Джонсы и Коки объясняют детям предназначение тех или иных магазинов в соответствии с вывесками, посредством которых можно издали узнать содержание самих магазинов, не заходя в них, что устраняет неудобства и обеспечивает комфорт. Девочки вертятся и строят мины. Коки приказывают им не перекашиваться, держаться прямее, ровнять строй.

Вслед за парадом педагогики начинается парад родителей, свободных от педагогических и воспитательных тягот. Дело родителей родить. А воспитывают пускай учителя. Под родителями имеются в виду исключительно отцы. Только отцы. Но у каждого отца есть своя нежная, томная и утонченная подруга с прекрасным овалом плеч, с легкой ножкой, невесомо ступающей по плитам. Именно так: подруга, невесомое создание. Мать она для ребенка. Но ребенка-то нет. Он ушел далеко вперед в окружении

обучающих и воспитующих педагогов. Рядом – друг (муж), значит она – его подруга.

А теперь и не обремененные службой почтенные господа присоединяются к гулянию. Они уже посоветовались с домашним доктором по поводу некоторых геронтологических казусов, справились о здоровье своих деток и скакунов, и прежде, чем выйти подышать, узнали из газеты свежие новости о приезжающих и отъезжающих, подивившись оригинальности некоторых фамилий, как-то: чиновник из Санкт-Петербурга господин Хлестаков (с секретным предписанием), помещик Ноздрев, коллежский асессор Павел Иванович Чичиков, помещица Коробочка...

Почтенных господ, лишенных удовольствия служить, сменяют люди завидной судьбы – начальники департаментов и канцелярий, по цвету бакенбард разделяющиеся на «черные баки» и «рыжие баки». Черные принадлежат несколько чопорным чиновникам иностранной коллегии – честолюбивым дипломатам, рыжие – всем остальным.

За бакенбардами гарцует целый усатый цуг, словно шестерка призовых рысаков с форейтором и выездными гусарами. Усачи на Невском являют чудеса своей мужской гордости – усы. Как хотите, но эти творения растительного мира достойны того внимания, которое им оказывают их посессоры! Вот усы, требующие для ухода за собой половину жизни; вот усы, вызывающие всеобщее восхищение и зависть; усы, умасленные самыми редчайшими маслами; усы, напомаженные самыми дорогими сортами помад; усы, услаждающие обоняние самыми невероятными композициями ароматов; наконец, усы столь драгоценные, что заворачиваются на ночь веленовою бумагою, специально выписываемой из Венеции...

А за цугом – вдруг! – взметнется в воздух море мотыльков – шляпок, платьев, платков, словно поднятых разом со взвихренных ветром стеблей. Какие узейшие талии! Какие пышные плечи! Сколько выдумки в нарядах! Что за прелестная гармония природы и дамского вкуса! А рукава,

рукава!.. Это не рукава, а два воздухоплавательных шара, которые без сомнения подняли бы даму в воздух, если бы мужчина, покачивая, ни удерживал ее на весу, ни за что на свете не выпуская из рук!

На Невском все улыбаются друг другу. Гамма улыбок. От самой невинной до самой искушенной. И даже саркастической...

В три часа Невский зеленеет, покрываясь мундирами чиновничьей братии, завершившей трудовой день в присутствиях и, глотая голодную слюну, спешащей по домашним углам своим.

Обед.

Невский пуст.

Разве что пересечет его швея с картонной коробкою или какой-нибудь приезжий чужак из другого города и века, которому все часы равны и всё равно, в какой из них любоваться городом, за множество дворцов и обилие вод получившим имя: Северная Венеция.

А тем временем незаметно свернет за угол пущенная по миру жертва безбожного ростовщичества, и решая, куда ему идти, остановится в задумчивости посреди тротуара артельщик – русский человек в демикотоновом сюртуке. Но что – сюртук? Не в сюртуке дело. Не сюртук его шит на живую нитку, а на живую нитку смётана вся его жизнь, как будто он не живет, а только собирается жить, только примеривается к жизни, готовый в любой момент всё бросить и начать с начала, так и не доведя ничего до конца.

Но вот уже сумерки опускаются на Невский проспект, и будошник, накрывшись корявой рогожею, лезет по стремянке зажигать фонари...

### 3

Человека XXI столетия не удивить путешествиями в пространстве, но путешествия во времени требуют совсем иных навыков, иной предварительной подготовки. И тем не менее выбрать время по душе позволено не только

игре воображения, когда вы прогуливаетесь по Невскому проспекту под руку с Гоголем. Оказаться в своей любимой эпохе до некоторой степени можно и наяву. Тому способствуют сохранные особенности ландшафта, архитектура, гидро- и топонимика.

Представим теперь наоборот, что вы – человек первой трети XIX века – перенеслись на двести лет вперед и очутились вместе с нами в первой трети века XXI-го. Так ли неузнаваемы покажутся вам знакомые места?

На своем месте Балтийское море. Не весь строевой корабельный лес по берегам Финского залива вырублен под корень; не все сосновые боры превращены в сухостой и завалены кучами мусора в ожидании финских волонтеров. Никуда не делась река Нева, она даже не повернута вспять и по-прежнему впадает в Балтику, а не в Ладожское озеро. А вот и Безымянный ерик – знаменитая Фонтанка, вытекающая из Невы и, сделав хорошую петлю, снова впадающая в то же русло, но уже ближе к дельте. По-прежнему вытекает из Фонтанки признательная должника-Мойка, возвращая Неве толику заимствованной у нее (от Фонтанки) влаги, но течет в Неву не сама – напрямую, а через Зимнюю канавку, связующую ее с Невой. А Зимняя канавка – это чудо. Она прорыта между Старым и Новым Эрмитажами, то есть фактически служит природным экспонатом Зимнего дворца, экспонатом под открытым небом и под переходом-фойе из дворцовых помещений в Эрмитажный театр. Когда идешь по ее короткой набережной, тем паче плывешь, то ощущаешь себя на дне ущелья, но не горного, а эрмитажного, населенного не духами земных вершин, а духами вершин вселенской культуры, не вместившимися во дворцовые покои справа и слева от вас. Их присутствие делает это полузамкнутое пространство на редкость уплотненным, исполненным какого-то таинственного значения и восторга. Как будто здесь вас пронизывают токи искусства всех времен. А Канавка подныривает под Эрмитажный мостик, выплывая на простор Невы

и, оглянувшись, вы с радостным изумлением видите тот же самый Зимний дворец, которым имели удовольствие любоваться лет двести тому назад в правление императора Александра Павловича. За спиной у вас золоченый шпиль Петропавловской крепости, впереди по течению слева на другом берегу шпиль Адмиралтейства. Поблизости от него берет начало Невский проспект. Всё так же величествен Александрыйский столп посреди Дворцовой площади. Всё те же десять Атлантов-близнецов (материнский подвиг океаниды Климены) держат над собой, но не свод небес, а лишь портик Нового Эрмитажа, что не умаляет тяжести их труда, пусть и не такого значимого для жителей Земли. А мимо Атлантов по Миллионной улице изредка проезжают, хоть и маскарадные, но кареты, запряженные парами лошадей. Они сворачивают вправо, совсем по-игрушечному переваливая через горбатый мостик, и нарушают пустынную тишину белой ночи эхом цокающих подков, точно так же, как в ту пору, когда было сказано: «Да дрожек отдаленный стук // С Мильонной раздавался вдруг...»

Впрочем, как бы усердно реальность ни старалась сохранять былое и позволить нам идиллически воспринимать самый европейский город России, сделать это не легко, если не отвлекаться от его нынешнего состояния и народонаселения. Подверженный превращениям, Гений места все-таки изменяется не так неудержимо как Гений времени, а ведь душа Петербурга, как и любого исторического города, складывается из этих двух взаимных метаморфоз. Если считать, что личность формируется по крайней мере до совершеннолетия (а то и всю жизнь), то старых петербуржцев просто физически уже нет на свете. Но скоро не останется и старых ленинградцев. А с кем же тогда жить великому городу? С нуворишами? С постсоветскими комбинаторами? С мигрантами дважды на одном пространстве распавшихся империй? Чем развеять уныние бессолнечных декабрьских дней, пронизанных мокрым ветром с моря, осыпанных замерзающим налету дождем?

Как утомителен Питер зимой в декабре!  
 Грузное небо. Понурая тьма на дворе.  
 Слякоть и непогодь. Хмурая, злая пора.  
 В спину проспектам промозглые дуют ветра.  
 Чин в иномарке промчал, обдавая толпу.  
 Голубь – упорный вертун добирает крупу.  
 Рваные сети полощутся вдоль этажей.  
 Всюду – ремонт, отмывающий грязь грабежей.

Хочется солнца, но солнца как раз и ни-ни.  
 Как утомителен Питер в декабрьские дни!  
 Хочется света, но света как раз и в обрез.  
 В сумраке зимнем по свету обмер и обвес.  
 Тихие храмы молитвенных полны дремот,  
 Только и там – в образах – подвизался ремонт;  
 Там, где успенье колхозной капусты отпел  
 Туз-фарисей, оплатив золотой новодел.

Как утомителен Питер осенней зимой!  
 Нервные «пробки» надсадно гудят на Сенной.  
 Невский стоит. Ну, и что? Не велик господин.  
 Стынет Фонтанка – положенный набор графин.  
 Между дворцами, чьи грани прекрасно легки,  
 Брани плебейской на ворота виснут плевки.  
 Город царей, раздавил тебя твой небосвод –  
 Вот и тоска твою грешную душу сосет.

Сыплет метелица бисерной крупкой соря...  
 Как утомителен Питер среди декабря!  
 Впору бы скорби предаться за все и за всех,  
 Глядя на павший, размешанный шинами снег,  
 Если б не верить, что глупое сердце тревог  
 Благословит в нас и этот декабрьский денек,  
 Ибо тоска ли, печаль – как их ни назови –  
 Вечные тени, бессменные сестры любви.

## 4

И все же на декабре с его хмарью и мешаниной из дождя и снега свет клином не сошелся. Есть еще Первое января! Есть дневной поезд «Юность» (Москва – Петербург), а в купе – молодая, взволнованная женщина с восьмилетним сыном – помыкающим ею увальнем.

У них обед.

Родион уминает за обе щеки всё, что мать собрала в дорогу, и, на время утолив в себе дракона, обращает внимание на соседей: *тётенку* и *дядьку*.

*Тётенка* смотрит ласково, говорит приветливо, а *дядька* сердитый и молчит.

*Тётенка* улыбается, предлагает влажные салфетки («Пальчики вытереть»), а *дядька* отвернулся и в окошко смотрит.

На *тётенке* красивое зеленое платье с широким кружевным воротником; тоненькое запястье обнято узорной манжеткой. А *дядька* напялил спортивный костюм. Черный. И – сидит.

У *тётенки* маникюрный наборчик, там всё: ножнички, щипчики, пилочки, кусачки... А у *дядьки* – ничего нет.

- Мамаша, подсади меня на верхнюю полку.
- Куда ты, сыночек? Посиди с нами внизу.
- Подсади, я сказал.
- Зачем тебе наверх? Там дует. И трясет сильнеей.
- Ма-ма-ша!..
- Сейчас-сейчас..

Подхватывает его под толстую попку и взваливает наверх.

Он лежит, как куль.

Воспользовавшись затишьем, мать рассказывает *тётенке* о том, что они были в Москве на каникулах, а сами из Питера. У них там бабушка, и что бабушка такая хорошая, такая хорошая, так их любит, что если бы ни бабушка, вообще не понятно, как жить. Хоть на стенку лезь. А сейчас они возвращаются домой.

— Ну, и кому это интересно: где мы были, куда едем, какая у меня бабушка? – урезонивает сверху Родион.

— Ой, вы не поверите, как он мне трудно достался; если бы вы знали, как трудно...

Предотвращая возможные откровения, Родя увещевает мать:

— Ты еще расскажи, как ты меня рожала. Все свои приключения.

— Не буду, не буду.

Через пять минут:

— Мамаша, я в тоске.

— Что случилось, сынок? Ты переел?

— Я в тоске!

— Хочешь салатику?

— Не хочу... А он мясной?

— Вегетарианский. Батюшка, отец Некторин сейчас мясное не благословляет. Рождественский пост. Потерпи. Дождемся Рождества, тогда можно. Недолго осталось.

— Не хочу... А с чем салат? С майонезом или со сметаной?

— Со сметанкой.

— Не хочу... А ты его солила?

— Солила.

— А не пересолила?

— Самый раз.

— Все равно не хочу...

Он и, правда, не хочет. Эта еда от безделья. Надо же чем-то себя занять.

Есть не хочется, а заняться нечем. Вот и снова уточнение:

— А много у нас салата?

— Много. Целое корытце.

— Ну, ладно. Так и быть. Давай.

Родион погружается в непомерную для ребенка порцию, оглашая тишину аппетитным чавканьем. Он не спеша оприходывает всю банную шайку салата и спускает пустое корытце матери. На дне – две чайных ложки остатка.

— Сыночек, можно я доем? – просительно спрашивает мать.

Родя обдумывает вопрос и с выражением сытого великодушия разрешает:

— Доедай.

А *тётя* заснула?

— Заснула.

— (*Себе под нос*). А *дядька* не спит.

Мамаша, спусти меня. Мне тут дует. Скажи проводнице, чтоб кондиционер выключила.

— Ну, вот... Я же предупреждала, что там дует.

— А еще о чем ты предупреждала? – спрашивает Родион чисто риторически, не без иронии. Никакого ответа его вопрос не предполагает, но мать отвечает с готовностью:

— Что трясет...

Сын поражен материнской наивностью, но от реакции воздерживается.

Учитывая, что спящая *тётя* выпала из беседы, наконец, и *дядька* проявляет признаки коммуникабельности и скрашивает случайному попутчику его дорожную скуку. Он учит Родиона, как из слова «простокваша» сделать слово «потасовка» и еще сорок других. Это – интересно. Даже очень. Родион острым умом быстро схватывает новую науку. Он чувствует себя в долгу. Его душа требует ответить благодарностью, но он не знает – какой.

— Мамаша, достань фотоаппарат, который ты мне на Новый год подарила.

— Я не помню, где он лежит.

— В чемодане.

— Мне надо весь чемодан перерыть, чтобы его найти.

— Ма-ма-ша!..

— Ну, скажи, сынок, зачем тебе сейчас фотоаппарат понадобился? Мы уже подъезжаем. Ты – что? Фотографировать собрался?

И тут Родион произносит историческую по смене отношения фразу:

— Я хочу *дяденьке* показать.

Бабушка встречает дочку с внуком на Московском вокзале, и они – счастливые – исчезают в вечерних огнях.

Идет чистейший снегопад. Он опускает прохожих, убеляет дома, декорирует решетку Михайловского парка. Кажется, что он способен смягчать нравы. Возвращать силы. Одушевлять. Кажется, что это с его ведома из поднебесья, как на синеву альпийских озер, кружа, опускается на сцену Эрмитажного театра белая пена лебедей.

Полукруглый амфитеатр зала полон. Оркестровой ямы нет. Оркестранты расположились на паркете между партером и этой домашней сценой Зимнего дворца. Всё близко. Всех видно. Мало сказать, что солистам узко. Кордебалету просто тесно. Зигфрид под музыку меняет позы на пяточке сцены, не сходя с места. Танцуют руки от локтя до кистей, тогда как обтянутым лосинами ногам развернуться уже почти негде. Отведенного им пространства хватает лишь на мелкий «дриблинг». Одета не в состоянии пленить взоры ничем, кроме своей худобы. На маленьких лебедей лучше не смотреть даже в слабосильный театральный биноклик с его увеличением шесть крат. У малышей личики дотанцевавших до пенсии карлиц. Но оркестр – в ударе! Все струнные, все духовые, а не только литавры и барабан. Особенно эксцентрична первая скрипка. Ее неумный пыл позволяет ей одновременно вести свою партию, бросать преданные взгляды на дирижера и азартно перемигиваться с половиной доступных ее обзору мужчин-оркестрантов. Но ничто: ни размеры сцены, ни имитация балетных па уходящими на покой труженицами Терпсихоры, ни эротический разогрев трубачей, ведомых зажигательной скрипкою прямо в огонь Гиенны, – ничто на свете не в силах побороть торжествующую мощь партитуры! Кто из художников способен предвосхитить будущность искусства, чтобы остаться в нем? Забвению предаются все. И только самым счастливым позволено

закрепиться в разряде старых мастеров; тех, кто достиг вершин искусства и на излете жизни мог сказать: я услышал обращенный ко мне неведомый зов; воплотил дарованное; совершил всё, к чему предназначила меня природа. И Чайковский услышал, воплотил, совершил. Талантом, настойчивостью, трудом он разомкнул себя и выпустил на волю стаи мелодических птиц, ниспосланных душе его свыше.

Опекавшая его Надежда Филаретовна фон Мекк не понимала, как он это делает, но у нее была исключительная привилегия адресовать свое счастливое недоумение самому автору и получить ответ из первых уст. В июне 1878 года она попросила Петра Ильича: «...расскажите мне, пожалуйста, дорогой друг мой, как это вы сочиняете; меня ужасно интересует процесс творчества»<sup>1</sup>.

Через два дня Чайковский ответил подробным письмом с изложением наблюдений над собственной творческой алхимией. От художника такие признания требуют больших усилий: и потому, что сам он не исследователь, а творец; и потому, что исследовать самого себя, свои ощущения – вещь сугубо деликатная; и потому, что для автора собственно работа несравнимо приоритетней любых рассуждений о работе; к тому же всегда есть опасения, что доискиванием природы вдохновения отпугнешь от себя само вдохновение. Еще неизвестно, как отнесется оно к тому, что за ним следят, что его мысленно препарируют. Обратите внимание: чем крупней художник, тем реже высказывается он об искусстве. На это есть другие люди. Тем более ценно письмо Чайковского, что оно – редкость: гений рассказывает о том, как он трудится. И хотя речь в письме идет о сочинении музыки, выраженное в нем относится к любому жанру художественного творчества.

<sup>1</sup> П. И. Чайковский. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. В 3 т. Т. 1. М., 2016. С. 399.

## 5

Чайковский – фон Мекк. Каменка, 24 июня 1878 г.

«Получил Ваше письмо, дорогая Надежда Филаретовна, и спешу ответить на него. Вы хотите знать процесс моего сочинения? Знаете ли, друг мой, что на это отвечать обстоятельно довольно трудно, ибо до крайности разнообразны обстоятельства, среди которых появляется на свет то или другое сочинение. Но я постараюсь все-таки рассказать Вам в общих чертах, как я работаю.»

А мы постараемся в общих чертах отчасти процитировать (по указанному выше изданию: с. 400–405), отчасти пересказать и прокомментировать письмо Чайковского.

Во-первых, композитор подразделяет свои опусы на два вида:

«1) Сочинения, которые я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности.

2) Сочинения, которые я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя, по заказу...»

Тут же автор «спешит оговориться», чтобы читательница не сделала из сказанного неверное предположение.

«Я уже по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок к ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной, и, наоборот, вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок к ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной, и, наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств, удавалась менее. Эти побочные обстоятельства, от которых зависит то состояние духа, в котором пишется сочинение, имеют громадное значение. *Для артиста в момент творчества необходимо полное спокойствие* (здесь и далее все курсивы мои. – А. С.).»

На необходимость душевного покоя для успешной работы обращал внимание и Лев Толстой. Распространенное мнение о том, что творчество связано с аффектом

и происходит в состоянии крайнего возбуждения не верно. Но «спокойствие», о котором пишет Чайковский, совершенно особого рода. Это не благодущие произвольно рассеянных мыслей, а чрезвычайное сосредоточение на предмете своего внимания. «Аффект» может быть до того – пока вы мучаетесь в поиске предмета, по предчувствию представляющего для вас необыкновенный интерес. Но как только он найден, возникает не расслабляющий, а наоборот мобилизующий вас покой.

«В этом смысле, – продолжает Чайковский, – художественное творчество *всегда объективно*».

Еще одно парадоксальное утверждение. Считается, что объективно творчество научное, а художественное как раз всегда субъективно. Нет. Даже по результату – не всегда! А по рабочему состоянию оно точно объективно. Ему тоже необходима трезвость, ясность, покой.

«Те, которые думают, что творящий художник в минуты аффектов способен <...> выразить то, что он чувствует, ошибаются. И печальные и радостные чувства выражаются всегда, так сказать, *ретроспективно*. Не имея особенных причин радоваться, я могу проникнуться веселым творческим настроением и, наоборот, среди счастливой обстановки произвести вещь, проникнутую самыми мрачными и безнадежными ощущениями. Словом, артист живет *двойною жизнью*: общечеловеческою и артистическою, причем обе эти жизни текут иногда не вместе.»

Здесь надо различать две стадии одного и того же переживания (аффекта). Вначале сильное чувство переживается в «общечеловеческой жизни», когда степень экзальтации зависит от вашего темперамента, от вашей чувствительности и может прорываться наружу. А потом, часто спустя многие годы, то же чувство переживается глубоко внутри себя, артистически – в воспоминании, обогащенном всем жизненным опытом, накопленным между этими двумя всплесками. И тогда такое – артистическое – переживание может никак не соответствовать

тому душевному состоянию, на которое оно пришлось именно сейчас: вы печалитесь, когда у вас нет, кажется, к этому никаких поводов; вы радуетесь, а человек со стороны недоумевает – чему? А печалитесь или радуетесь вы не под влиянием внешних обстоятельств текущей жизни, а под влиянием настроений жизни внутренней; под влиянием того, что произошло, может быть, год назад, а может и десять лет, а, может быть, вообще не с вами и во времена фараонов. Это соответствует нашему наблюдению: *...и ты не знаешь, совпадет ли твое художественное настроение с реальными обстоятельствами жизни или окажется им противоположным, точно так же, как художественное пространство не совпадает с реальным.* (См. стр. 61, 62 настоящего издания). И вот таким творческим аффектам экзальтация только вредит. Она расплескивает энергию, которую требуется собрать воедино, а для этого необходимо спокойное сосредоточение.

Далее Чайковский возвращается к делению сочинений на два типа: инициированных самим автором и сделанных на заказ, но рассматривает их не с позиции удач или провалов, а с позиции затрачиваемых усилий.

«Для сочинений, принадлежащих к первому разряду (авторский порыв. – А. С.), *не требуется никакого, хотя бы малейшего усилия воли.* (Сравните со стр. 61 *...нельзя вызвать усилием воли.* – А. С.). Остается повиноваться внутреннему голосу, и если первая из двух жизней не подавляет своими грустными случайностями вторую, художественную, то работа идет с совершенно непостижимой *легкостью* (поскольку все совершается как бы само, помимо автора. – А. С.). Забываешь все, душа трепещет от какого-то совершенно непостижимого и невыразимо сладкого *волнения* (созидательного, а не разрушительного. – А. С.), решительно не успеваешь следовать за ее *порывом куда-то, время проходит буквально незаметно.* В этом состоянии есть что-то *сомнамбулическое...* Рассказать Вам эти минуты нет никакой возможности. То, что выходит из

пера или просто укладывается в голове (ибо очень часто подобные минуты являются *в такой обстановке, когда писать и думать нечего* (то есть для работы нет никаких условий. – А. С.)), в этом состоянии всегда хорошо...»

Обратим внимание на несколько моментов, отмеченных Чайковским.

Душу созидающую влечет *куда-то*. Она не знает откуда взялся ее *порыв* и куда он устремлен. Это очень важно. Ни художественное, ни научное открытие невозможно, если вы знаете заранее к чему стремитесь. Гений попадает в цель, которую не видит никто, в том числе и он сам. И это еще один «Чайковский-резонанс», усиливающий наш собственный опыт: *Чистому творчеству не предшествует никакое целеполагание. Ты не знаешь, где твой старт и где финиш*, стр. 60.

И то же недоумение по поводу незаметности ушедшего за работой времени (*...смотришь на часы: 9.15, а потом поднимаешь голову от листа, и на часах уже 17.50...*», стр. 61.).

И то же «состояние подобное сомнамбулическому», без которого невозможен переход из пространства жизненной реальности в пространство реальности художественной. Но если переход совершен, если *порыв куда-то* подхватил тебя, как Ветер-афганец, и гонит над пустыней, то никакое столпотворение в вагоне московского метро не сможет уже остановить твой полет. Он абсолютно неуправляем. Другое дело, что твоя погибель – пересадки. Ты просто не в состоянии на них сосредоточиться и кружишь по лестницам, как заведенный.

«Для сочинения второго разряда (пишущегося по заказу. – А. С.) иногда приходится себя настраивать. Тут весьма часто приходится побеждать лень, не охоту. Затем бывают различные случайности. Иногда победа достается легко. Иногда вдохновение ускользает, не дается. Но я считаю долгом для артиста никогда не поддаваться, ибо лень очень сильна в людях. Нет ничего хуже для артиста, как поддаваться ей. Ждать нельзя. Вдохновение это такая

гостя, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем, которые призывают ее. <...> Русский человек любит отложить; он по природе талантлив, но и по природе же страдает недостатком силы воли над собой и отсутствием выдержки» (тогда как «недостаток» силы воли над своим вдохновением – большое достоинство. – А. С.).

Здесь нельзя путать две «силы воли»: одну – плодотворную – прогоняющую лень; превращающую черновик в черканное-перечерканное чернильное месиво; вырабатывающую в тебе перфекциониста, не способного на уступки качеству труда; и «силу воли» – губительную – мучающую вдохновение, бесплодно ломающую перья в упрямом желании настоять на своем.

Маяковский сказал о Хлебникова: «...его голова работала круглые сутки только над поэзией»<sup>1</sup>. Это отличает профессионала. Работа для него – не эпизодическое развлечение, а постоянное состояние ума и души. Календарь профессионала не знает, что такое пятидневная рабочая неделя, праздничные дни, летний отпуск, Рождественские каникулы...

«Иногда я с любопытством наблюдаю за той *непрерывной работой*, которая сама собой, независимо от предмета разговора, который я веду, от людей, с которыми нахожусь, происходит в той области головы моей, которая отдана музыке, – пишет Чайковский своему адресату. – Иногда это бывает какая-то подготовительная работа... а в другой раз является совершенно новая, самостоятельная музыкальная мысль, и стараешься удержать ее в памяти. <...> Этот период работы, т.е. скицирование<sup>2</sup>, чрезвычайно приятен, интересен, подчас доставляет совершенно неописанные наслаждения, но вместе с тем сопровождается беспокойством, какою-то нервной возбужденностью. Сон при этом плох, про еду иногда вовсе забываешь. Зато приведение проекта в исполнение совершается очень мир-

<sup>1</sup> В. В. Маяковский. Сочинения в одном томе. М., 1941. С. 506.

<sup>2</sup> Набрасывание первоначального эскиза.

но и покойно. Инструментировать уже вполне созревшее и в голове до мельчайших подробностей отделанное сочинение очень весело.»

Для композитора, работающего со словом, ясно, что «никогда слова не могут быть написаны после музыки, ибо как только музыка пишется на текст, то этот текст вызывает подходящее музыкальное выражение. Можно, конечно, приделать или подогнать слова к маленькой мелодии<sup>1</sup>, но как только сочинение серьезное, то уже такого рода подборание слов немыслимо».

И заключительный аккорд самонаблюдений: «Итак, я теперь разъяснил Вам, что я пишу или по внутреннему побуждению, окрыляемый высшей и не поддающейся анализу силой вдохновения, или же просто работаю, призывая эту силу, которая или является или не является на зов... <...> Откуда это является, – непроницаемая тайна... Вся штука в таланте.»

Тайна не раскрыта до сих пор и, дай Бог, не будет раскрыта никогда. Творческий процесс поддается наблюдению, но не допускает препарирования. Можно говорить о свойствах вдохновения, но напрасно допытываться, откуда оно берется, вторгаться в его природу, которую за неимением иного определения мы называем Божественной.

## 6

Выходим из Эрмитажного театра на Дворцовую.

Снегопад кончился, и редкие снежинки выются в лучах подземных ламп, освещающих Зимний длинными столбами восходящего света. Они бьют сквозь вмурованные в землю круглые иллюминаторы толстого стекла.

Здесь от Невы к Миллионной – через весь дворец – в сопровождении полицмейстера Истомина спешили на

<sup>1</sup> Подобный удачный опыт принадлежит поэту Виктору Лунину, создавшему цикл стихотворений на музыку к «Детскому альбому»: *Петр Ильич Чайковский. Детский альбом. Стихи Виктора Лунина.* СПб., 2010.

прием к императору профессор Цветаев и архитектор Клейн с макетом Музея изящных искусств.

Здесь, на площади, томительно и меланхолично пел нам когда-то осенний саксофон – один, солирующий в тишине забывшегося сном города. Где тот Петербург, что видел зеленые виц-мундиры ассессоров, заполнявших по выходе из присутствий просторы Невского проспекта? А тот, что помнил дворцовые маскарады церемониймейстера Двора графа Толстого? А тот, что менял сюртуки на кожанки, кожанки на шинели, шинели на фартовые пиджаки?.. Этих петербургов больше нет. Пиры их кончены, раскрышен поминальный хлеб, оплывшие свечи догорают... Но пока редкие фитильки теплятся в нашей памяти, пиршества все-таки длятся, пусть не наяву, а в том идиллическом пространстве свободы, в котором преображается реальность, останавливается время, а зов саксофона от подножья Александровского столпа поднимается к небу так, что кажется это поет уже не оставшийся далеко внизу музыкант, а сам увенчанный Ангелом столп, и его чистая нота продолжает звучать над площадью, статуями на кровле дворца, над Атлантами и Зимней канавкой, над пустынной Миллионной, пока ни затихнет в глубинах памяти.

Одень себя серебряным дождем,  
Фольгою с ёлки волосы опутай.  
Весь год мы провели с тобой вдвоем,  
Он был одной короткою минутой.  
Пока куранты медленные бьют,  
Представь канавку Зимнюю под аркой,  
Как хлопал пробкой пенящийся брют,  
Пугая мотылька над свечкой жаркой.

Где мы, зима свободна ото льда,  
И все на свете радостью согрето,  
Светла живая, теплая вода,  
А льды гуляют в отдаленье где-то.

Где мы, там шпили тонкие остры,  
 Там город тих, нам не слышна его речь,  
 И, глядя на осенние костры,  
 Мы забываем про земную горечь.

Пускай же дождь стекает серебром  
 Тебе на руки, волосы и плечи,  
 А мы сумеем помянуть добром  
 Счастливое смятенье каждой встречи.  
 Поскрипыванье ряженных карет,  
 И цоканье подков по Миллионной  
 Откликнутся и не сойдут на нет  
 В душе твоей по-детски изумленной.

## 7

У *тётенки* Лены в Москве были две молодые подружки-итальянки: римлянка Диана и венецианка Сара. Обе свободно говорили по-русски. Особенно Диана, владевшая и литературной речью, и бытовой. Она работала в представительстве фирмы по производству вертолетов, а фирма снимала ей просторную квартиру над Москвой-рекой, напротив Парка Горького. Как темпераментная южанка, Диана испытывала всю гамму чувств к стране временного пребывания: от восхищения до возмущения. Она наслаждалась разнообразием и насыщенностью московской жизни, своей независимостью от родителей, условиями контракта, а возмущалась «пробками» на дорогах, русским холодом и главное – отсутствием солнца.

— Леночка, я просто погибаю! Я не могу жить без солнца ни одного денька. А здесь его не бывает месяцами. У меня депрессия. Что мне делать? Ума не приложу.

Однажды Диана купила мешок апельсинов и разбросала по всей квартире. Света прибавилось (на вершок). И все-таки, когда срок контракта истекал и приходилось возвращаться к залитой солнцем родине, было сказано:

— Меня отправляют в ссильку.

- Куда?
- В ссильку.
- В какую ссылку?
- В Не-а-поль!..

А тем временем у нас на Чистых прудах два предприимчивых казаха спустили на́ воду настоящую венецианскую гондолу, блещущую черным лаком, и, запев баркаролу, поплыли вдоль берегов, привлекая клиентуру экзотикой всё еще мало доступной туземцам. Случилось, что именно в этот момент на берег Чистеньких вышла Сара, только что прилетевшая из Венеции и пока не вполне понимавшая, куда она попала. При виде гондолы с поющими поитальянски казахами, она на секунду потерялась: «Где я?»

Но ни Лену, ни меня этот маскарад не мог дезориентировать ни на секунду. Нас манила Венеция настоящая, а не чистопрудная; тысячелетняя, а не разыгранная на время двумя гондольерами из Алма-Аты. И Сара пригласила нас к себе на Новый год («Только не летом и не в феврале, когда карнавал. Вы не представляете, что у нас творится: море людей!»).

Так 28 декабря 2009 года в ночь мы взлетели из открытого тучами Шереметьево, а рано утром в бессолнечной еще синеве приземлились в аэропорту Марко Поло в Венеции.

Первое впечатление: небо выше, неба больше, и света больше. Несравнимо. Весна света!

Сара с родителями живет в городке Фаваро Венето в двадцати минутах езды от исторического центра. Автобус по дамбе пересекает край лагуны и – ...

Я давно убедился в превосходстве слова над реальностью, если слово не опись, не простое акынство («что вижу, то пою»); если оно углублено в корни, сопоставлено с иными реальностями; усилено метафорически, то есть сопрягает далекое; если оно не сушит ум сугубой информацией, а представляет собой нечто увиденное, прочувствованное и поименованное, особенно тобою самим.

Слово незаменимо в том случае, когда действительности, им изображенной, уже не существует на белом свете, но пусть и существует! Что способно так обогатить реальность, так возбудить воображение, как слово поэта? Оно, подобно живой воде, возвращает к жизни всё полусонное, всё равнодушное; видоизменяет волшебной радугой преобразенных впечатлений.

Но с Венецией это не проходит.

Сколько бы я ни читал поэтичнейших ее воплощений от Муратова до Бродского, увиденное наяву ошеломило.

Автобус по дамбе пересекает край лагуны и, спрыгнув со ступенек на землю, видишь как бы угол бассейна или ванны, до краев наполненной не то что водой, а какой-то колеблющейся жидкой бирюзой: голубовато-зеленой, зеленовато-русой – мерцанием раствора, затмевающим своей праздничностью сами небеса; раствора по ощущению летнего, горячего, хотя на дворе зима, и все хохлятся, подняв теплые капюшоны. На дворе зима, а на *Grand canale* даже не Весна света, а Лето света! Кольшущаяся бирюза, шелестя, ходит в каменных парапетах набережной, между стенами дворцов, непрерывной чередой окаймляющих широкою петлю канала, стучится в их двери, отражается в стрельчатых окнах с переплетами похожими на арабскую вязь. Приветственно гудят навстречу друг другу речные трамвайчики – *vaporetto*. Остро пахнет морем, смешанным запахом водорослей и сырой рыбы. Влажный ветер с лагуны касается щек. И всё это – видимое, слышимое, вдыхаемое, осязаемое – наполняет тебя не поочередно, как в тексте, а вместе, сразу – так, что захватывает дух.

Наш трамвайчик виляет от берега к берегу, и глаза разбегаются: куда смотреть?

Морская бирюза и цветные дворцы, бирюза и гранёные арки мостов, бирюза и гондолы – встречные-поперечные или зачехленные, в темно-синих фартуках, у причалов, у дворцовых подъездов, привязанные к торчащим из воды вязовым столбам, как князи-кони к деревянным коновязям.

Капитан в рубке при исполнении служебных обязанностей смешит буфетчицу и легкомысленно поводит штурвал одним мизинцем.

Вода с ленточю плещет по днищу *vaporetto*.

Шлёп-шлёп... Шлёп-шлёп...

Причаливаем к правому берегу.

Матрос накидывает толстый канат на чугунный грибок причала.

Пошла толпа!

Корабль кренится вправо. Сколько вышло, столько вошло.

Равновесие восстановлено.

И опять шлёп-шлёп...Шлёп-шлёп... Курсом к левому берегу.

Бурун пены за кормой, а над ним радостно мечется на ветру яркий морской флажок.

Бирюза – дворцы – бирюза – мосты – бирюза – гондолы...

Драгоценная Венеция.

Всё, что вокруг, так завораживает, что в небо и не смотришь. Здесь вода побеждает небо. Отвлекает от облаков. А цвет небес, каким бы он ни был, – белёсым ли, синим, серым или голубым, даже хмурым, в черных зимних тучах, – никак не в силах побороть красок ослепительной бирюзы; тонá ее меняются только в пределах титульного цвета. Она всегда празднично легка, ее всегда много, безмерно много – через край! А когда буквально через край, начинается *aqua alta* – высокая вода, наводнение.

Аборигены топают в зеленых резиновых сапогах по переливающимся набережным, гости купают бахилы в тех же разливах или семят по деревянным мосткам, срочно нагороженным повсюду. Аборигены сосредоточены на своем и безучастны к привычным капризам Адриатики, зато гости поглощены волнующим их зрелищем восходящей и ниспадающей воды.

Одно здание погоды не делает. Погоду делают ансамбли. А непрерывный ансамбль дворцов по обеим берегам

вплоть до лагуны создает такой архитектурный «антициклон», который делает погоду раз и навсегда. Самый богатый в мире город Средневековья; город, победивший время, поражает не только красотой архитектурных ансамблей, но и гармонией своих палаццо с бирюзой Адриатики, принимающий в зыблемые зеркала, отраженное в них зодчество одиннадцати столетий.

Идем пешком по гранитным мостикам, перекинутым между островками через частую сеть недвижных на вид каналов. Сара с нами неотлучно, освобождая нас от путеводителей, помогающих в поисках пути, но разрушающих непрерывность восприятия. А у нас она нерушима ни на миг. И уже кажется, что это не мы в городе, но город в нас.

Доверяем себя длинной, как почерневшая от старости щука, одиннадцатиметровой лодке с приподнятым носом, скользящей по тесным протокам, словно по дну глухих ущелий, сложенных из домов пегого кирпича, отожденного в печах Гермеса. Стены безмолвны, ставни задрены. До шершавого, выщербленного камня можно дотронуться теплой рукой и убедиться на ощупь в его остывшей древности.

Тишина закладывает уши. Слышно только, как вода капает, стекая с наклонного весла-руля, которое пошевеливает, стоя на корме, наш лоцман в полосатой, синей-белой матроске.

Отовсюду наплывает красота ветхости; какая-то невероятная эстетика разрухи, трогающая душу очарованием невозвратимого. Архитектурно крошащееся время. Выпадающие частички камня, крупинки раствора. Оседающие в воду дома: год за годом всего на волосок, но неотвратимо. Еще на волосок, еще... И это владычица морей? Повелительница миров?

Узкая – чуть шире гондолы – полоска неба над головой перечеркнута вервием с распластанным мокрым грузом сохнувшего белья. Сырость делает сушку бесконечной, не облегчая тяжести груза. Так он и сохнет здесь с XVIII-го века, с XVI-го, с XIV-го... Уже пересох Арал, высыхает

Волга, а кружевные скатерти над каналом по-прежнему полны соленой адриатической влаги.

На повороте – работы одного весла не хватает, и Андреа элегантно отталкивается пяткой от угла дома с таким видом, как будто отодвигает палатку, мешающее лодке развернуться.

Вода, когда ее так много вокруг, неизбежно становится частью быта, частью повседневной жизни. На работу здесь не ездят – на работу добираются вплавь. В гости не ходят – в гости плавают. Плавать приходится и на рынок, и по магазинам. Никакого транспорта, кроме водного, в городе нет. Представьте: ни одного автомобиля! Треск и смрад лишь от моторок, но на Большом канале они быстро рассеиваются, а в маленькие залетают не часто.

Снова пересаживаемся на *vaporetto* и всплываем в лагуну. Вся она уставлена деревянными «треногами», оберегающими мореходов от мелей, прокладывающими судноходный фарватер. Сверху «треног» любят отдыхать утомленные чайки, неподвижные, как мраморные бюсты на косых пьедесталах лагуны.

Бурано – остров венецианских кружев, плетущихся вручную перстами умудренных мастериц. Украшения воротников и манжет, салфетки и накидки, зонтики и веера по сей день создают ощущение роскоши, сколь бы мелкую услугу они ни оказывали нашему вкусу. Мода на кружево никак не привязана ко времени, она привязана лишь к тяжести кошелек, и нынешние узоры не отличаются от тех, что сохнут над каналами. Они такие же подробные, ажурные, изысканно тонкие, но при этом еще и отменно сухие...

Мурано – остров венецианского стекла. Обожаемая мною архитектура старых фабричных корпусов темно-кирпичной кладки. Стекланный «конек», как прозрачный пластилин, гнется щипцами у вас на глазах в течении минуты из выдутого раскаленного пузыря, а застывает навечно. Музей стекла – собрание антиквариата: люстр и сервизов, ваз и подвесок – играет на свету алмазными

гранями, грудами самоцветов. Принимающий нас галантный итальянец (добрый знакомый Сары), как артист, вальсирует между стеллажами драгоценного стекла и вот подводит гостей к водопаду неисчислимых бус твердых, как карамелька, свисающих до пола на густых сбруях нитей. Выбирайте!

Самый дальний из трех знаменитых островов – Торчелло с горбатым черно-каменным котом у моста Демонов. Мост без перил. Церковь Санта-Мария-Ассуанта, лишенная всяких прикрас, как и подобает древнему памятнику веры.

Обратный путь по лагуне уже в темноте позднего зимнего вечера вдоль широкой, как хорошо накатанное шоссе, электрической дороги, проложенной по фарватеру. Машина дрожит и ревет. Корабль пробивается по освещенной полосе в окружении непроглядного морского мрака. К золотистой мозаике звезд прибавляется, увеличиваясь, встречная мозаика золотых венецианских огней...

## 8

Напрасно мы мечтали устраивать себе короткий дневной отдых – не надолго возвращаться домой. Все одиннадцать дней Венеция не отпускала нас ни на минуту.

Утром: она вела странников под пустынные и просторные, как ангары, своды Арсенала, где ковалась мощь венецианского флота – сильнейшего флота Средневековья. Здесь трудились шестнадцать тысяч корабелов, ежедневно спускавших на воду боевую галеру или торговое судно.

Днем: она увлекала нас в базилику Сан-Марко – одну из главных святынь христианства, украшение площади с видом на лагуну. В нарядных кофейнях своих бесчисленных островков она поила нас горячим *sarpiuccino*, согревая от промозглого ветра с моря, несущего холод, сырость, мелкий дождь, густые наплывы тумана.

Вечером: она погружала нас в полумрак церквей, имена которых, звучавшие в нас как музыка, можно найти

на карте Венеции 1400-го года: Санта-Мария Формозо и Санта-Мария дель Джилья; Мадонна дель Орто и Сан Джорджо Маджоре; Сан-Лоренцо, Паоло, дель Орио... Она уводила нас под те купола, что хранили живопись Тициана и Карпаччо не временно, в качестве бесценных выставочных экспонатов, а вечно – как непременные атрибуты каждой Божественной литургии, как украшения церковных ниш.

В одно из утр, когда дышащий морозной свежестью липкий снежок okayмил парапеты, одел пушистыми белыми шапочками фонари и головки прибрежных «коновязей», притрусил синие фартуки гондол и столики уличных кофеен, а колючий ветер с моря погнал по лагуне мелкую рябь, мы отправились на Сан-Микеле – остров мертвых. Если верить, что смерть попирается смертью; что жизнь временную сменяет жизнь вечная, а духовной смерти нет, то эта вера помогает вызволить опечаленную душу из присущей ей скорби, которую навевают места, подобные Сан-Микеле. Там есть и русские захоронения. Стравинский, Дягилев, Бакунин... Там и Бродский. Никелированный почтовый ящик для записок. Несбывшееся пророчество поэта, чьей-то рукой набросанное на тетрадном листке и приклеенное к надгробному камню:

На Васильевский остров  
Я приду умирать.

Не пришел. Лег в землю любимой им Венеции, где при жизни провел одиннадцать по-английски воспетых им зим.

Среди признаний, которые Бродский поверил своему эссе «Набережная неисцелимых», было и сожаление о том, что за все одиннадцать пребываний он так ни разу и не удостоился чести быть принятым в частных домах, в венецианских семьях. Они оставались для него закрыты. Он приезжал в гости к холодным, плохо отапливаемым гостиницам и не мог рассчитывать на домашний уют,

а мы приехали к радушной семье, перезнакомившей нас с половиной своих родственников.

У родителей Сары мы ужинали каждый вечер, скорей пировали, дегустируя чудеса итальянской кухни в исполнении мамы Марины, попутно напевавшей что-то из Доницетти, а папа Джованни – старый нумизмат, разложив перед нами свою коллекцию, косился на Марину, добродушно бурча: «Паваротти...», и языковой барьер не препятствовал нашему общению.

У дяди Ренато мы встречали Новый 2010-й год.

В новогоднее утро по дороге к дяде Лучано видели совершенно безлюдный Тревизо, где торговал единственный на весь городок оторвавшийся ото сна цветочник из Бангладеша. А Лучано, знакомясь, завел нам на проигрывателе виниловую пластинку с гимном Советского Союза, справедливо полагая, что гимн России новой ничем не отличается от старого: вся музыка та же, да и стихи по сути те же, лишь слегка подкорректированные одним и тем же художником слова.

Не забыть, как мы шли по Равенне к мозаикам Мавзолея Галлы Плацидии, мимо пальм, похожих на гигантские ананасы в марлевой сетке снегопада, а перед нами с блаженной улыбкой плыл темнокожий юноша-индеец в одном легком джемпере, пока ни завернул в кофейню, подпрыгнув от радости на пороге. Спорю на что угодно: это была не плотская радость, вызванная возможностью погреться, а душевный восторг от немыслимой красоты медленно опускавшегося снега...

Дворец дождей на площади Сан-Марко удивил не только монументальной живописью тинтореттова «Рая» – непременного экспоната, предлагаемого каждому турпотoku, но и более скромным полотном в одном из залов Дворца. Художник изобразил группу господ в черном, окружающих патрона: дож и его охрана. И что же оказалось? Оказалось, что Владимир Ильич Ульянов (Ленин) жил тогда в Венеции, отпустил усы и бородку и служил в охране

дожа, то есть оберегал установленный порядок вещей, а вовсе на него не покушался. Кем телохранитель стал в своей будущей – русской – жизни, мы знаем, но вряд ли могли бы догадаться, с какой фотографической точностью он воспроизведет собственную внешность времен средневековой службы в свите сеньора.

Время от времени Сара снабжала нас какими-нибудь буклетами, а однажды предложила мне два листка машинописи, где по-русски и не очень складной прозой была изложена история любви и смерти дожа Марино Фальери. Я пробежал листки глазами и оставил их до Москвы.

## 9

Историческая хроника «Фальери» сложилась месяца через три по возвращении автора, не отступившего от своего принципа: хочешь правды, пиши о том, чего не знаешь. Это не эпатирующий парадокс. Речь идет о *художественной* правде, для которой воображение важнее и дороже документа, поскольку включает в себя массу интуитивно прочувствованного, передуманного, понятого по самым разным поводам и теперь, и прежде. Все нюансы иных событий, сохраненные памятью. Всё то, что не произошло, но могло произойти, и тоже составило часть опыта, пусть и не воплощенного. Наконец, воображение предполагает выход в мифологическое пространство, а в постижении реальности миф играет не меньшую роль, чем хроника: он строит модель происходящего, используя возможности прапамяти, скрытые в глубине сознания. Самая строгая и самая убедительная правда пишется свободным воображением художника. Это связано с тем, что ученая мысль в силу своей крайней осторожности слишком корпоративна. В научном мире господствует оглядка: на авторитет, на коллегу, на принятое суждение, на текущую моду. Насколько можно доверяться правде документа, если не только интерпретаторы более поздних времен, но и честные свидетели, но и добросовестные мемуаристы

порой по-разному видят одно и то же, трактуют одни и те же факты по-своему? Сведения набираются по крупицам из разных источников не одинаковой степени достоверности, а их апологеты спорят друг с другом и гордятся вольной дискуссией, развернутой под знаменем совсем не очевидной аксиомы, утверждающей, что в споре рождается истина. Так ли это? А не в споре ли рождаются новые заблуждения, тогда как истина открывается в индивидуальном сосредоточении? Оно, не распыленное в пространстве, а сведённое в едином сознании, свободном от корпоративных оглядок, окрыленное вдохновением, выстраивает картину подчас более адекватную реальности, чем коллегиальные усилия экспертиз, повязанных господствующим мнением и взаимными обязательствами. А в искусстве, в поэзии акцент вообще переносится с документального соответствия на эстетическое совершенство, хотя прекрасное вовсе не чуждо правде, но правда его иная – не мертвая правда пунктуальных соответствий, а правда художественного преображения, вызывающего в нас чувство прекрасного.

Моим «документом» послужили две странички машинописи – дар сеньоры Сары Скопин. О чем они поведали? О том, что представитель одной из самых благородных фамилий Светлейшей Республики Венеции – Марино Фальери, командующий Черноморским флотом, а позже посол при папском дворе в Авиньоне в 1354 году был избран дожем Венеции. Почти восьмидесятилетний старец был влюблен в молодую даму – свою законную догарессу. (Помните у Пушкина? «Старый дож плывет в гондоле // С догарессой молодой»). Однажды на дворцовый маскарад явился некий пылкий аристократ, не скрывавший интереса к догарессе и оскорбивший чувства дожа. Большой Совет приговорил обидчика к году изгнания. Но дож посчитал приговор недопустимо мягким, едва ли ни оправдательным, и, объятый гневом, затеял заговор с тем, чтобы призвать народ к восстанию против Большого совета

и аристократов, приняв на себя полномочия диктатора. Заговор, к несчастью для Фальери, раскрыли, и дож был казнен как предатель Республики. Поныне во Дворце, на стене портретной галереи место, отведенное для портрета Марино, затянуто черным покрывалом.

Вот всё, о чем сообщила легенда. Ни больше и не меньше.

Дождь Венеции Фальери  
 Плыл на родину из Рима  
 На медлительной галере,  
 Подвигавшейся без дыма,  
 Потому что веком пара  
 В воздухе еще не пахло.  
 Туча стлалась, точно пакля.  
 Поддавало солнце жара.  
 И, предвестницы кошмара,  
 Расстонались чайки к ночи,  
 Накликать беду охочи.

Била воду гряда вёсел,  
 Проклиная шторм-холеру.  
 Но Нептун в беде не бросил  
 Остроносую галеру.  
 Он разгреб трезубцем волны,  
 Усмирил кипенье пены,  
 И бортов утихли крены,  
 И круты и тошнотворны,  
 И уже Аврора горны  
 Раздувала на востоке –  
 Полдня знойного залоги...

История свидетельствует, что распад Римской империи под натиском варваров привел к миграционным потокам, один из которых достиг тростниковых болот Северной Адриатики и там – в поколениях – стал вершить свой беспримерный подвиг создания государства при отсутствии

всяких условий для создания государства. Кусок суши, занятый переселенцами, представлял собой сыпучие пески и заболоченные берега, переходящие в мелководье соленой лагуны местами глубиной до пояса. Ни питьевой воды, ни пастбищ, ни пахотных земель окрест не встречалось. Значит, скотоводство и земледелие были исключены. Лесов нет. Из чего строить? Пространство обитания сжато до минимума. Но именно здесь возникает город, поднявшийся на соляном промысле в ту пору, когда люди могли отказаться от золота, но не могли отказаться от соли. Соль и превратилась в золото Венеции, а запасы ее были несметны.

Развивая торговлю, город построил два лучших в мире флота: военный и торговый, открывшие морские пути во все стороны света. Развивая начала гражданского общества, принял законы республиканского, а не имперского правления с выборным, а не династическим главой государства – дожем (вождем), чья власть к тому же была ограничена выборным Большим советом, специально созданным для соблюдения баланса интересов разных общественных групп. Исполнение предложенных советом и утвержденных дожем установлений не подлежало сомнению, а непокорность жестоко каралась.

Внешняя политика Республики вошла в анналы мировой истории как образец интриг и вероломства. Она оказалась на редкость эффективной, служа тому, чему и должна служить сфера деятельности, преследующая сугубо прагматические цели. Если естественные науки заняты поиском истин материального мира; если искусство, поэзия пытаются разгадать духовные замыслы Творца, то цель политики состоит в отстаивании земных интересов. Политическая борьба = это борьба разнонаправленных зол, каждое из которых действует от имени добра. Политика напоминает азартную игру на деньги по правилам сильнейших игроков. Если денег у вас хватает (а у Венеции их было, как соли); если искусство игры даровано

вам по наследству (от отца к сыну) или витает в воздухе, передаваясь от дожа к дожу, то вы всегда будете в выигрыше. При условии постоянно острой конкуренции за место под солнцем политика зиждется на трех китах, осуждаемых публично и применяемых по существу: обмане, лицемерии, военной силе. Когда дипломатия (обман и лицемерие) не срабатывает, в ход идет военная сила. Лучший политик тот, кто с наибольшим успехом отстаивает интересы собственной исторической значимости, преуспеяния своего клана, партии, города, государства. Создает возможности для экономического процветания. Удерживает внутреннее равновесие в обществе и достаточно грозен для того, чтобы держать на привязи соседей, союзников, партнеров и недругов. На протяжении столетий дожи и Большие советы с этим справлялись. О чем могли, договаривались. О чем не договаривались, то выкупали. Что не выкупалось, то завоевывалось. А гений народа проявился в искусстве, с каким красивейший в мире город был выстроен по пояс в морской воде.

Для строительства домов венецианцы разработали метод свай: дубовые столбы забивали в ил до твердой земли: островки и протоки буквально «засевали» полями столбов, а уже потом на них по деревянным балкам клали каменные фундаменты. В соленой воде сваи забухали и делались крепче камня («мореный дуб»), а ил, отсекая кислород, препятствовал их гниению. Деревья привозили морем из Хорватии. Архитекторы проектировали, художники и скульпторы украшали палаццо аристократов, а в рабах недостатка не было. Так из моря, вознося благодарные молитвы Нептуну, в силе, блеске и славе поднялась та Венеция, чей отблеск мы можем видеть и поныне.

За одиннадцать веков (716–1797) Светлейшая Республика сменила более ста сеньоров. Одно из самых роковых испытаний ее истории выпало на правление дожа Андреа Дондоло – непосредственного предшественника Фальери.

Камнем преткновения в торговых войнах между Венецией и Генуей стал Крым. Оттуда к венецианским и генуэзским берегам плыли караваны с шелком из Центральной Азии, с пряностями из Индии, с мехами русского севера. Туда же на невольничьи рынки свозили толпы рабов. К середине XIV века налаженную торговлю подвергли разорению набеги татарских племен, осаждавших крымские портовые города, служившие колониями итальянцам. Эти набеги и занесли из ордынских степей на купеческие галеры зараженных чумою крыс. Так началась самая страшная пандемия Средневековья – чума 1348 года.

Венеция одной из первых приняла удар на себя. Половина населения Республики было отдано в жертву мучительнице-чуме. Она оставила следы своих зубов на Генуе, на Испании и Франции, германских княжествах и графствах Британии, на пашнях и замках Польши, на весях и градах Руси... Все меры борьбы оказались бессильны до тех пор, пока чума не отступила сама, исчерпав самоё себя. Это случилось всего за шесть лет до правления Фальери, но и шести лет хватило для того, чтобы человеческие страсти вернулись на круги своя, и судьба разыграла тот сюжет, что завершился задержанным навсегда черным пологом на месте, где должен был блистать портрет запахнувшего горностаевой мантией дожа.

## 10

Все-таки до чего любопытно, как разные люди совершенно по-разному понимают (или не понимают) специфику творчества, предназначение поэзии!

Друг отца – энциклопедист с двумя физическими образованиями, златоуст, лучшей лектор Всесоюзного общества «Знание» наставлял меня – школьника, делавшего первые шаги в стихотворстве, а попутно показывал раритеты своей домашней библиотеки, в том числе миниатюрные издания:

– Во-первых, не пиши много. Дело не в количестве. Пусть у тебя будет написано всего одно стихотворение

в год, но такое, что через тридцать лет ты положишь на стол книжку из тридцати полноценных произведений.

И второе. Что самое главное в поэтическом искусстве? Ритм? Рифма?

Ерунда. Главное – мысль. Нет мысли – нет поэзии. Надо учиться думать.

Это был подход физика. Рациональный, убедительный.

Но почему-то уже в юности, слушая столь разумные речи, я внутренне улыбался. Я им не верил. В них чувствовалась какая-то заданность, какой-то цифровой подход, что-то не то...

Во-первых, со временем я усвоил из собственного опыта, что установка на, условно говоря, одно стихотворение в год просто смехотворна. За год можно не написать ни строчки, а потом, не отрывая руки, сто строк в один день и сто на следующий. Творчество принципиально не формализуемо. Оно стихийно и безначально. Не ты спускаешь ему директивы, а оно распоряжается тобой, захватывая своим вихрем или отшвыривая в сторону. Равномерность работы лишь одна из возможностей, предоставляемых тебе природой, а неравномерность – другая. Один пишет мало, другой много, но писать хорошо и много ничуть не хуже, чем хорошо и мало.

И второе. Да, научиться думать не повредит, но рассуждение – враг поэзии. А что касается актуальных слов, то они самые настоящие эфемеры. Человек, гонящийся за актуальностью и политкорректностью, как мы видели, обречен всю жизнь править гимн Советского Союза. Однако и вечные смыслы приедаются, начинают утомлять, вызывать сомнения. Тютчевская формула: «Мысль изреченная есть ложь» означает, что сам факт извлечения мысли из первородной немоты, ее озвучивание, перевод из духовного молчания в пространство общения искажает мысль. Правда сокровенного, раскрываясь, делается неправдой откровенного. Как же быть стихотворцу, если главное для него это мысль, а мысль

есть ложь? Или, может быть, мысль все-таки не главное, а главное что-то другое?..

Читаю у Лермонтова:

На воздушном океане,  
 Без руля и без ветрил,  
 Тихо плавают в тумане  
 Хоры стройные светил;  
 Средь полей необозримых  
 В небе ходят без следа  
 Облаков неуловимых  
 Волокнистые стада.

Какая здесь мысль? В чем она? Это чистое описание. Оно абсолютно «бесмысленно». Но оно настолько прекрасно, что и не нуждается ни в каких «смыслах». Об этом сказал Пастернак: «Образ мира в слове явленный». Не идея о мире, но *образ* мира. Тогда, может быть, цель искусства и состоит в создании образов мира, а не суждений о нем?

Тихо плавают в тумане  
 Хоры стройные светил...

Здесь работает не смысл, а только безмерное пространство, вовлекающее нас в это космическое плавание – непонятное, таинственное, несказанное, потому что несказанное. Мысль не изречена. Она осталась в сознании поэта и не превратилась в ложь произнесенного. Она сохранила свою сокровенную правду. Вместо суждений о ночной Вселенной, допускающих согласия и возражения, требующих доказательств и ссылок на авторитеты, – всего того, что с возрастом представляется нам все более плоским, рассудочным, временным, мнимо выраженным, «изреченным», – Лермонтов пишет саму ночную Вселенную, исполненную *невысказанной невыразимости*.

Смыслы исчерпывают себя, а к невыразимому хочется возвращаться вновь и вновь.

Венеция как явление природы и искусства принадлежит той же сфере невысказанно невыразимого. Осмысливать ее невозможно и не нужно. Ее надо принять как данность, оставив за ней правду неизреченного. Принять как солнце, заходящее над Адриатикой; принять как тускнеющую бирюзу ее не поддающихся сравнению вод; как облако тумана, навеваемого с моря и поглощающего лагуну, берега, гондолы у склоненных к воде «коновязей»...

## I

Постепенно меркнут краски  
 Неба, засыпают воды,  
 И не подлежат огласке  
 Грезы дремлющей природы.  
 Голубям отменно сизым  
 В выбитом окне чердачном  
 Беспокойно, как в табачном  
 Дыме. Видно за карнизом  
 Вьется тот, кто крался низом:  
 Nebbia – туман неверный,  
 Мореходов спутник скверный.

## II

Наплывает он от моря,  
 Как гусей несметных стая.  
 Потекла, с волнами вздора,  
 Пелена его густая.  
 Остывает жар жаровен,  
 Шелухой хрустят каштаны.  
 Ночь-портниха на кафтаны  
 Режет бархат. Час не ровен.  
 И, как стражник, хладнокровен,  
 Петр гремит ключами рая,  
 Божьи храмы запирая.

## III

Над каналом, где, копуши,  
 Полоскались замарашки,  
 Лет семьсот как сырость сушит  
 Рукава ночной рубашки.  
 Там ли, между островами,  
 Где провисли струны вервий,  
 Ветерок шныряет нервный,  
 Как морской колдун, кругами  
 И мотает рукавами?  
 Тишь такая, хоть оглохни.  
 Сырость, сгинь, а, стирка, сохни.

## IV

Глянул месяц из-за края  
 Туч (добро они ленивы),  
 С Адриатикой играя,  
 То в отливы, то в приливы.  
 Настает черед подъему  
 Вод, в туманы облаченных,  
 И приливом облеченных  
 Подступать к любому дому,  
 К двери и окну любому,  
 Затопляя сушь асфальта.  
 Aqua alta, aqua alta.

## V

И собор Святого Марка  
 И Дворец усопших дождей  
 Отблеснут – за аркой арка –  
 В темных водах волей Божьей.  
 Где ступали чинно чайки,  
 Точно по дощечкам пола,  
 Закачается гондола  
 Над просторами брусчатки,  
 Чтоб сырые отпечатки

Сапоги вечерних топей  
Развезли по всей Европе.

<...>

VIII

А туман висит, как вата.  
Не надейся, что растает.  
Сквозь него идешь куда-то,  
А тропа не зарастает  
Позади – так он раздвинут.  
Он, как дым, белёс и плотен,  
Наплывая много сотен  
Лет на город. Снова минут  
Времена, но, нет, не вынут,  
Не развеют за собою  
Стлавшегося пеленою.

IX

Nebbia – туман полночный,  
Погребая все напасти,  
Замыкает круг порочный  
Гнева, ревности и страсти.  
Он – гоним от моря ветром –  
Заполняет арки, ниши,  
Поднимается на крыши,  
Опускается с рассветом,  
Словно Кто-то машет фетром  
И плащом широкополым  
Дремлющим в чехлах гондолам.

X

Кто Он? Где Его обитель?  
Что Он на сердце лелеет –  
Наш неведомый Ревнитель,  
Тот, что мучит и жалеет  
Нас во тьме зелено-лунной,  
Нас, пришедших в мир случайно,

Чей уход – иная тайна?  
 Движим волею разумной,  
 Он проносится, бесшумный,  
 Запахнувшись пеленою,  
 Над высокою водою.

## XI

Но напрасно отраженье  
 Ловим мы на глади водной.  
 Столь стремительно движенье  
 Этой Сущности свободной,  
 Столь плотны Ее покровы,  
 Вольно выющиеся следом,  
 Что я имени Ей не дам.  
 Кто Ее услышит зовы?  
 Слишком глухи мы, суровы,  
 И не всем нам в равной мере  
 В Сад и в Ад открыты двери.

Значимое для Венеции число *одиннадцать* приобрело и для меня «магический» смысл. Одиннадцать столетий дожи правила Светлейшей Республикой. Через одиннадцать лет после поездки я восстановил по дневниковым записям воспоминания о странствии, продолжавшемся одиннадцать зимних дней. Число одиннадцать стало и структурной доминантой хроники. В поэме одиннадцать глав, в каждой из которых одиннадцать строф, а в каждой строфе одиннадцать строк. Поначалу автору показалось каким-то предопределением сама возможность так организовать материал. По всей вероятности, наша психика запоминает повторяющийся ритм не только музыкально как стихотворный размер, но учитывает его и композиционно как повторяющиеся объемы текста (строфа, глава). Происходит внутренняя настройка на определенную музыкально-композиционную форму по мере ее образования. Дальше автор сознательно следит за

строгостью формы. Но что значит «сознательно следит», если содержания еще нет и почему его должно быть каждый раз ровно столько же? Оно только возникает и без помощи настроенной на него психики ему не уложиться в найденную форму. Наконец, чистый курьез: учитывая финальную эпитафию и заглавия, «Фальери» содержит 1355 строк, а время описываемых событий – 1355 год. Подгадать такое заранее я не мог. С подобным формализмом не справилось бы и средневековое воображение. «Подгадалось» само, а совпадение открылось автору после того, как была поставлена точка.

## ИВАН ЦВЕТАЕВ: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

2013

*Сомнения и доводы. – Пишущие дамы. Ново–Талицы.  
Естественные оппозиции. – Отдел рукописей  
Румянцевского музея. Письма Нечаеву–Мальцову.  
«...зане совершил // В пределе земном все земное»*

### 1

**В** 1950 году основная экспозиция Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина была закрыта, и музейные залы заполнили экспонаты выставки «Подарки Сталину». К 70-летию вождя. В одно из воскресений мы отправились туда с мамой и няней, благо прогулка от дома до музея занимала минут десять.

Так я впервые попал во дворец на Волхонке, который взрослые связывали не с именем Пушкина, но с именем Цветаева, а папа называл Музеем изящных искусств. Как важно то, что коснется твоего слуха в раннем детстве; пусть бессознательно, оно западает в душу, не только в память, и ждет своего часа, чтобы проявиться со всей возможной полнотой. «Час», который понадобился на это мне, составил не шестьдесят минут, а ровно шестьдесят лет: 1950–2010.

Завершался труд над «Прутковским проектом», и в мае 2010 года встал вопрос о новой работе. Хотелось продолжить содружество с издательством «Вита Нова»,

а единственный вариант предоставляла серия «Жизнеописаний». Требовался выбор нового героя: интересного мне, любопытного издательству, привлекательного для читателей. И я спросил своего «консультанта по Цветаевой»:

— А ни подумать ли нам об Иване Владимировиче?

После короткой, но выразительной паузы последовало:

— Лучше не трогать. Есть ревнивцы, которые встретят это в штыхы.

А подразумевалось вот что: скажут, что мы вторгаемся на чужое поле; что люди на этом всю жизнь сидят; имеют массу статей, докладов, тезисов, ученых степеней, а вы кто такие? Откуда вы взялись? Станут читать с лупой, цепляться к опечаткам (которые неизбежны), к промахам (которые возможны). В спорных моментах вставать на противоположную позицию. Упрекать в отсутствии новизны взгляда, если он правилен, или в неправильности, если нов. Будут путать жанры: к биографическому роману предъявлять требования как к научной монографии. Жаловаться издателю на некомпетентность автора. И, наконец, сделают вид, что такой книги вообще не существует... (И главное – всё это сбудется!). Поэтому лучше не трогать.

И вместо Цветаева мы всё лето перечитывали Бердяева, словно забыв о том, что и по Бердяеву есть свои специалисты, свои критики, а чтобы не раздражать никого, надо бы вообще ничего не трогать. Никогда. Молчать и хранить свое инкогнито. В конце лета Бердяев нас остановил, но не количеством искушенных исследователей, а тем, что сам всё сказал о себе в книге «Самопознание», и тем, что обретался в труднодоступных широкому читателю эмпиреях – не ироничных, земных, гоголевских («барышень много, музыка играет, штандарт скачет») <sup>1</sup>, а в самых что ни на есть философских: на небесной высоте, наполненной огнем и светом, в местопребывании греческих богов и христианских святых.

<sup>1</sup> Н. В. Гоголь. Собрание сочинений. Том четвертый. М., 1949. С. 15.

А когда выбор героя снова оказался под вопросом, мой консультант неожиданно вернулся к прежней теме:

— А, может быть, все-таки Иван Владимирович? Он же не квартира, чтобы его кому-то приватизировать.

И 6 сентября 2010 года на Книжной ярмарке ВВЦ мы встретились с Алексеем Захаренковым, который вкупе со своими сотрудниками за минувшие со времени нашего знакомства годá выпустил целую библиотеку мировой классики в лучших полиграфических образцах. Эти книги – праздник библиофила. Они и для чтения, и для обзора с их цветными иллюстрациями и вклеенными офортами, рисованными заставками и концовками, каллиграфией заглавных букв... Я надеялся, что после удачного опыта с «Козьмой Прутковым» идея первого большого жизнеописания Ивана Цветаева будет поддержана. Но не тут-то было.

В начале разговора втроем оказалось, что Захаренков почти готов сказать «нет». Он сам не знает о Цветаеве ничего, кроме того, что тот – профессор Московского университета и создатель Музея изобразительных искусств. Хорошо, профессор. Хорошо, создатель. Ну, и что дальше? Разве этого достаточно для того, чтобы привлечь внимание читателей? У нас серия *жизнеописаний*, а не историй создания музеев. К тому же историей ГМИИ занимается сам ГМИИ.

— Но мы не будем разворачивать на всю книгу эпопею создания Музея.

Она войдет частью. Это будет биографический роман на документальной основе. Цветаев – и филолог-классик, открыватель древних надписей, исследователь латинского языка и знаток истории искусств... Он – отец Марины. Ну, уж Марину-то все знают! Неужели почитатели дочери не заинтересуются судьбою отца?

Нет. Не убеждает.

Ситуация обостряется.

И тогда в бой идут красноречивые доводы Елены как знатока цветаевской семьи и Серебряного века в целом,

держщей в голове миллион деталей, вёдомых только специалистам. Достоин есть!.. И Захаренков уступает:

— Пишите концепцию книги.

Итог переговоров:

— Я почти готов сказать «да».

В среду 22 сентября 2010 года в Санкт-Петербурге в «Музее книги» на Мойке, 34 в книжной лавке издательства «Вита Нова» был подписан Авторский договор о передаче издательству исключительных прав на публикацию книги «Иван Цветаев».

## 2

Между тем, пока не написано ни строчки. Нет даже четкого понимания того, что делать и как. Знаний конкретно об Иване Владимировиче не многим больше, чем у издателя. Но «знания – дело наживное». Зато есть огромное желание погрузиться в эту судьбу, есть рабочее горение, есть очевидное восхищение героем, чувство времени, опыт многих предыдущих книг, опыт успешного сотрудничества с редактором Алексеем Дмитренко над чередой прутковских фолиантов...

Изучая в школе азы черчения, я убедился в том, что с тупым карандашом, щербатой линейкой и козьей ножкой вместо циркуля далеко не уедешь. Это стихи можно писать наизусть или нацарапывать твердым грифелем на случайных клочках. А чертеж в трех проекциях так не выполнишь. И роман так не напишешь. В первую очередь следовало подготовить инструментарий – перо.

Нынешние писатели почти и не пишут, а сразу набирают текст на своих ноутбуках, экономя драгоценное время для иных добрых дел, как-то: злободневных публицистических откликов, мастер-классов, лекций, государственных и семейных забот. Они уже и не писатели, а *набиратели*, образовавшие Союз набирателей России, Московскую набирательскую организацию... А я по старинке все-таки вначале именно *пишу*. Пером на бумаге.

А уж потом *набираю*. Говорят: времени жалко. Но на что же, друзья мои, тогда не жалеть времени, если жалеть его на работу? А написание и есть работа писателя. Потому великое дело – перо.

Оно сосредотачивает тебя на своем острие. Собирая внимание, концентрируешь мысль. Каждые полминуты такая носик перышка в чернильницу, не тратишь времени даром, но получаешь фору на обдумывание своего сочинения в масштабе текущего слова. А этим масштабом все и определяется. Успех целого складывается из частных удач. Строка – ниточка в художественной ткани. Чтобы ткань была интересной, аккуратной, корректной, прочной, ее надо ткать по ниточке, приостанавливаясь (макая перо), возвращаясь, не торопясь, пригоняя нитку к нитке – строку к строке. Так в старину люди и ткали свои литературные «гобелены» – не на станках, а вручную, зато на века. Вот мы и любимся на них по сей день, вот и храним.

В четвертом классе у нас были уроки чистописания. Я их не любил. Выводить буквы каллиграфическим почерком, с наклоном, строго по косым линейкам, чередуя жирные линии с волосными, у меня не хватало терпения. Узким, стальным перышком, заправленным в деревянную ручку, тыкать по дну чернильницы-непроливалки надоедало. А кляксы?.. А пальцы в чернилах?.. А кусочки жеваной промокашки, выуженной на кончике пера из «непроливалки»?.. Как мы – дураки – обрадовались, когда чистописание сошло на нет, ибо вместо перышек настал век «шариков». Легко, быстро, макать не надо, пальцы чистые и никаких претензий по части красоты! Искусство упразднилось – жизнь упростилась, однако с ее упрощением упразднилась и красота. Каллиграфия заботилась о том, чтобы развивать в нас чувство прекрасного, но мы оставили это художникам, а сами предпочли прагматику безличного письма, сведшую на нет понятие индивидуального начертания, то есть неповторимого

почерка. Моя мотивация состояла в следующем. Я знал известного в среде книжных графиков художника Евгения Ганнушкина, создателя изысканных рукописных шрифтов. Он получал от «Музгиза» заказы на оформление обложек партитур. Друзья шутили, что на одну букву у него уходит год. Правда, его шрифты признавались шедеврами каллиграфии. Я уважал это как высокое искусство, но не мог представить себя в роли графика. Мне надо было укладываться не в шесть лет с написанием шести литер: М, О, Ц, А, Р, Т, а в сорок пять минут с целым сочинением по «Моцарту и Сальери»!

Однако «шарики», авторучки, гельки, роллеры долго еще требовали рисования букв, – пусть и самого немудрящего, – пока, наконец, ни явились им на смену спасительные клавиши. Тут уж наш не склонный к каллиграфии народ окончательно вздохнул и воспрянул духом, освободившись от всякой «перьевой зависимости». Теперь все стали «клавишниками», все – набирают. Скоро вообще разучимся писать; напрочь забудем, что достоинства пера неоценимы.

Конечно, идеально было бы возродить перышко дикого гуся – невесомое, стойкое, упругое, с нежной оторочкою, которой так приятно пощекотать по щечке; перышко – легко грызущееся в момент творческих мук, но достаточно твердое для того, чтобы почесать им в затылке, помогая приливу крови к задремавшей мысли; перышко – игрившее в пальцах Пушкина и Гоголя. Только где же взять подходящего дикого гуся? Кто научит нас грамотно расщепить острие, заточить его под верным углом? Это искусство утеряно.

А если вам предстоит за год сочинить, процитировать и заполнить объем в двадцать пять авторских листов, то есть выписать набело своею рукой один миллион знаков чистовика (не считая черновых вариантов), то проблема пера встает со всей остротой. Травинка сомнется, тростинка сломается. «Шарик» требует нажима, потому

рука скоро устанет. Гелиевая ручка нажима не требует, как и тонкий роллер, но они слишком быстро пролетают. Гусиное перышко не доступно. Значит?.. Значит, выход один: «Гусятников переулок, д. 13/3. Магазин для дизайнеров, художников и архитекторов», где вам предложат маленькую коробочку с прихотливой надписью угловатыми крюками и пиками готической графики: «Manuscript. Перья для каллиграфии. Производитель Manuscript Pen Company Ltd. Англия».

В коробочке будет лежать одно бронзовое перо, уже расщепленное и заостренное – полностью готовое к работе.

- А держатель? – спросит продавец.
- Какой держатель?
- Держатель пера.
- Вы имеете в виду ручку? Будьте добры.

И вам вручат легкую ручку коричневого дерева, благородной конической формы. А синие чернила «Parker. Quink» у вас уже есть. Так, «оперившись», вы словно возвращаетесь к своему украшенному кляксами детству, дабы начать пионерский труд во славу Ивана Владимировича Цветаева, который тоже пользовался деревянной ручкой с перышком, умокнутым в черные чернила. Нет, великое дело – перо!

Однако заблуждается тот, кто полагает, будто удачной покупкой деревянной ручки с бронзовым пером он решит проблему написания книги.

В нашем случае поначалу следовало выяснить: а как отразили в печатном слове судьбу профессора Цветаева наши предшественники или, точнее говоря, предшественницы?

Первой мое внимание привлекла Юдифь Каган, издавшая труд: «И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность» (1987). Книга вышла в издательстве «Наука» в серии «Научно-популярная литература» советским тиражом (50 000 экз.), по советской цене (65 коп.), на типографской бумаге № 1, в клееном, то есть постранично рассыпающемся,

варианте. Это полезная, информирующая книжка обильна сведениями, упорядоченность которых дискуссионна, язык среднестатистичен, зато обширная библиография составляет неоспоримое достоинство, ибо неизбежно наводит новичка на мысль, в какое необозримое море жизни малознакомых или вовсе незнакомых ему людей он вступает.

От Каган до переписки профессора Цветаева с архитектором Клейном только один шаг, и мы его делаем. Так перед нами открывается мир цветаевских писем – самая значительная часть его сочинений, превосходящая по объему, и книги, и конспекты лекций и служебные отчеты.

Елена Соснина в работе «Музы Трехпрудного переулка» собрала и прокомментировала письма Ивана Владимировича к постоянным адресатам – археологам Котляревскому, Помяловскому и письма Варвары Дмитриевны Иловайской (Вавы) к Цветаеву. В последних отражена вся история романтической любви молодого профессора и его подруги от знакомства до свадьбы.

Среди свидетельств, оставленных дочерьми Ивана Владимировича самые скромные, но, может быть, и самые надежные принадлежат перу дочери от первого брака Валерии Цветаевой. Она не обладала талантом неуловимо смешивать быль и небыль, подавая то, и другое с равным артистическим блеском.

Дочь от второго брака Ивана Владимировича с Марией Александровной Мейн Анастасия Цветаева представила образец мемуарной литературы, ценное подспорье всем, кто занимается семьей Цветаевых.

А вот автобиографическая проза ее сестры Марины порой лишь отталкивается от реальных событий, чтобы в очередной раз поразить читателя своей остротой, метафорической мощью, игрой воображения.

Лидия Анискович – энтузиаст этой необычайной семьи – приводит в своих книжках массу интересных фотографий, архивных данных, но, к сожалению, затрудняет

работу будущим исследователям слишком либеральным отношением к ссылкам: их нет.

Зато Галина Кочеткова в книге «Дом Цветаевых» радует читателя сотнями ссылок и чудесным тоном своего сочинения, посвященного дому в Талицах, где прошли детские годы Ивана Владимировича.

Под впечатлением от книги Кочетковой в октябре 2010 года мы с Леной отправились в Иваново.

Городок, честно скажу, неважный. Как на юру. Неуютный, размашистый, насквозь советский, словно окаменевший в «завершающие» годы брежневских пятилеток. Названия улиц, памятники – все как прежде: Ленина, Маркса, Фрунзе, Революции... Как будто не было никаких Перестроек, никаких контрреволюционных преобразований. Цирк с отвалившейся штукатуркой. Перед машиной Администрации (местным «небоскребом») – мемориальная машина (рабочий со знаменем). Издали чугунный клоч знамени напоминает кукиш. Трубы дымят, «маршрутки» шныряют, глазу остановиться не на чем. Есть заветный уголок – особняк и музей купца Бурылина. Стильный музей ситца в особняке. А так – трудно уловить лицо города. Во всем какая-то затрапезность.

Но цель поездки не Иваново. Цель – музей Цветаевых в Ново-Талицах, на окраине города. Длинный бревенчатый дом вытянулся по крутому берегу речушки Варгузы. Чисто, опрятно в доме. Есть подлинные вещи. Подлинный портрет первой жены Цветаева Варвары Дмитриевны Иловайской. Но и здесь, в экспозиции, как будто что-то застывшее с дореволюционных времен. Экскурсовод Алёна атрибутировала для нас некоторые экспонаты – вот и весь экскурсионный проход. Стройна, как статуэтка, а на вопросы отвечать не может и не хочет. Равнодушие полнейшее. Иваново вообще поражает своей заторможенностью. Люди здесь как будто не живут, а прозябают. Кругом столько облупленного или грубо крашенного, столько неприглядного, что с удовольствием покидаем

этот «революционный центр» и возвращаемся в Москву в компании молодых музыкантов Российского симфонического оркестра, заполонивших коридор вагона и соседние купе и зовущих друг друга исключительно по именам своих инструментов:

- Наливай, гобой!
- Контрабасы, приехали!
- Я могу поменяться местами с виолончелью...

Чуствуем: вернулись к себе, в свой круг.

Надо бы отдать должное и главному цветаевскому мценату – хрустальному королю России Юрию Степановичу Нечаеву-Мальцову, облагородившему в конце XIX века свой родовой городок Гусь-Хрустальный, но пока пороха не хватает. Надо отойти от Иваново прежде, чем погружаться в Гуся, который, по словам центральных газет, погряз в криминале. Кто бы мог подумать?

Работаю в Российской государственной библиотеке. Там – все опубликованные труды Цветаева. Читая их, лишний раз убеждаешься, как трудно говорить о хорошем человеке, о человеке замечательном. У него все правильно, все честно, порядочно и упорядоченно, как и должно быть. А для возбуждения читательского интереса нужны интриги. «Спасение» для биографа в том, что хороший человек непременно ополчается против себя нехороших или тех, кто его почему-либо не приемлет, да и обстоятельства жизни складываются поразному. Так возникают естественные оппозиции:

- дети, смеющиеся над старомодностью и донкихотством отца;
- месть десятника (пожар на стройке музея);
- природа против Цветаева (смерть двух молодых жен);
- соперничество с Эрмитажем за египетскую коллекцию Голенищева;
- министр народного просвещения функционер Шварц против просветителя Цветаева;
- утонченный искусствовед Муратов против цветаевской концепции музея.

А Мария Александровна, ревнующая к памяти Вавы?

А кража гравюр в Румянцевском музее и фортель друга семьи Кобылинского, исподтишка работавшего ножницами с библиотечной литературой?

Или Клейн, спорящий с Цветаевым по поводу архитектурных решений, падающий в обморок от огромных долгов по строительству Музея изящных искусств, вынужденно отвлекающийся на другие работы?

Или Юрий Степанович, отстаивающий свои вкусы (за свои деньги) в противоборствах и с Клейном, и с Цветаевым?

Они открывают для меня новый «закон диалектики» – закон единства и борьбы единомышленников (а не противоположностей).

И самая главная интрига: построят – не построят? Откроют – не откроют? Успеют – не успеют? Доживут – не доживут?

Мы-то знаем: построят, откроют, успеют, доживут! Но ни им самим, ни их современникам ответ не очевиден.

### 3

Издатель просит уточнить концепцию книги. Просьба законная. Беда только в том, что концепция не формулируется заранее. Она вырастает вместе с книгой по мере написания. Тогда можно надеяться на ее органичность. Естественное не задается наперед. Естественное рождается в процессе роста. Издатель (сам поэт) вас понимает, потому просит фактически не концепцию, а хотя бы первоначальный план. Но и его пока нет. Надо смотреть подлинники – дневники Цветаева, и потому с рекомендательным письмом «Нового мира» направляю стопы к Дому Пашкова в Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

Со стороны Старо-Ваганьковского переуллка вхожу во двор. Между прочим, я здесь раньше никогда не бывал. Всегда смотрел на Румянцевский музей от Кремля.

А в этом – обратном – ракурсе он еще интересней. Ничто не рассеивает внимания и видно только одно: белый дивных пропорций дворец, устремленный в густую небесную синеву. Ничто не мешает любоваться на его красоту – светское подобие красоты храма Покрова на Нерли.

По аккуратной, чисто выметенной дорожке иду к зданию с четырьмя коринфскими колоннами над входом и массивной двустворчатой дверью.

Все внутри – безмолвно, беломраморно, гулко, пустынно.

Прекрасный читальный зал («От государственного канцлера Румянцева на благое просвещение») – высокий и просторный – с классическими библиотечными антресолями, с темно-коричневыми стеллажами, полными потускневших фолиантов. А посетителей совсем мало – человек семь. Редкими звездочками светятся настольные лампы. Здесь многие годы работал и директорствовал Иван Владимирович Цветаев. Здесь я возьму в руки его дневник, заполненный черно-чернильной вязью событий, несущий в себе следы его сомнений, признаний, наблюдений, тревог. Дневник – самый интимный литературный жанр. Он еще интимней писем. Дневник – это письма к самому себе.

Занимаюсь текстологией – разбираю почерк цветавского дневника. Ранее записи были прочитаны и опубликованы отрывками, а почетное право дешифровать интересующие меня фрагменты умудренные цветаеведы охотно оставили мне самому.

Передо мной толстая линованная тетрадь в твердом переплете, прошитая для прочности металлическими скрепками. Поля с обеих сторон не отчеркнуты, а слегка перегнуты. Таких тетрадей три.

Творец автографа использует бумажное пространство крайне экономно. Записи делаются на каждой линейке почти без абзацев. Разворот от поля до поля смотрится как сплошной текст. Постепенно привыкаю к почерку,

который поначалу показался не только очень аккуратным, но и не вполне разборчивым. Он округлый, с каллиграфическим чередованием волосных и жирных линий. Исправления есть, но их крайне мало. Фрагменты в десятки страниц не содержат ни малейших помарок. Всякая новая запись помечена подчеркнутой датой. По тому, как Цветаев ведет дневник, можно судить об его собственной аккуратности, чрезвычайной экономности, навыках усидчивой, сосредоточенной работы, умении концентрировать впечатления, внимание, реакции, мысли и выражать их сразу набело, без предварительных черновиков или многочисленных правок. Почерк и стиль ведения дневника позволяют создать представление о человеке. Выросший в бедности, в постоянной нужде, привыкший к бережливости во всем, Иван Владимирович, и превратившись в довольно состоятельного господина, не изменяет привычкам юности. Первая тетрадь завершается подробным описанием торжественной церемонии закладки здания Музея в присутствии высочайших особ. Одной из кульминаций должно было стать воздвижение осеняющего стройку креста. Цветаев пишет:

«Закладывание именных камней высочайшими особами приходило к концу; и в этот момент Клейн (архитектор, автор проекта. – А. С.) подошел к государю и попросил его осчастливить присутствием поднятия креста на стройку.

Тем временем <мы> подошли к углу павильона, откуда можно было видеть церемонию поднятия креста. Зная, какое важное значение *будет...* (курсив мой. – А. С.)»

На этом запись обрывается, и читателю остается только догадываться: что же «будет»?.. А причина обрыва текста чисто техническая. Кончилась первая тетрадь. Негде писать. Нет места. И тогда вторую тетрадь Иван Владимирович начинает с продолжения усеченной фразы: «...*иметь* (курсив мой. – А. С.) по мнению рабочих факт присутствия при этом государя».

Интересно, что точно такой же своеобразный перенос текста из тетради в тетрадь унаследовал от деда его внук Георгий Эфрон (Мур) – сын Сергея Эфрона и Марины Цветаевой, едва ли знакомый с дедушкиным дневником. Скорее здесь проявился тонкий генетический эффект, принадлежащий к разряду «необъяснимых». Исследователи Елена Коркина и Вероника Лосская пронаблюдали, что Георгий (пятнадцатилетний Мур, спустя двадцать семь лет после смерти деда) перенес из закончившейся тетради в новую даже не часть предложения, а всего один слог!

«Дневник № 2.

29 / III – 40

...Если продлят (возможность Марине и Муру жить в Доме отдыха в Голицыне. – А. С.), то мы останемся здесь до мая, а потом придется *переез...* (курсив мой. – А. С.)».

Так на полуслове за неимением места обрывается Дневник № 2, а продолжение – в следующей тетради:

«Дневник № 3.

29 / III – 40

...*жать* (курсив мой. – А. С.) в другую комнату в Голицыне». <sup>1</sup>

При жизни Ивана Владимировича Марина ни разу не была на папиной работе – в Румянцевском музее. Впервые она посетила его в воскресенье 14 июля 1919 года:

«1<sup>ый</sup> раз в жизни в Румянцевском музее, где папа 30 лет (по сути. – А. С.) был директором (фактически – лет 14!)

Входя в ворота (с Ваганьковского пер.) останавливаюсь, не смея ступить от восторга: зеленый сад, совершенно пустой, золотая дорожка, по которой сейчас пойду, и в глубине белое здание, летящее в небо.

Читальный зал торжественен: роскошь и строгость, совершенно понятно, что простонародье туда не ходит. На редко поставленных стройных шкафах старинные золотые

<sup>1</sup> Георгий Эфрон. Дневники в 2 т. Том 1. М., 2004. С. 7, 8.

вазы. Всё очень бело. Окна полукруглые, длинные. В моем окне какая-то башня и голубой туман.

Столы блистательно-чисты и пусты. Глубокое молчание. Во всей зале человек семь.

Сажусь с 8<sup>ым</sup> томом Казановы к окну, за совершенно пустой стол.

Да! Когда я записывала свою фамилию, барышня, выдающая книги, спросила: – «Вы не родственница покойному директору Цветаеву?»<sup>1</sup>

Из сравнения посещений музея дочерью Цветаева и его биографом, посещений, запечатленных в двух записях, которые отделены друг от друга почти веком истории, – и каким веком! – видно, что Румянцевский музей, по счастью, уцелел и в нынешней культуре. Читальный зал все так же торжественен; шкафов уже давно нет, золотых ваз тем более; но те же семь посетителей, что и прежде, составляют элитарный клуб, сохранившийся вопреки столетию революций, экспроприаций, войн, контрреволюций, приватизаций и прочих гражданских смут. Как будто эти семеро так отсюда и не уходили; как будто их настольные лампочки так и светят с тех пор и поныне...

Время на подготовку рукописи «Иван Цветаев» вышло, а конца подготовке не видно. Остается год до установленного издательским Договором срока. Бросать взгляды и нечто, мечтать, строить планы уже некогда. Пора зацепиться за что-то конкретное. Пора макнуть «Manuscript» в «Parker». Но не начинается с начала, с детства. Не начинается...

Тогда начнем с любого. Скажем, со Шварца против Цветаева. Конкретно? Вполне. А монологи государственного ревизора князя Чегодаева-Татарского, напущенного министром на музей, монологи, стенографически точно воспроизведенные Иваном Владимировичем в его брошюре «Спорные вопросы. Опыт самозащиты» просто

<sup>1</sup> *Марина Цветаева. Неизданное. Записные книжки в 2 т. Т. 1. М., 1997. С. 359, 360.*

великолепны! Между прочим, князь в разговоре с Цветаевым упоминает Гагры и принца Ольденбургского, а мне рассказывала о них Марина Викторовна Классен-Неклюдова – заведующая нашей лабораторией в Институте кристаллографии. Летом 1913 года она девочкой отдыхала с мамой в Гаграх, была знакома с принцем, и на прощание он подарил ей и маме букеты роз – передал из рук в руки прямо в экипаж. Значит, я пожимал ту самую руку, которую, когда она была детской ручонкой, пожимал принц Ольденбургский. Тремя годами раньше принц брал под руку князя Чегодаева-Татарского, рекомендуя ему отдых в Гаграх вместо Ривьеры, а князь, начиная ревизию Румянцевского музея, не мог не обменяться снисходительным рукопожатием с директором Иваном Владимировичем Цветаевым. Вот от этого – «личного» – и оттолкнемся, имея в виду протянувшуюся во времени, но вполне реальную цепочку действующих или движущих действие лиц:

*Иван Владимирович Цветаев – князь Чегодаев-Татарский – принц Ольденбургский – Марина Викторовна Классен-Неклюдова – Автор*

Так первой была написана далеко не первая главка «Шварц против Цветаева». (Она войдет в главу восьмую). И только после этого пишущий набросал общий план книги и ее начало: главу первую «В учении».

Да, не все шло так гладко, как хотелось бы.

9 марта завершил набор второй главы («Вава») и всю ее нечаянно «смахнул» в компьютере. А начало главы и в черновиках не нашел. Пишу опять... Потом две недели перенабираю заново.

Однажды в «Музее личных коллекций» заглянули с Леной в книжный киоск, украшенный каталогами выставок, и она ястребиным оком книжницы мгновенно выхватила три толстых серых тома переписки Цветаева с Нечаевым-Мальцовым, только что вышедших из печати. Я ничего о них не знал, но *на ловца и зверь бежит*. Теперь нашу

работу без «Переписки...» не представишь. Этот замечательно полный и добротнo откомментированный труд стал основным для нас источником по Цветаеву. Письма продолжили череду дневниковых записей, которые Иван Владимирович прекратил вести именно оттого, что заменил их письмами. А письма запечатлели всю историю создания Музея, переплетенную с жизнью семейной и общественной.

В главном здании смотрим не столько основную экспозицию, сколько интерьеры залов и двори́ков, средства на сооружения которых выхлопотаны Цветаевым у богатых дарителей; как бы идем следом за ним – первым экскурсоводом, водившим музейными анфиладами своих гостей.

Первого апреля совершили круг по всему Бульварному кольцу Москвы. Бульвары мокрые, в весенней воде и снегу – рыхлом, тающем, шершавом... От Дмитровки прошли Пименовским переулком, где жили Иловайские, а потом пересекли Тверскую и по Мамоновскому под горку спустились к Трёхпрудному. Вместо одноэтажного домика с мезонином, подаренного Цветаеву его первым тестем историком Дмитрием Ивановичем Иловайским, стоит краснокирпичный дом № 8. Но скоропечатная Левинсона (модерн Шехтеля) сохранилась. Здесь Иван Владимирович печатал свои записки и отчеты, а Марина – первые стихи. Можно сказать, «домашняя типография». Вот примерное место, где стоял городской Игнатъев перед окном цветаевской гостиной. А в лавочку напротив сёстры бежали за леденцами. Малым Палашевским и Сытинским Ася с Мариной ходили гулять на Тверской бульвар к памятнику Пушкину. В Сытинском переулке Лена показывает мне уцелевший дом бригадира Андрея Сытина, «похожий на цветаевский, если убрать фронтон и колонны» – ee открытие. Через кондитерскую Августа Фрея выходим на Тверской бульвар

В какой-то момент возникла конкуренция между главами: что делать раньше – пятую «Общее дело» или седьмую

«Дети»? Но раньше получилась шестая («1905 год»). Почитаю письма Ивана Владимировича за 1904, 1905 годы, решаю выделить это время в особую главу, как жизненно важное для России и Цветаевых. То, что отцам видится как катастрофа, детям представляется романтикой борьбы за правое дело. Те, кто для отцов – преступники, для детей – герои...

А Захаренков представил в Москве Василия Львовича Пушкина с его поэмой «Опасный сосед», насквозь проиллюстрированной разноцветными рисунками Трауготов. Самый знаменитый «дядя» в истории русской литературы не мог, наверно, вообразить, что весь его развеселый балаган так свежо и живописно оживет спустя двести лет после того, как отшумел.

В кулуарах Вечера издатель поговорил о «Цветаеве» с автором.

Лапидарность диалога позволяет воспроизвести его целиком.

- Времени у нас мало.
- Написана половина книги.
- Я в вас не сомневаюсь.

К середине мая вошел в более или менее «круглосуточный» режим работы. Дым коромыслом. Все полки в цветаевских книжках, а все книжки пересыпаны бумажными закладками.

Труд, по таким срокам неподъемный, и, можно было бы подумать, каторжный, представлялся мне однако совсем иным. Утром просыпаюсь с радостным предчувствием большого рабочего дня. Непередаваемое ощущение, чистый парадокс: счастье от предвкушения изнурительного труда! Счастье, может быть, потому, что темой труда служит общение с дорогими мне людьми, пусть воображаемое, но такое, чья реальность не подлежит для меня никакому сомнению.

Лена очередной раз штудировает письма, воспоминания Марины Ивановны и выбирает самое ценное. Особенность

ситуации в том, что выбирает она ровно то же, что выбрал бы и я. В этом отношении мы – как будто один человек.

А в Москву пришло лето. Все в зелени. Солнце. Теплынь. Чистые пруды («Чистенькие») украшены грядками тюльпанов, Головинские пруды – зеленеющей дубравой и новыми мостиками. Читаем вслух маринину прозу: «Хлыстовок» и «У Старого Пимена».

Под моим патронажем в Питере выходят полиграфически роскошные «Сочинения Козьмы Пруткова» – заключительная четвертая книга «Прутковского проекта». А куда суд да дело, успеваю с последней девятой главой. Она называется словами Цветаева: «Я совершил всё, что мог...» Так Иван Владимирович перефразировал строки Баратынского из стихотворения «На смерть Гёте»:

...зане совершил  
В пределе земном всё земное!

Цветаев отнес эти слова к самому себе.

Середина августа. За окном + 31. На вершинах каштанов, на пожелтевших от зноя ярусах ветвей ниже и вровень с моей мансардой, не дрогнет ни жилки. А над ними – неподвижные, набухшие снизу синеватой влагою облака, своим величием напоминающие античные руины небесного полдня.

Последнюю точку «Manuscript» ставит 31 августа – в день памяти Марины.

## ВИОЛОНЧЕЛЬ ЗА БУМАЖНОЙ СТЕНОЙ 2016

*«Колючка». Забавы для дошкольников. Как сбить петушиный кураж. – Косой футбол. – В силках фортепьянного искусства. – Теннисный торт. Натура суть такова, каковую ты ее мыслишь.*

**В**озвращаемся с научного сбора. В коридоре скорого поезда «Адлер – Москва» старший коллега, рассказывает мне о своем детстве. До семи лет он жил с матерью за колючей проволокой как сын врага народа. Школа жизни там была, а общеобразовательной школы не было. Так совпало, что в семь лет его с мамой освободили, и если все дети после ребячьей вольницы попадали в замкнутое пространство класса, как в некую клетку, то для бывшего зк школа олицетворила собой свободу. Слова «я в школе» означали «я на свободе». Метафорическая мудрость, гласящая, что знания освобождают человека, для него приобрела буквальный смысл и повела по жизни. С золотой медалью поступил он в Московский университет.

Успевший почувствовать паралич страха, еще всю сковававший наше общество и после кончины Корифея наук, спрашиваю:

— А как же вас приняли с такой предысторией?

— А я сказал про отца, что никогда его не видел — это правда, и ничего о нем не знаю — это неправда, но *с волками жить — по-волчьи выть*.

Сравнивать такое детство с моим не приходится, хотя первый раз колючую проволоку я тоже увидел в самом нежном возрасте — года в два или три, но увидел на даче в «Заветах Ильича», куда меня привозили на лето из Москвы к нашей родственнице. Колючая проволока обтягивала участок моего ровесника и соседа Борьки Батырева, тоже вывозимого на природу. Проволока была ржавая-прержавая, вся в острых узелках, торчащих закорючках, мелких ёжиках, до которых страшно было дотрагиваться еще и потому, что по такой вот проволоке, как я узнал, немцы пускали ток, а нам на участки как раз провели электричество, и мы видели, как монтер в «кошках» ловко лазал по столбам к фарфоровым чашечкам наверху и мечтали обуться в такие же «кошки», чтобы лазать по строевым соснам, у которых ветки начинались под самой макушкой. Каждый электрический столб обнимала жестяная табличка: «Не влезай, убьет!» К надписи был пририсован череп со скрещенными костями. Это впечатляло. И я подумал: а не пустила ли борькина бабка ток по своему забору без всяких предупреждений?..

— Нет, — успокоил Борька и смело ущипнул железную нитку между колючками. Его не тряхнуло.

И все-таки дополнительные меры безопасности бабушка приняла, правда, это была экологически чистая защита. Изнутри вдоль забора непрерывной стеной подрастали густые ёлочки, чьи колючки переплетались с проволочными и делали забор не проходимым. Все остальные дачи огораживал штакетник, или они вообще стояли не огорожены. В отсутствие хозяев мы беспрепятственно гуляли по чужим участкам, забирались на открытые деревянные террасы с бортиками, растресканными от дождей и зноя.

До семи лет, а то и позже, игра в войну составляла смысл нашей жизни, формировала характеры, развивала

воображение. Войны́ было две: Гражданская и Великая Отечественная. Мы не могли представить себе ни дня без сражений с армией барона Врангеля, без обороны Одессы или взятия Берлина. Всё это сражалось, оборонялось и бралось несчётное число раз, притом, что оперативные планы командования постоянно менялись, и варианты одной и той же войсковой операции поражали разнообразием. Мы не только сбрасывали Врангеля в море, но и загоняли его в горы, что было еще интересней, и там на вершинах Карадага предъявляли ему ультиматум о безоговорочной капитуляции. Мы защищали Одессу до последнего патрона, а когда он кончался, уходили в катакомбы и оттуда совершали дерзкие налеты то на Дерibasовскую, то на Ришельевскую, похищая немецких часовых прямо из-под памятника Дюку, чтоб не смели сторожить нашего губернатора! В воздушных боях за Берлин мы сбивали вражеских ассов, как мошек – одним щелчком, но и сами гибли целыми эскадрильями, и наши горящие «ястребки» катались по сырой траве под стоны в голос чьей-нибудь выскочившей за калитку бабуся: «Яшенька! Внучок!.. Поднимайся. Сейчас весь мокрый будешь. Встань с земли, не послушник, тебе говорят!»

Особенной удачей считалось у нас погибнуть в последний день войны в последнем бою. Такого героя оплакивали все «Заветы Ильича»; ему салютовали проходившие на Север воинские эшелоны; густым басом гудели в честь него тяжелые составы с лесом, двигавшиеся навстречу эшелонам; пронзительно взвизгивали нервные электрички. В дачном поселке не было дома, до которого не докатилась бы посмертная слава героя, ибо дошкольников числилось совсем не много и каждый ценился на вес золота. В нашем дачном кругу отношение у взрослых к детям, появившимся на свет в годы войны или сразу после, было почти как у верующих к намоленым иконам.

А мы воевали. Время передышке наступало лишь по воскресеньям, когда приезжали с работы мамы и лечили

героев, смазывая йодом ободранные коленки, бинтуя окорябанные локти. У нас это называлось «попасть в медсанбат». Спасало только то, что все медсанбаты были воскресными и немедленно закрывались, едва родители (мамы и ненадолго подтянувшиеся следом отцы) отправлялись на штурм вечерних электричек из Загорска.

Гражданскую войну я прошел красным командиром, Отечественную – героем-летчиком. За Гражданскую заслужил орден Боевого Красного Знамени, за Отечественную – Героя Советского Союза. Хуже всего было играть на стороне белых или немцев. Честно скажу: этого не хотел никто. Сам видишь в себе врага, всегда проигрываешь и никаких наград. Да и как мне, например, с орденом Боевого Красного Знамени на груди наступать в шеренгах генерала Каппеля плечом к плечу с царскими офицерами, обвитыми мишурным золотом аксельбантов? Это же невымыслимо! Это противоречило не только здравому смыслу, но – главное – этическому чувству. Именно ему отвечало мое нежелание переходить на службу к белым, тем более предлагать свои профессиональные услуги авиации Геринга. Не в орденах дело! А дело в недопустимости предательства, в позоре предательства. Почему же это надо было скрывать? Не ссылаться на несовместимость красного ордена с золотым аксельбантом, а сказать открыто: я – такой красавец, я так беззаветно предан... Потому что каким-то неведомым чутьем мы догадывались, что вслух об этом не говорят, что гражданская честь проявляет себя поступками, а не самохвальством.

Но враги требовались, как воздух. Без них никакой игры не получалось.

И потому врагами назначали тех, кто не проявил себя в бою, хоть и был таким же нашим.

У Борьки не сложилось с боевыми наградами. Он часто удерживался в плену бабушкой и не успел пролить кровь под Перекопом, пасть смертью храбрых в херсонских степях или закрыть грудь вражескую амбразуру. А когда

ему удавалось бежать из плена, все положительные роли бывали уже разобраны и оставалось лишь маскироваться под негодяя. Кем он только не был! И начальником контрразведки у Врангеля, и кучером у Махно, на лязгавшей и терявшей колеса батькиной тачанке, и фрицем-мародевром из дивизии СС «Мертвая голова». Он всегда или погибал, или пропадал без вести. В последнем случае к нам прямо на театр военных действий ковыляла его бабуля, не получившая вовремя по радиации никаких сигналов с координатами внука.

— Ребята, вы Бореньку не видели?

В конце концов Борис отказался играть, если ему не предложат роль маршала Клим Ворошилова. Роль дали и постановили, что, делать нечего, пусть все-таки враги будут у нас теперь мнимыми. Настоящих нет. Иначе говоря, белые наступают, но они *как будто* развернулись в боевые колонны с расчехленными знаменами. Немецкие транспорты идут ко дну в акватории Балтийского моря, но они *как будто* пускают пузыри гроздьями, и наши боевые товарищи под видом немчуры больше не «тонут» в Серебрянке. Однако такая модификация и всю игру превратила в сражения с пустотой. Мы уже не воевали, а имитировали боевые действия. Наши акции превратились в фикции.

И тут на вторую, долгое время пустовавшую, половину нашей дачи впервые приехал хозяин – генерал-полковник Колпаков с женой и сыновьями. Большая, шумная семья. Легендарный генерал участвовал в абонированных нами войнах не *как будто*, а на самом деле: от и до, а его средний сын Сашка оказался моим сверстником. Историю Гражданской войны Сашка знал досконально. Конечно, он был за красных, как и мы. Еще бы! При таком отце... Но он так подробно, с таким знанием дела, чтобы ни сказать, упоением, расписывал белых: номера частей и соединений, вооружение, амуниция, красота парадных расчетов, выучка офицерских батальонов, джигитовка горцев, имена-отчества казачьих, артиллерийских,

пехотных генералов, – что спутал нам все карты. Воевать с такой Белой армией, которую фактически мобилизовал, вооружил, выучил и бросил в бой сын красного командира Александр Колпаков, энтузиазма ни у кого не осталось. Борька приосанился, а красные скисли. Заметьте: Сашка не говорил, что белые – хорошие, он просто их эстетически облагородил, и этого оказалось достаточно, чтобы обе воюющие стороны сложили оружие. Казалось, что подобный «политпросвет» мог устроить сыну только отец – очевидец и участник событий, что было исключено, имея в виду его партийность и боевые заслуги. Откуда же у мальчишки возникла страсть к такой героизации врага? Из чувства противоречия? Из уважения к образованности белых генералов, добротности их мундиров? Из непонимания того, что Гражданская война велась не между знаниями и невежеством, а между наукой и обездоленностью, красотой и правдой? Так или иначе, факт состоял в том, что сражения на улице Декабристов, в проезде Народовольцев и в Большевицком переулке прекратились, а вслед уже как-то автоматически пропал интерес и к разгрому германских дивизий. Вот как надо бы избавляться от воинственного куража: перестать отплясывать на вражьих косточках, ненависть и злорадство сменить на сочувствие и приязнь, глядишь, петушинный кураж и сникнет, а его гордо раздутый зоб, лопнет, даже и не напоровшись на колючку от борькиной ограды, и со змеиным шипением сдуется: пшшш-ш!..

## 2

Мы переключились на футбол.

Луг близлежащих Колпаковых показался нам для этого вполне подходящим. Генерал ничего не имел против. Наоборот, приветствовал. Естественный газон. Одна штанга – береза, другая штанга – куст. Верхней не было. Удары в «девятку» мы оценивали на глаз, правда, глаза у разных команд оказались почему-то разными.

- Гол! – кричал бомбардир «Спартака».
- Штанга..., – правил его защитник ЦДСА.
- Какая штанга? Точно гол – под самую планочку...
- Так почудилось на мгновение всем. Но верхняя штанга спасает ворота Бориса Разинского!

Разинским был, конечно, Борька Батырев. Никто не хотел стоять «на часах». Все мечтали водиться, финтить, пасовать, рваться к воротам, копить угловые и с радостным воплем: «Три корнера – пеналь!» бежать забивать пенальти.

Это был напряженный момент.

Береза выглядела конкретно и сомнений не вызывала, а вот куст... А ргіогі считалось, что если трепыхнулись внешние ветки куста или мяч влетел в середину и застрял, то значит штанга, а если трепыхнулись внутренние веточки, то это от штанги в ворота, то есть гол. Вынимай, разиня, из малинника за воротами. Но это в теории. А на практике любое попадание в куст расценивалось атакующими как гол, а защитой – как штанга. Требовался судья.

Судить согласился мой дядя Костя – сын нашей хозяйки, молодой офицер, проводивший летом массу времени на даче. Он любил спорт, пася со мной в малине, ходил купаться на Серебрянку, звенящую ледяными ключами, и голый вылезал из воды, посинев от холода и фырча, как конь. Вопрос проблемной штанги Константин отчасти решил, привязав к кусту чей-то бывший пионерский галстук. Его ситец хоть и выцвел на солнце, но еще хранил верность красному знамени и делал более зримым характер попадания мяча по кусту. Те же два варианта фиксировать стало легче. Удар в галстук или правой – штанга, удар левой – гол. То ли дело: *стукать по кусту как бы под контролем галстука: стук-стук-стук!..*

Лужок сам по себе казался нам ровным, плюс-минус несколько кочек и ямочек. Ровным-то он был ровным, да наклонным от Верхних ворот к Нижним, и под совсем неплохим углом. Береза и куст фиксировали Верхние

ворота, а две воткнутые в дёрн палки – Нижние. Перепад местности делал наше футбольное поле уникальным. Ни на одном известном нам стадионе мира – ни на «Динамо» в Москве, ни на «Уэмбли» в Лондоне, ни на «Маракане» в Рио-де-Жанейро – такого поля не было.

Первый тайм одна команда сыпалась под горку, а вторая гнала мяч круто вверх, а во втором тайме они менялись воротами, так что всё делалось по-честному. Пролететь с мячом от Верхних ворот до Нижних никому не составляло труда, а вот целый тайм забираться к Верхним не всякому хватало сил. На прямом поле – как? Если мяч остановился, то уж и стоит. А у нас на наклонном катится и катится, и всё время в одну сторону – вниз. А наверху штанга-куст, пусть и с галстуком, всё равно дает возможность оспаривать взятие ворот. Один раз я поспорил с судьей, и он – мой дядя – удалил меня с поля. Племянника! И здесь всё по-честному. Так или иначе, Верхние ворота имели свои преимущества перед Нижними.

Я бы обратил внимание руководителей Федерации, наших футбольных специалистов и тренеров на то, что вроде бы простая вещь – рельеф местности, а насколько он делает игру более зрелищной! Интересные задачи встают тут и перед спортивными архитекторами, инженерами. Например, как выбрать оптимальный угол наклона футбольного поля? У нас в «Заветах Ильича» он задан естественно, мы его не выбирали, но оптимален ли он? Для больших стадионов его требуется уточнить и стандартизировать. Вот и хочется сказать инженерам: наклоняйте поле, не ленитесь, пробуйте, варьируйте угол. Только не надо утрировать – ставить газон вертикально. Кто на нем тогда удержится? Все посыплется в Нижние ворота. Там будет столпотворение хуже, чем при подаче углового на последних секундах при счете 3:3, когда все трутся-трутся друг о дружку, хватают за руки, и никто никому не дает играть. А здесь еще пуще. Здесь просто обе команды будут бултыхаться в Нижних воротах. Делайте

разумно: наклоните поле вначале под углом 15 градусов. Игроки стоят? Стоят. Хорошо. Теперь наклоните под 30 градусов. Стоят? Стоят. А под 60 – много. Я вам говорю: мно-го! Наклон футбольного поля под углом 60 градусов к Нижним воротам так усложнит условия игры, что не позволит мастерам демонстрировать весь арсенал своей индивидуальной техники. Мастера будут думать не о дриблинге и комбинациях, а о том, как им сохранить физическое и душевное равновесие на избыточно наклонной плоскости. Нижневоротцам, атакующим круто в гору, сама крутизна обеспечит контроль мяча: как его ни толкай от себя, он возвращается к ноге, словно привязанный на резиночке. Зато верхневоротцы в панике: чуть посильней отпусти мяч и ведь за ним не угонишься. Здесь нужна совсем другая тактика. Нельзя атаковать напрямую – в лоб: и мяч упустишь и сам на ногах не удержишься. Здесь надо спускаться очень аккуратно – широкими галсами, высокогорным серпантинном. Основной прием – распасовка поперек поля и постепенный, всей командой спуск в долину. А сопернику галсы ничего не дадут. В гору галсами не ходят. Тут хороши навесные передачи на главных бомбардиров, уже однажды добравшихся до вершины и там закрепившихся в опасной близости от Верхних ворот. Получив мяч навесом снизу, две смысленных забивающих головы всегда разберутся с бестолковой защитой, оставят ее не у дел и, если не промажут второпях, то заставят вратаря выбрать мяч из малинника за воротами. А ягодку пусть сорвет, чтобы подсластить свою печаль.

Но варьируя угол наклона, подумайте и о судейской бригаде. Ладно боковые судьи. Им лишь бы устоять на крутизне. Но главный судья!.. Ему же два тайма бегать вверх-вниз, вверх-вниз.

Подумайте и о зрителях. Одно дело стадион прямой, другое дело – косой. Равномерная плотность упаковки трибун сильно изменится. Места возле Верхних ворот фактически освободятся, поскольку фанаты целыми

рядами съедут по лавкам к Нижним воротам, тем более, что вся игра – там.

Борька нормально – на ноль – отстоял первый тайм наверху. Удары в створ его вообще миновали, а на удары мимо он кричал, распираемый сознанием своей вратарской непробиваемости и мальчишеской гордыней:

– Борис Разинский – лучший вратарь сезона! – и вместо того, чтобы лазать по кустам за чужими промахами, требовал с приятно щекочущим чувством своей юридической правоты:

– Автора! – после чего мазила – «пеле» покорно плелся вытаскивать мяч из малины согласно «Закону об ответственности за удары мимо ворот».

Но внизу всё поменялось кардинально. Можно сказать, встало с ног на голову, и голы на лучшего стражника сезона посыпались со страшной силою.

– Ворошилов, ты хоть раз парируешь? – сдерживаясь от резких выражений, совестили «Клима» одноклубники, а он метался в воротах при виде валяющихся на него сверху друзей – вражеских бомбардиров. Ему было уже не до мяча.

– Я так не играю! – кричал Борька. – Я хочу в нападение.

– А кем ты там будешь, ты подумал?

– Я буду центральный нападающий Виталий Зуб – «Локомотив» (Харьков).

### 3

Музыка!

Вот что заставляло регулярно подстригать ободки моих молодые ногтеи. Клавиши черниговской «Украины» были белые-белые, гладкие-гладкие, и ноготки цокали по ним, как копытца, подбитые серебряными подковками, примешивая свое цоканье к чистому тону нот. А это, между прочим, не входило в планы композиторов, предлагавших мне свои сочинения. Даже Чайковский с пьеской «Игра в лошадки» из «Детского альбома» не предполагал

аккомпанемент ноготков к основной мелодии. Казалось бы, десять пальчиков-десять подковок просто просятся создать сопровождающий фон, но не я же был композитором, а Петр Ильич! А он не захотел. Наверно, решил, что стук ноготков по клавишам будет отвлекать ученика от мелодии и задерживать его восхождение по ступеням фортепьянного искусства.

А клавиши, кроме черных, были не только белые, как лед, присыпанный снежком, но и скользкие. Копытца с подстриженными подковами, лишённые опоры, наверняка скользили бы по клавиатуре, как кони дружины князя Игоря на гололёде, когда всадники спешили на битву. Но мои копытца не скользили, потому что шли не по ровной дороге, а как будто по мосту с проваливающимися брёвнышками. Наступил ребром большого пальца на клавишу и провалился, наступил подушечкой указательного – провалился, а брёвнышко за тобой уже поднялось и встало на место; наступил средним пальцем – снова провалился. Наступил безымянным, наступил мизинцем... Так и продвигаешься с музыкой на помощь князю Святославу по старинному До-мажорному тракту. Здесь я впервые подумал о том, что сочинять музыку интересней, чем ее исполнять. Хочешь – цокай, не хочешь – нет. Хочешь эту нотку возьми, не хочешь – ту. А исполнитель играй, что тебе задали, и никаких выдумок. Но в свои четыре года, когда Моцарт уже сочинял симфонии, я понятия не имел, как сочинить что-нибудь, пускай менее притязательное, хотя бы «Во саду ли, в огороде...» Ясно, что для этого надо научиться играть или, как говорили взрослые, овладеть инструментом, хотя слово «инструмент» я привык применять к молотку и клещам. Одним инструментом забиваешь гвозди, другим их вытаскиваешь. А, кстати, почему – «клещи»? Как будто их много, когда они – одни? Один «клещ»...

— Алёша, не отвлекайся! – требует учительница. – Играй мягче. Что ты, как будто гвоздики заколачиваешь?

Учительница – молодая, яркая армянка по фамилии Мгеброва. Импульсивная, быстрая, резкая – она меня подавляет. Мгеброва представляется мне роковой женщиной немого кино. При ней я чувствую себя начинающим тапёром. Она вскидывает руки над титрами и, словно с экрана, обращается ко мне в зал: «Как можно так играть?» Она вскакивает со стула: «Всё! Я ухожу.» Снова садится. Новые титры: «Прекрати брэнчать! Сосредоточься. Еще раз, пожалуйста». Я краснею. Я волнуюсь. У меня начинают дрожать пальцы. Непонятно, кто кого терзает в этом кино. Она считает, что я – ее. («Алексей! Ты меня уже измучил. Я больше с тобой не могу-у...»). Если читать одни титры, то впору подумать, что у нас жестокий любовный роман. Однажды эта страстная натура шлепнула меня по рукам. Не больно. Но обидно. Я подал на развод. Спустя целую жизнь выяснил, откуда явился в мир такой вихрь. Его родоначальником был, по-видимому, Авессалом Мгебров – генерал-лейтенант инженерных войск Русской Императорской армии времен Первой мировой войны. Начальник отдела генштаба. Классовый враг генерал-полковника Колпакова. Между прочим, выдающийся пианист и педагог. Вот такие были у нас «царские генералы», по наследству передававшие свою музыкальность, но не педагогический дар.

А за бумажной (точней, картонной) стенкой соседствовал с нами дипкурьер Сверчков – голубь дипломатической почты, летавший в Штаты с секретными депешами, хранимыми в поясе на голом теле, прикрытом партикулярным платьем. Решая задачу музыкального образования сына Гоши, Сверчок ориентировался на нашу семью. Потому вскоре точно такая же «Украина» оказалась водруженной по другую сторону стенки спиной к спине с нашей. Так через формальную границу расположились две полнозвучные «Украины», что при отличной звукопроницаемости картона позволяло обеим семьям-участницам педагогического процесса внимательно следить за репертуарной

политикой соседей. Вначале Гоша, естественно, отставал, но по мере усложнений в моих отношениях с госпожой Мгебровой, ее деморализующего воздействия на мою психику, Гоша догнал меня, и «Старую французскую песенку» («Идут за днями дни беспечной чередой, // Унылою тропой к могиле всяк спешит...») дети играли уже дуэтом «в два рояля» – на двух «Украинах», разделенных картонной перегородкой. Слова песенки нагоняли на меня тоску и вызвали протест. Если с «беспечной чередой» можно было согласиться, то никакой спешки в том, чтобы побыстрее добраться до будущего места погребения я, например, не проявлял. И никто вокруг не проявлял. Но меланхоличность мелодии меня трогала, а ее простота позволяла оторваться от иссушающего душу поштучного переноса нот с листа на клавиатуру и проникнуться прелестью мелодии.

Вскоре Гоша получил реальный шанс обойти меня в искусстве фортепьянной игры.

Разящую, как кобра, красотку Мгеброву, которая отчаялась сделать из меня виртуоза, сменила почтеннейшая Елена Михайловна – вальяжная и спокойная до равнодушия дама, целиком полагавшаяся на мои собственные желания, а они постепенно свелись к музыкальному нулю. Бескрайнее поле мировой классики казалось мне непреодолимым, а езда по До-мажорному и прочим мажорным и минорным трактам становилась всё утомительней. Трудности овладения техникой игры превращали ее в тяжкую повинность, заслоняли красоту музыки. Я (только в меньшей степени) пережил те же страдания, что и маленькая Марина Цветаева, из которой ее мама Мария Александровна – концертирующая пианистка мечтала сделать королеву фортепьяно, а у Марины не было к тому ни способностей, ни желания. Было одно подчинение материнской воле и четырехчасовые ежедневные штудии за ненавистным инструментом, завершившиеся полным фиаско. Но, как известно, самый надежный путь

к победе – это путь от поражения к поражению. По моей догадке, занятия музыкой дали Марине колоссально много как поэту. Классическая музыка воспитывает внимание, усидчивость, вкус; развивает слух и чувствительность; скорость и остроту разнообразных реакций. Сама сложная моторика гарцующих по клавиатуре пальцев, их изобретательная аппликатура, делает ум более находчивым и гибким. Отсутствие музыкальной, исполнительской виртуозности Цветаева компенсировала виртуозностью поэтической, творческой; несравненной трансляцией в слове обуревавших ее страстей. Не осиленную музыку клавиш она претворила в единственную по ритмическому строю, рифмам, интонации музыку речи.

Спустя время, и я стану мечтать о том, чтобы читатель узнавал мой голос без упоминания имени: по одной строфе, по одному абзацу прозы. Я не имел ни малейшего представления как этого достичь, знал только, что ни желания, ни ума, ни усилий воли тут не достаточно. Нужно что-то другое... Но – что?

А пока с явным облегчением прекратил я свои музыкальные страдания, еще не сознавая, сколько пользы принесла мне эта «напрасная трата времени», как необходима она окажется в скором будущем.

Между тем под влиянием подпольного шансона я начал осваивать гитару в кружке, собиравшемся в соседнем подвале. Боже, как низко я пал, променяв бельэтаж перцовского дома на «Красный уголок», набитый сломанными стульями и украшенный кондовыми плакатами советского агитпропа, – тесный подвальчик с баннным духом теплого пара! Как я заблуждался, что после восьмидесяти восьми клавишной «Украины» с ее хитроумной механикой восьмидесяти восьми деревянных молоточков, бьющих по восьмидесяти восьми струнам деки какие-то несчастные семь струнок семирублевой ленинградской гитары покажутся мне легкой добычей, беззаботной прогулкой в мир популярной музыки! А вместо этого там, в подвале,

потянулись свои До-мажорные дорожки, бесконечные гаммы, резавшие струнами пальцы; слесарные, корежащие слух звуки криво зажимаемых ладов, а, как этап, – неуверенно пробряканное по нотам на одной струне: «Среди долины ровныя...».

Перелом произошел внезапно и совершенно не академично. Знакомый парень показал мне «на пальцах», без всяких нот, в ля-миноре три аккорда аккомпанемента – тонику, доминанту, субдоминанту. Этого хватило, чтобы саккомпанировать себе первый десяток песен и разжечь огонь творческих желаний. Я по-прежнему не знал, как пишутся песни, но ощутил дар сомнамбулического обращения в себя, в котором иногда слова стали являться вместе с простыми мелодиями. Первую песню я не помню, кроме того, что называлась она «Огонек в тумане». Это и было тем состоянием, которого я достиг ценой таких усилий и таких поражений: туман. Но в этом тумане зажегся слабенький огонек.

При звуках гитарных переборов, проникавших за бумажную переборку, прилетевший из Сан-Франциско Сверчков-Старший сделал стойку, не веря своим ушам. «Алёша взял второй инструмент... А что же Гошка?» Гитара показалась старому консерватору скорее атрибутом табора, нежели чем-то бесспорно консерваторским, и он ее отклонил. После колебаний между скрипкой и контрабасом выбор пал на виолончель.

– Слава Богу, что не на барабан, – сказала мама.

– Лена Сергевна, а что ж етто такая за виланчаль? – поинтересовалась няня Филипповна.

Длинный, взвизгивающий лязг из-за стены был ей ответом. А во след звуковая волна, как будто изогнулась горбом, заскрежетала хищно зубками, замяукала, фальшивя на каждом «мяу», и превратила нас в обреченных на прослушивание свидетелей первой репетиции Первого Кошачьего концерта Георгия Сверчкова. Громкость виолончели с ее могучим рычагом смычка не сравнимо

превосходила громкость гитары. Оставалось надеяться только на музыкальные способности Гоши; на то, что и виолончель он освоит быстрее, чем я гитару. А поющая виолончель – это наслаждение.

## 4

В мае, если тепло, окно открыто. Просыпаюсь под сухое, звонкое постукивание с улицы. Ритмичное, тугое позванивание. Глаза еще спят, а радость уже начинает править свой весенний пир.

В шесть часов утра под окнами дома Перцова дежурный Николай Ильич отпирает калитку, и первые любители раннего тенниса поднимаются по каменным ступенькам с Курсового переуллка на корты Дома ученых.

Кортов шесть.

Они похожи на ярко-оранжевый, песочный торт, расчерченный линиями белейшего крема. Теннисный торт. Он лежит в открытой коробке из высокой металлической сетки, коробку обвивают лозы дикого винограда. С нашего бельэтажа я смотрю на это спортивное чудо, как на кондитерское изделие, и никакие ячейки ограды, никакая листва мне не помеха.

Десять лет, как кончилась война.

Прошло всего десять лет с тех пор, когда ломтик белого хлеба под прозрачным мазком сливочного масла с натрушенными на него крупинками сахара, назывался «пирожным», а крошки черного хлеба аккуратно сощипывали со скатерти в ладонь. Сейчас такого нет. Но нехватка всего ощущается еще очень остро. В ближайших молочной и бакалее, по няниному речению, иногда *выкидывают* творог и гречку. Не выкидывают на помойку от избытка, а пускают в продажу как большую редкость. *Выкидывают* на прилавок. Хозяйки передают новость из уст в уста, и мы с няней уже бежим занимать *вочередь*, потому что на двоих дают в два раза больше – не *полкила*, а кило, независимо от того, сколько лет второму покупателю.

Если человек один, то ему *отпускают в одни руки*, не в одну руку, а в *одни*. Во вторую руку отпускают, если при нем есть второй человек, но и это тоже называется *в одни руки*. Русский язык первых послевоенных лет живет своими собственными запасами и конструкциями. Французский давно позабыт. Немецкий не в чести. До английского – как до другого тысячелетия. А свежий «Теннисный торт» у нас под окном это такая диковинка, равной которой нет во всей Москве. Даже в Елисейском магазине на улице Горького, в зале красивой концертного с двумя огромными виноградными гроздьями люстр ничего не слышали о «Теннисном торте». Там продают «Наполеон» и «Трюфель». «Теннисный торт» – это моя выдумка. Одна из многих. Меня она радует, как шутка, а няню она сначала смешит, как нелепость, а потом сёрдит:

– Ишь, чего навывдумлял рикошетник! Какой тебе ишшо *теннисный торт?*.. *Рази такой бывает?*

Слова вызывают во мне душевное веселье, и чем необычней связанные с ними образы, тем веселей. У меня отношение к словам самое приятельское. Я пускаю в оборот всё, что слышу: и правильную речь родителей, и словечки, подцепленные во дворе, и язык литературных радиопередач; всё, кроме самого скверного, самого унижительного, что есть в языке. Но такого я не слышу не только в квартире, но и на улице. А у няни отношение к словам вообще сугубо церковное, древнерусское, не допускающее никаких вольностей, никакой метафорической игры, разве что если она освящена авторитетом народной пословицы. И это притом, что ее крестьянская речь сильно отличается от речи дикторов Всесоюзного радио, считающейся образцовой. Вместо: «Тебе бы всё выдумывать. Не путай!» – она скажет: «Тебе бы усё выдумлять. Не путляй!» Ее русский фактически надо переводить на русский. Но корт для нее – это корт, а торт – это торт. Как человек верующий, Филипповна относится ко всякому искусству с большой осторожностью. Ничего

не зная о том, что православные ортодоксы основу поэзии – метафору считают дьявольским наваждением, няня как будто это чувствует и моих опытов не одобряет. Однако и запретить мне импровизировать со словом она не может не только потому, что этого не позволит ей мое свободолобие, но и потому, что она понимает всю разностопность жизни, ее одновременные противодвижения, вмешиваться в которые не всегда уместно. Доживи она до наших дней, могла бы и согласиться с тем, что если метафора оскорбляет чувство верующих, то гонения на метафору оскорбляют чувство поэта.

Впрочем, на кортах нет ни поэтов, ни ортодоксов. Там есть ученые. Иногда попадаются военные или артисты. Все мужчины и многие женщины прошли войну. Кто месил расквашенными сапогами глину фронтовых дорог; кто вытаскивал за колеса застрявшую в трясине артиллерию; чей парашют, как семячко одуванчика, сносила под огонь немецких зениток струя бокового ветра; кто глотал пороховой дым, наполнявший танк после каждого выстрела; кто таскал охапками розы заскорузлых, кровавых бинтов из операционной медсанбата... Все эти люди выжили. Победили. Вернулись. Окончили университеты. Пополнили Академию. И теперь до работы или после выходят на корты самого изысканного, если ни единственного в Москве, теннисного клуба. Радостью жизни кипят их дни. Отдавая силы игре, они успевают сопровождать комментариями свои промахи, цитировать пролетарских поэтов, бросаясь от сетки к задней линии за переброшенной «свечкой»: «Что я наделал? Я погиб...», – обмениваться анекдотами, приглашать друг друга в гости. Для меня это какой-то непрерывный карнавал. Конечно, в центре его теннис, и всё вертится вокруг тенниса, но и всё театрализуется, становится счастливой игрой вокруг игры. «Корысть» победы состоит только в том, что победитель угощает. Ему дано исключительное право чествовать побежденного. Турниры Большого шлема, не сравнимые по классу, зрелищности

и антуражу, завидуйте царящей здесь непринужденности, друженности, отсутствию практических интересов!

С утра, когда по соседству от дома Перцова «солнце красит нежным светом // Стены древнего Кремля», игровых на кортах не много. Два тренера – Блох и Смирнов (мой однофамилец) занимаются с новичками. Сухой, волосатый Блох в наглаженных белых брюках, цепкий, как крючок, точными пасами водит по задней линии даму в белом, а Виктор Васильевич строит тренировку на ключевом слове *замах*. Вообще существительное *теннис* происходит от глагола *держать*. В старину подающий этим возгласом предупреждал противника, что сейчас будет бить. Таким образом, слово *теннис* все время витало в воздухе. Виктор Васильевич изменил приоритет. Для него главным в игре служит слово *замах*. Замахиваться надо заранее. Встречный мяч еще не перелетел сетки, а новичок уже замахнулся и не знает, куда бежать с откинутой за спину ракеткой. Поза типа «сейчас ка-ак дам!» Мячи стучат по туго натянутым клеточкам струн.

— За-ма-ах! – слышится тренерский басок. Под него я и просыпаюсь.

У меня свой режим. Надо собираться в школу.

А корты после завтрака заметно оживляются игроками, способными позволить себе сместить начало рабочего дня ближе к полдню, чтобы воспользоваться свежим дыханием утра. Для игроков, замещающих столько значительных должностей в разных государственных учреждениях первостепенной важности, высвободить утро на часок-другой перед хлопотами по службе не представляет большого труда, а удовольствий доставляет массу.

Играют академики!

Играют члены-корреспонденты!

Играют лауреаты и орденосцы!

Днем, когда солнце начинает припекать, и веер зноя опухивает открытые пространства порта пяти морей, площадки пустеют. Разве что какой-нибудь бедолага-энтузиаст,

ворчун и скарעד, кряхтя, вытащит на песок потертый черный чемодан со сломанными замками, а потому перехваченный крест-накрест белой бельевой веревкой; чемодан, полный отыгранных мячей, и штуку за штукой, штуку за штукой станет пулять их через сетку несуществующему партнеру, отработывая подачу. Потом он будет долго собирать свое разбросанное по сторонам хозяйство, выуживая его из-под забора, шуруя ракеткой под круглым стальным катком, трамбуя площадку, обращаясь за помощью к прохожим, если какой-нибудь гиперпрыгучий озорник перелетел через забор. Покончив с подачей, энтузиаст выберет из кучи мячей не самый лысый, сохранивший остатки ворса и умеренной прыти, чтобы с похвальной педантичностью ученого мужа поверять дощатой тренировочной стенке силу и слабость своих благородных бекхэндов (ударов слева).

Да еще днем временами выходят на корт четыре по-стариковски осторожно семенящих депутата местной Теннисной «думы» – гордость секции, ветераны спортивного общества «Буревестник». Когда-то фавориты турнирных таблиц, кумиры весенних и осенних баталий, постепенно перешедшие в любимцы «утешительных пулек», они, наконец, вовсе оставили большой спорт, но не выпустили ракеток из рук! Почтенные «буревестники» утверждают своим примером, что в теннис можно играть всю жизнь. Техничность никуда не пропадает, а темп и длительность дружеских перестрелок они задают себе сами. Поиграют гейма три, посидят на лавочке, попьют «Боржоми», побалагурят. Еще сыграют. Еще посидят, побалагурят, попьют. Кто сказал, что в теннисе ничьих не бывает? У них бывает всё. Они и при счете сетов 1:1 могут решить: «Ну, хватит... Наигрались». И самим отрадно и смотреть на них – умиление. Игра в России больше, чем игра. Они любят и жалеют друг друга. Вот в чем дело.

А в этом явлении портрет и роль со словами достаются Николаю Ильичу.

Он – человек деревенский, то есть умный, порядочный – устроился по рекомендации гардеробщиком в Дом

ученых. Зимой шубы подавал, не сбрасывая кучей на бортик, как меховую, мягкую рухлядь, а почтительно помогая борцу за попадание руки в рукав продеть-таки туда то, что гнется уже не так, как хочется. Приятно окая («Благодарствую»), Николай Ильич учтиво, но без подбострастия принимал чаевые и сразу незаметным движением ссыпал их в карман форменной куртки с шершавыми золотыми галунами наподобие швейцарских. А летом какие шубы? Гардероб закрыт. Делать нечего. Вся работа сместилась в Курсовой переулочок. И назначили лучшего гардеробщика заведующим кортами.

В жаркий полдень разворачивает Николай Ильич свернутый «бухтой» шланг и поливает затвердевшие площадки тугой, шипучей струею. Он направляет ее вверх, и она, рассыпаясь, падает, с тихим шорохом увлажняя песок.

— А почему шланг вверх, Николай Ильич?

— Чтобы покров не повредить, не понарыть ямок-то.

Если при этом по ту сторону заградительной сетки случится ребятня, она, как стайка обезьянок станет напрыгивать на сетку с криками:

— Дяденька, облей! Дяденька облей! – пока поливальщик ни повернет шланг в сторону и ни окатит сетку и всю висящую на ней команду:

— Ну, держись, братва!

Но обрызганная с головы до ног братва не может удержаться на ограде и с визгом сыплется вниз.

К двум часам полив всех шести площадок завершен. Их смягченный покров горячо и влажно дышит, а воздух над ним, кажется, стал чище, прохладней.

С двух часов на кортах царят дети. Детская секция. С нами тренер – чемпионка Советского Союза, мастер спорта Нина Лео («Динамо», Москва). Кукольное личико блондинки прежних лет уже тронуло время, но круглые глазки, окаймленные ресничками с крошками черной туши, смотрят остро, дальнозорко. Под их неусыпным доглядом юные теннисисты отрабатывают удары справа

и слева, «свечи», подачи, игру у сетки. Бестолковая беготня, ахи и промахи, немощные парирования и бесшабашная стрельба по аутам, постепенно сменяются более осмысленными эволюциями, обретением чувства меры.

В четыре часа пополудни дети уходят. Но мне разрешено напоследок потренироваться у стенки, давно уже освобожденной энтузиастом, собравшим все свои мячи и снова перевязавшим чемодан веревкой, которую жена его покупала совсем не для того. Я стучу мячом по плотно пригнанным деревянным доскам, поглядывая в сторону раздевалки. Оттуда начинают выходить первые игроки вечерних противостояний. Кто-нибудь предлагает мне покинуться в ожидании взрослого партнера. Настает мой звездный час. Кидаться я уже могу и с перворазрядниками. Замечаю: если игрок слабый, я выигрываю, но играю плохо. Немногим лучше него. А если игрок сильный, я проигрываю, но играю хорошо. Немногим хуже него. И все же чувствую, что мои кондиции не позволят мне достичь профессионального блеска. Я играю не по турнирному расписанию, а по настроению. Мне действует на нервы постоянно выкрикиваемый судьей счет. Особенно, когда проигрываю. И так всё ясно. Не обязательно афишировать на шесть площадок, хоть никто и не прислушивается. Игра на «больше – меньше» слишком напрягает и сковывает, а если честолюбивый противник, проигрывая, начинает дрожать, швырять ракетку в землю, если на глазах его блестят слезы, мне становится его жалко, я сбрасываю обороты и проигрываю сам... Для профессионального спорта всё это не годится, но любителю позволено принимать игру так, как она складывается.

К шести вечера на кортах большой сбор. Съезжается профессура со всей Москвы. Выходят настоящие игроки – турнирные бойцы. Разыгрывается «Весенняя пуля» – внутреннее первенство. Все площадки заняты по очереди. Всё белó: футболки, шорты, кофточки, платья... Белоснежный балет под аккомпанемент звенящих ракеток. Это

совпадает с окончанием вечерней службы в церкви Ильи Обыденного в соседнем переулке на горе, что отмечается продолжительным колокольным звоном. Он накрывает корты, отражается от стен дома Перцова, возвращается к храму, и так и ходит между храмом и домом, домом и храмом, заставляя вибрировать стены, дрожать воздух, вызывая какое-то захватывающее чувство нереальности происходящего, ведь в атеистической стране с уволенной аристократией действующего храма при действующих кортах вообще нигде больше нет!

Игроки уезжают и приезжают. Раздевалка – дощатый домик, увитый диким виноградом, лучится от обилия наполняющего эти стены света. Его населяют представители всех наук: математики и химики; физики и биологи; историки, медики, филологи, юристы... А домик-крошечка. Интеллектуальная плотность, то есть суммарная сила ума, деленная на площадь в четверть корта, не поддается никакой оценке. Тут вся наша наука без всякого официоза, свободная в своих проявлениях, весьма независимая и в рабочих шорах, тем более без шор – в теннисных шортах. Вот где самоорганизация, вот где гражданское общество! Нет, конечно, наука здесь не вся. Неспортивные Фок и Ландау сюда не приезжают. Капица по-прежнему на досуге чинит часы. Как его Лондон не приобщил к теннису? Но приезжает масса людей, составляющих наш бесценный научный генофонд. И чтобы их видеть, чувствовать, слышать не надо никуда устремляться. Они сами стремятся сюда – в свой клуб под окнами дома Перцова.

Между тем синева неба, остывая, темнеет, сумерки спускаются ниже, мяч становится виден всё хуже, и постепенно площадки освобождаются до нового дня.

Окно открыто. Я засыпаю под влажный шорох падающей на песок воды. Это Николай Ильич поливает на ночь оберегаемые им корты. И есть во всем этом какое-то тепло, домашний уют. Он не только в комнате вокруг меня – в папиной настольной лампе, в маминых шагах,

в нянином сонном посапывании. Он и вне комнаты: в нашем переулке, в шелесте рассыпающейся воды... Я даже не думаю о теннисе, как о спорте. Я воспринимаю его как часть моего детского бытия. И меня не волнует, найдется ли в жизни что-нибудь такое, в чем я смог бы сменить занятие, пробуждающее во мне восторг и благодущие дилетанта, на нечто другое, вызывающее молчаливое признание знатоков. Есть одно только чувство полноты, разумности и праздничности мира, и мне не важно, так ли оно на самом деле или так воспринимаю его я. И мне еще далеко до того, чтобы выразить это в слове: натура суть такова, каковою ты ее мыслишь, а не каковою она является в действительности.

## Приложение к главе одиннадцатой

Ирина Роднянская  
**ОСТРОВ РАДОСТИ**<sup>1</sup>

В пламя, книга долговая!  
Мир и радость – путь из тьмы.  
Братья, как судили мы,  
Судит Бог в надзвездном крае.

Фридрих Шиллер  
«К радости»<sup>2</sup>.

**Ж**анр книги Алексея Е. Смирнова не указан на титульном листе [Алексей Смирнов Виолончель за бу-  
мажной стеной. М., «Новый хронограф». 2016. (Издатель  
Леонид Янович. Художник Владимир Хананов). – А. С.].  
Видимо, автор не решился заявить, что он представил  
читателю *роман*. А эта книжка с затейливым названием  
(избыточно затейливым, но вскоре оно легко разъяс-  
нится) – не что иное, как роман о детстве в свободной  
черере новелл, не так уж строго следующих хронологии  
ребяческого взросления. Роман скрупулезно правдивый  
в отношении схваченного им времени – и вместе с тем  
поэтический и идиллический.

Поясню это редкое сочетание хорошо известными мыс-  
лями М. М. Бахтина об «идиллическом хронотопе», на-  
ходившего, кстати, вкрапления идиллии в плоти «Войны  
и мира», а тем паче – «Обломова». Это «органическая  
прикрепленность, приращенность жизни и ее событий  
к месту – к родной стране со всеми ее уголками <...> к род-  
ному дому», «единство жизни поколений», определяемое  
единством места; «*смягчение всех граней времени*» (курсив

<sup>1</sup> «Новый мир», 2016, № 8. С. 192–197.

<sup>2</sup> Перевод И. Миримского

здесь и далее в цитатах мой – *И. Р.*); отсутствие в идиллии прямой эротики <...>; типичное для идиллии «соседство еды и детей», детей и старцев, образов «человека из народа» – слуг и насельников дома. Как парадоксально замечает исследователь, «идиллия не знает быта», ибо в ней «моменты быта становятся существенными событиями и приобретают сюжетное значение», включая сюда «идиллические вещи <...> неразрывно связанные с идиллическим бытом»<sup>1</sup>. И, пожалуй, самое главное: «...на первый план выдвигается глубокая человечность самого идиллического человека и человечность отношений между людьми»<sup>2</sup>.

Поскольку мир идиллии – относительно замкнутый мир, историческое время в нем отражается лишь косвенно, проникая своими эпизодическими вторжениями щадящий кокон семьи и стайки сверстников. Но не удержусь сказать об этом, чисто московском, времени – ведь я, будучи его старшей, но пришедшей современницей-студенткой, поняла его только теперь, из книги Смирнова, из того, что запомнилось рожденному в самом центре Москвы наблюдательному мальчику.

Это 1950-е годы. Какой странный, своеобразно-«слоеный», оказывается, период – от смерти Сталина условно отсчитываемый: эпоха устоявшегося бытования

<sup>1</sup> Текст «Виолончели...» полон таких «идиллических вещей»; чего стоит квартирка родственницы, тети Кати, – «крохотная антикварная лавка», «драгоценное гнездо в расщелине серой скалы» гранитного дома. Вот еще более рельефный пример того, насколько сюжетны и психологичны у Смирнова «идиллические вещи»: хоть бы и «деревянная ручка со стальным перышком, похожим на острый листок, свернутый полутрубочкой; листок, в чьей фигурной прорези посередине лопается, истончаясь, прозрачная чернильная пленка», – этой ручкой будет совершаться священнодействие письма под диктовку любимой учительницы, пришедшей домой к заболевшему ученику (новелла «Диктант»). Совсем уж неожиданная идеализация вещи, о несносных проказах которой мне, со своим старинным школьным опытом, даже вспомнить страшно!

<sup>2</sup> Эти замечания Бахтина см. в разделе «Идиллический хронотоп в романе»: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., «Художественная литература», 1975, стр. 377–384 и сл.

и новых статусных и бытовых примет. Старая интеллигенция – нет, не старорежимная, но не вполне утратившая наследственные навыки дореволюционного «мирного времени»: тут еще помнят, как Свешников регентовал в храме Христа Спасителя (уже снесенном и сменившемся грязной, запущенной автобазой – до бассейна пока далеко) и привычно накрывают пасхальный стол. А отец рассказчика, весьма умный и ироничный военный юрист-преподаватель, сидит «за письменным столом, конспектируя работу Владимира Ильича Ленина “Материализм и эмпириокритицизм”. Это было свято». Родной мальчику «дом Перцовых», недалеко от стен Кремля и Музея изобразительных искусств, – пышный образец нашего модерна начала XX века, а внутри: даже не фанерные, а картонные («бумажные» – отсюда титло книги) стенки, разгородившие дом под шумную и хаотичную коммуналку (проницаемые для уроков игры на той же «титульной» виолончели), – слегка облагороженный извод «вороньей слободки» с вечно занятыми сортиром, ванной и коридорным телефоном. Убожество быта (домашний кофе – давно выветрившийся, с бурой проседью порошок; вместо холодильника – пространство между оконными рамами) – но отчасти возмещаемое публичной доступностью высокой культуры (Всесоюзное радио – главный источник познаний мальчика – вещает классическую музыку и литературу).

*Обеспеченная* семья (слово это вышло из обихода, теперь скажут: *состоятельная*) с двумя научными работниками, с няней, «настоящей смоленской крестьянкой» (так ее не без гордости аттестует ее воспитанник), ставшей членом этой семьи, подобно Карлу Ивановичу и Наталье Савишне у Л. Н. Толстого; со снимаемой ежелетне отличной дачей в Подмосковье, и притом не имеющая ни малейшей перспективы обрести индивидуальное жилье. Иными словами, этот семейный уголок вполне отвечает поставленному Гоголем условию для идиллии не античных, а новых времен: «простота и скромный удел жизни».

Отношение со стороны «обслуживающего персонала» к этим весомым членам общества, допущенным на привилегированные теннисные корты Дома ученых, – пока почти как к господам: искусный парикмахер, приветствующий нерядового клиента («Душистый ветер “Шипра”»), услужливо-красноречивый продавец, похожий на приказчика прежних лет («Покупка века»). Но тут же адско-дантовское посещение керосинной лавки, без чего на даче не прожить (живописность изображения непреднамеренно дорастает до символа).

Мы – как твердят нынешние коммунисты – и вправду плохо знаем послевоенную советскую историю в ее повседневности (на каком-то подходе к истории разумно настаивает французская школа «Анналов»); для нас с 1945-го по 1985-й или 1991 год все почти слилось в сплошной «совок». А между тем какая огромная разница между пятидесятыми и тем, что сложилось лет через двадцать, подумала я, одновременно с очередным перелистыванием «Виолончели...» читая роман Николая Кононова «Парад» – гротескный «парад» семидесятых, с тогдашней «повсеместной дряхлостью государства, исподволь одолевающей его насельников, даже самых вертких и неукротимых».

Свидетель предшествующих десятилетий, оглядываясь на ребяческие впечатления, вспоминает колосса, про чьи глиняные ноги еще мало кто догадывается. Не загазованный воздух улиц старой Москвы, ослепительный для малыша каток Парка Культуры, радиовещание с Олимпийских игр в Мельбурне с радостной вестью о трудной победе советского стайера белоруса Владимира Куца, дебютировавшего до этого на единодушно восхищенном новой звездой стадионе «Динамо», даже праздничная комедия выборов, принимаемая лояльной семьей как должное, – все это отнюдь не подтачивает и не разъедает извне границ «острова радости», где протекают детские годы Алеши. Намечающееся расслоение страт смягчено советской уравниловкой (изысканные теннисные корты будут ликвидированы по требованию

нижестоящих «трудящихся», возмущенных буржуйским отъемом придомовой территории); ребенок видит в милицейском шофере дяде Мите личность равнозначительную своему отцу и даже родственную ему по духу.

Но память фиксирует звоночки иного. Скандал во время богослужения в церкви Ильи Обыденного, никогда не закрывавшейся в этом родном уголке Москвы: кто-то из прихожан выкрикивает проклятия Сталину во время поминовения вождя. Или фразочка одного из дачных сверстников Алеши: «Где один стахановец прошел, там сто человек потом чинят», – афоризм генеральского сына, подхваченный им, может быть, прямо в семье «героя гражданской войны», но явно народного происхождения, след «уличной» реакции на показуху. Здравый смысл неискореним.

Если грани времени, и объективно еще не выявившись, все-таки, как сказано, «смягчены», то «гений места», топос выпукло выведен золотыми литерами: «обаяние старой Москвы». Оно запало в душу едва ли не в младенчестве, когда на саночках путь малыша, превращенного няней в плотно укутанный тючок, «пролегал по набережной вдоль освещенной розовым светом кремлевской стены». В ее «зубцах и бойницах» чудится «что-то грозное, хмурое, и вместе с тем веет от них каким-то теплом и защитой, даже уютом – ведь они так близко от дома!» Ребенок-«тючок» видит их с санок одновременно и равнозначно вместе с «серыми войлочными пятками» няинных валенок, подшитых кожей полусолнышком, – стоит перевести глаза с одной картинки на другую. Это ли не образ родины? И она же являет свои очертания при катаньях с горки посреди сквера: «...сзади церковь, справа – твой дом, впереди Кремль, над головой – облака. А что за ними в небе?» И тот самый дом Перцова на углу Соймоновского проезда – если не сердце, то предсердие столицы, что становится объектом гордости для подрастающего мальчика (о лимитчике, липовом москвиче, в «Виолончели...» упоминается не без иронической улыбки). И школа

в Курсовом переулке<sup>1</sup>, рядом с музейным детищем Ивана Цветаева (напомню, что перу верного детской памяти автора принадлежит отличное жизнеописание последнего<sup>2</sup>), и дача в Подмоскovie («холодные босые ступни» в июньское утро) – тоже филиалы родимого места.

Спустя долгие годы рассказчик однажды подойдет к родному московскому углу и почувствует себя близ него чужаком, никем и ничем не признанным. Прямая противоположность тому типическому мотиву, который выделяет в «идиллическом хронотопе» Бахтин: возвращение оторвавшегося от корней блудного сына к родному очагу, незыблемому пристанищу не только предков, но и потомков. Наше время «перемещенных лиц» исключает подобные сюжеты, разве что они сбывчивы для репатриантов из знатных или знаменитых семейств, вкладывающих деньги в воссоздание руинированных историческими бурями наследственных хором. Но «гений места», что бы там с этим местом и с его обитателями ни случилось, остается лирическим средоточием и эмблемой живой памяти.

Здесь самое время разобраться с «устройством» фигуры повествователя. Два «детства», из числа известнейших в отечественной литературе: Тёмы (Н. Гарин-Михайловский) и Никиты (А. Н. Толстой), – написаны от третьего лица, и, несмотря на это, а скорее именно поэтому, в центре этих повестей – фазы и переломы формирования психологии ребенка. Окружающий мир усадьбы и города, привлекаемые персонажи – от родителей и сверстников до наставников и учителей – более фон детской психики, чем обладатели самостоятельной весомости<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Точней в Обыденском. – А. С.

<sup>2</sup> Алексей Смирнов. Иван Цветаев. История жизни. СПб., «Вита Нова», 2013.

<sup>3</sup> Приключения Никиты, составляющие центральный интерес фабулы, – почти сказочны; это пролог к «Золотому ключику», где строгой синеглазой пассии влюбленного мальчика предстоит превратиться в не менее требовательную Мальвину. Полная драматизма, на грани

Новеллы в романе Алексея Смирнова написаны от первого лица, так же как дебютная вещь Л. Н. Толстого. И опять-таки именно благодаря этому и там, и тут главное, центрирующее начало – не самое «я»<sup>1</sup>, а этого «я» *память*.

У повествователя «Виолончели...» – двойное зрение, притом что неделимое и взаимопроницаемое. Не пренебрегая фотографически-восприимчивой впечатлительностью мальчика как главным источником воссоздания былого и почти нигде не прерывая позднейшими комментариями эти данные<sup>2</sup>, он умеет слить свое взрослое постижение с детским ощущением жизни средствами поэтическими. Не отрезвляющие пояснения, а прикосновения гармонии и юмора, набегающие из взрослого источника на детский «первоисточник». Так «озвучены» лучшие новеллы книги – к примеру, «Кохвей», «Гаги», «Лимонная церемония», «Диктант».

Вот учеба овладения бегом на коньках («гагах»). Она сопоставлена (это пока «физика» мальчика в острые моменты) с азами обучения грамоте: «конькобежец», *па...по-степен-но... о-тор-вав-шись* от отцовских рук (и тут начинается «партия» взрослого соглядатая – И. Р.), стал скользить по кренящимся, морозным, наполненным твердой голубишной зеркалам <...> и вот – вырвался... на варварскую ширь затертой льдами февральской реки <...> и все, что когда-то казалось протяженным, беспомощным, медленным, разлученным во времени, разрозненно ползущим вкривь и вкось,

---

с трагичностью, событийная и внутренняя жизнь Тёмы обнаруживает основные задатки будущего характера и образа существования, присущие непокорному и отважному автору повести, и к этому психологическому центру опять-таки стянуто все остальное.

<sup>1</sup> Хотя к детскому сознанию Николеньки Лев Толстой уже практически прилагает все будущие приемы своего беспощадного самоанализа.

<sup>2</sup> Одно из примечательных исключений: жесткая оценка упоительных и вполне невинных, ввиду мальчишеского возраста и духа времени, игр в Гражданскую войну: жажда мести и разрушения подвергается взрослой идейной ревизии; слова «пафос» и «героика» отчуждаются ироническими кавычками.

теперь убыстрилось, выровнялось, схватилось в памяти <...> как одно неиссякаемое мгновенье!»

Эти всплески поэзии (откуда ни возьмись – *варварская ширь*), как правило, отвечают и за «глубокую человечность», корреспондируют с ней без привкуса назидательности. Обожаемая учительница, приходя с уроком домой к мальчику, как бы вливается в его семью – исполнение неисполнимой, казалось бы, мечты о воссоединении самых дорогих людей. Она диктует из Гоголя, из «Мертвых душ», чудный пассаж: запущенный плюшкинский сад. Мальчик со страхом напрягается над проблемами орфографии, а между тем его взрослый двойник не сводит глаз с учительницы, переводя на свой язык подсознательное восхищение ею ребенка: «Так неужели это красота – полные виновато-влажной печали, уставшие смотреть на мир глаза под полуопущенными складками век, легкая линия не тронутых кистью бровей? Или лежащая на белой бумаге рука с большим искривленным, коричневым ногтем на указательном пальце? Или голос – задумчивый и спокойный, <...> лишенный нетерпеливого раздражения, обидчивого дрожания, убежденного в собственной правоте жара?» Повествователь незаметно вовлекается в соревнование с манерой и духом гоголевского слова – и в финале, за общим застольем, в ауре нахлынувшего на его детскую ипостась счастья окончательно сливает свое воодушевление с гоголевской поэзией: «Не происходит ровным счетом ничего необыкновенного. ... Но эта крахмальная скатерть с выпуклыми белыми цветами и простой домашней снедью <...> чувство сердечной близости – неуловимой красоты, перед которой меркнут слова, замирает разбежавшееся было на бумаге перо; но этот старый сад, цветущим “трепетolistым” клином вступающий в комнату, и хмель, – счастливый, завязавшийся кольцами, легко колеблемый воздухом вольно висящий хмель!..»

Еще один бесспорный триумф все той же человеческой общности (где гоголевский «хмель» будет припомнен) – рассказ об игре с няней в «пьяницу»: простейшая

карточная игра на везенье и без сообразительного расчета, долгим дачным осенним вечером. Ребенок, еще «не умеющий ни читать, ни расписываться», как, впрочем, и его партнерша, – оба при экономном (нянина забота) свете керосиновой лампы равно впадают в нешуточный азарт, умилительный своим комизмом. И вот кода новеллы: «Мы опьянены игрой – монотонной, нескончаемой, в которой совсем нечего делать уму. ...Но эти однообразные пассы, но это волхованье теней и сейчас наполняют меня каким-то чудным и чудным <...> хмелем. Быть может, это хмель памяти, запашок подгулявшего керосинчика, бражный отблеск фитилька на стекле, вспышка льняной лохмушки: полыхнула, осветилась, брызнула, как умылась во тьме, и снова – ровное, уютное свеченье, какое бывает разве что в старости да в младости, когда страсти улеглись или еще по-настоящему не разгорелись. А, может быть, так являет себя затаенное чувство душевного родства, того взаимного обожания, что не высказывается, а молча передается хотя бы вот с этой кочующей из рук в руки вытертой колодой карт». Снова стихотворение в прозе. Одно из тех, что импровизационно вживлены в новеллистический роман как его общее дыхание и без чего он не состоялся бы как целое.

(Жаль, что Михаилу Михайловичу Бахтину не прочесть этого «Пьяницу». Он нашел бы там концентрацию точнее им усмотренных черт идиллии: интимную близость старческого и молодого существа, быт, перерастающий функцию фона и становящийся основой действия, как эта прихотливая керосиновая лампа, а главное – ту *поэзию невинности*, без которой идиллия из чего-то неоспоримо живого и достоверного превращается в сентиментальную условность.)

Вовсе не надо знать, что Алексей Смирнов – сочинитель десятка стихотворных книг и многих песен, чтобы заключить, что проза «Виолончели...» писалась поэтом. Особенное отношение к слову в его заманчивом самодовлении, а не как к подсобному средству рассказывания

он преднаходит уже у себя-ребенка, изумленного головокружительной омонимией русской лексики: почему мы «принимаем ванну», если она принимает нас? почему «разбит сквер», когда он не разбит, а, наоборот, высажен? что за «присутствие духа» у того, кто ни в каких духов не верит? «Майчик» (дефект дикции продавца) – это, конечно, «мальчик в майке», а двое знакомых поженились, понятное дело, оттого, что один был связан с «консисторией», а другая – с «консерваторией». И прочее, и прочее. Вся эта детская этимология прорастает и неумной взрослой любовью к каламбуру верного поклонника Козьмы Прутков<sup>1</sup>: «Ночной зефир» (романс Даргомьжского из радиоточки) – он же: конфеты-зефирины ночного тайноядения бабушки. «Колчаковцы» и «колпаковцы» (рать красного военачальника Колпакова) отличаются одной буквой, а проливают кровь друг друга. Книжка Смирнова – подобно его слуховому впечатлению детских лет – во многих частностях «гулкий фонетический купол», при устном чтении-произнесении прирастающий обаянием.

В книге памяти, уставленной утварью и обставленной зодчеством родного московского «терема», густо заселенной близкими и случайными людьми всех возрастов и состояний, почти щегольски уснащенной крупными планами их глаз, рук, уборов<sup>2</sup>, в этой книге – что составляет для меня ее главную и отличительную «фишку» – есть безусловная *героиня*. Легко догадаться, что это няня маленького Алеши Акулина Филипповна Ларичева. Не малышовым катаньем на саночках у зубчатой кремлевской стены, где нянино присутствие вторично, а ее явлением на авансцене за церемонией варки норвящего убежать «кохвея» торжественно открывается повествование. От-

<sup>1</sup> Алексею Смирнову принадлежит авторство целого цикла книг, связанных с этим именем. Выделим: Смирнов А. Козьма Прутков. Жизнеописание. СПб., «Вита Нова», 2010.

<sup>2</sup> Даже «серые фетровые шляпы» бастующих английских докеров с какого-то взрослого книжного фото здесь не забыты.

ныне ее речь будет слышаться вживую, со спецификой выговора, диалектизмами и лексическими причудами. Автор фактически осуществил пристальную работу этнографа и фольклориста, проведя этот принцип языковой характеристики сквозь весь текст<sup>1</sup>. По всему судя, читателю должно это надоесть (показал разок – и хватит), но почему-то не надоедает. А когда няня на ночь рассказывает капризничающему дитенку сказку («Белая уточка»), невольно заслушиваешься экзотическим звучанием ее лукаво-увлекательной речи. С няней в наибольшей степени связана чистейшая струя юмора (куда более тривиального в школьных новеллах); но сама-то няня вовсе не комична, и улыбаешься куда чаще вместе с нею, чем по поводу ее повадок и привычек.

Писатель портретирует ее «извне» и «изнутри», с взрослой дистанции, в лирической подсветке все той же игры в «пьяницу». «Вот сидит она в легком платочке, освещенная зыблющимся пламенем. Косой, ласковый свет, маслянисто лоснясь, ложится на ее подбородок, на широкую скулу; высвечивает дрожащий зрачок, всегда полный невыплаканной влагой слез; выхватывает краешек ситцевого в бледно-голубой горошек платка, завязанного под подбородком, как опущенные заячьи ушки. Няня <...> говорит, что с непокрытой головой *не сурьезно*. ...Она никогда шумно не смеется, а <...> только улыбается. ...Она ни с кем не вздорит. В ответ на дурное слово перекрестится втихомолку – и все. Вождей не обсуждает. Никакого отношения к ним ни дома, ни в очередях не высказывает. Лишь однажды наедине со мной молвит раздумчиво: «Чтой-то Восипа Воссаривоныча усе мене поминають; усе боле Уладимира Ильича». (Мальчик, завзятый радиослушатель, не заметил соответствующих событий, о которых

<sup>1</sup> От няни обогащаемся словом *рикошетник* (то ли озорник, то ли бесенок, то ли выдумщик), которое я пока нигде больше не нашла. Теперь оно само просится на язык.

шептались родители, а безграмотной, но многоопытной крестьянке все было понятно.) Прошлое же няни, источник ее невыплаканных слез, – перекинувшее ее со Смоленщины в услужение москвичам – означено несколькими намеками, внятыми современному читателю.

Няня – верующая, постится, хоть и без фанатизма, не берет в рот спиртного (староверка?), а в неизреченную тайну Пресвятой Троицы (рассказ «Бох») посвящает ребенка пусть и на своем наречье, но богословски весьма грамотно (что, кстати, заставило меня сделать мысленную поправку к знаменитой максиме «Русь была крещена, но не просвещена»). «– Почему же Христос дался себя схватить? Не убежал? Не скрылся? – Стало быть, не хотел: пострадать удумал, чтобы народ усовестить. – А что народ? Почему за Него не заступился? – А что – народ. Народу что прикажут, то и ладно. *Ишио и сам подбавить*». (Разве что в «Студенте» Чехова так сливается сюжет Страстной недели с опытом текущим; для няни это, несомненно, опыт коллективизации.)

Апофеоз же Акулины Ларичевой наступает в день всеобщих выборов. Даже мальчик-дошкольник понимает, что, когда мама предлагает ему перед сном вкуности – «конфетку или яблочко?» (так называется новелла), у него есть выбор; ну а всеобщий праздник голосования с урнами, похожими на медовые колоды, никакого выбора не предоставляет («фантастическая литургия на пчельнике в момент массового прилета», – припечатывает взрослая ипостась рассказчика). Тем не менее мать и няня, приодевшись по-праздничному и прихватив с собой ребенка, идут на участок.

И тут няне будто бы делается дурно перед подъемом на третий этаж, где отправляют эту «литургию», а поскольку каждый голос государственно драгоценен, Акулина Филипповна дает себя подхватить двум активистам-молодцам, которые «с величайшим почтением возносят ее, как Царицу Небесную, по белой парадной лестнице,

устланной красными коврами с золотой оторочкой...» Точно такой же торжественный марш с телохранителями сопровождает ее нисхождение.

Мальчик в смущении понимает, что няня всю эту церемонию «разыграла», но взрослый «по прошествии лет» поясняет, зачем. Всю жизнь она, пережившая голод убиваемой деревни, немецкую оккупацию, пожары, отсутствие документов о трудовом стаже и прочие тернии и шипы бесправия, «покорствовала <...> воле местных и поднебесных властей. И вдруг, на один только миг <...> почувствовала, что власть заинтересована в ней, в ее голосе, пусть хоть на крошечку, но зависима от нее. И она воспользовалась случаем». И – особенно точное чувство мизансцены, свидетельствующее о проницательности «актрисы»: «...как бы задумалась на мгновение над избирательной урной, прежде чем послать туда листок с приветом судьбе – ее окаменевшей конфетке, ее гнилому яблочку...»

Думаю, имея в виду не одну эту более чем очевидную сцену, а целостное сложение образа, что автору чудом удалась обобщенная фигура всей полукрестьянской-полусоветской России XX века, по символическому наполнению сравнимая с Бабушкой из «Обрыва» Гончарова, с бабушкой горьковского «Детства» – и с солженицынской Матреной. «Идиллический человек» (по Бахтину), няня, выведен за рамки идиллии, за грань «острова радости», на «варварскую ширь» нашей истории... И вот удача поверх всех прочих удач.

## БИБЛИОГРАФИЯ

оригинальных книг и переводов автора,  
упоминаемых в настоящем издании

- Емилиан Буков.* Любовь есть любовь: Стихи / Перевод с молд. А. Смирнова и др.. – Кишинев. Лит. артистикэ. 1984. – 304 с.
- Емилиан Буков.* Утренний человек: Стихи, поэмы. Пер. с молдавского. – М.; Советский писатель. 1985. – 304 с.
- Емилиан Буков.* Андриеш: Поэма / Перевод с молдавского Алексея Смирнова. Художник Павел Обух. Кишинев. Литература артистикэ, 1987.
- Алексей Смирнов.* Спросит вечер: Стихи. Первая книга автора. – Художник Игорь Куклес. – М.: Советский писатель. 1987. – 128 с.
- Индийская поэзия XX века. В 2-х т. – М.: Худож. лит., 1990.
- Алексей Смирнов.* Дашти Марго: Поэма / Предисловие Б. А. Чичибабина. М. 1991. – 64 с.
- Алексей Смирнов.* Сорок слов из простокваши. – М.: Лайда, 1992.
- А. Смирнов.* Дар Владимира Даля: книга для внеклассного чтения: – М.: Дрофа, 2005. – 175 с.
- Слово о полку Игореве: Перевод с древнерусского, статьи, комментарии Алексея Смирнова. Гравюры В. А. Фаворского. – М.: Языки славянской культуры, 2007. – 104 с.
- Алексей Смирнов.* Кораблик: Стихи. – М.: Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой», 2007. – 70 с.
- Алексей Смирнов Козьма Прутков: Жизнеописание.* – СПб.: Вита Нова. – 2010. – 512 с.: 157 ил – («Жизнеописания»).

- Алексей Смирнов.* Прутковиада: Новые досуги / Рис. автора. – СПб.: Вита Нова, 2010. – 128 с.
- Сочинения Козьмы Пруткова. Статья и примечания Алексея Смирнова. 60 иллюстраций Александра Аземши.* – СПб., Вита Нова, 2011. – 592 с. – (Фамильная библиотека. Читальный зал).
- Алексей Смирнов.* Козьма Прутков. – М., Молодая гвардия, 2011. – 406 с.: (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1309).
- Алексей Смирнов.* Зимняя канавка. М., Воймега., 2012. – 84 с.
- Алексей Смирнов.* Иван Цветаев: История жизни. – СПб.: Вита Нова, 2013. – 308 с. – («Жизнеописания»).
- Алексей Смирнов.* Виолончель за бумажной стеной. – М., Новый хронограф, 2016. – 304 с.
- Алексей Смирнов.* Партия анекдотов. – М.: Новый Хронограф, 2016. – 240 с.

## ОБ АВТОРЕ

**А**лексей Евгеньевич СМИРНОВ родился в Москве (1946). По окончании Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева (1970) поступил в Институт кристаллографии АН СССР (позже РАН), где вел исследования в области физики прочности и пластичности материалов, в частности, вместе с коллегами открыл и изучал влияние магнитных полей на механические свойства кристаллов. Автор многих научных работ. Отмечен почетным знаком «Изобретатель СССР».

Член Союза писателей СССР (1991) и Москвы (2000). Академик РАЕН (2002). Участник (1970), а с 1995 года руководитель литературной студии «Магистраль» в Доме-музее Марины Цветаевой. Член редколлегии журнала «Мурзилка». Постоянный автор журналов «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы», «Кольцо «А», «Литературная учеба», «Мурзилка».

Поэт, писатель, историк литературы, переводчик.

Автор десяти поэтических сборников, в том числе «Спросит вечер», 1987; «Дашти Марго», 1991; «Кораблик», 2007; «Зимняя канавка», 2012; «Избранное», 2016.

Автор-исполнитель цикла передач «Звезды поэзии на музыкальном небосклоне» (музыкальное радио «Орфей»).

Известный детский писатель. Его перу принадлежат книги «Сорок слов из простокваши», 1991; «Прогулки со словами», 1994, 1996; «Дар Владимира Даля», 2005, 2007, 2010 (лучшая книга для детей и юношества, 2006); «Имя Родины», 2008. Автор-исполнитель цикла передач «Прогулки со словами» на Радио России.

Книга А. Е. Смирнова «Дыхание речи. Прочтение поэтического текста», 2006 признана лучшей в лучшей серии на Всероссийском книжном конкурсе, 2006.

Автором опубликованы биографические романы «Козьма Прутков: Жизнеописание», 2010, 2011 (вошел в число лучших книг года, 2010); «Иван Цветаев: История жизни», 2013; сборник новелл и повестей «В прилагаемых обстоятельствах», 2017; романы «Виолончель за бумажной стеной, 2016; «Щит Ареса», 2018; «Обход», 2018; литературные мемуары «Имена», 2018; книга эссе «Ангел в Салониках», 2019.

Песни Алексея Смирнова в авторском исполнении записаны в аудио-альбомах «Концерт для голоса и гитары», «Время пения настало», 2016; «Песни», 2019.

А. Е. Смирнов известен как переводчик молдавского эпоса «Андриеш», 1987 (в оригинале переложенного для детей поэтом Емилианом Буковым); индийской поэзии, 1990; комментированного «Слова о полку Игореве», 2007; сербской поэзии, 2012; «Псалтири», 2016.

Автор отмечен почетным знаком «Золотой фонд прессы». Он – лауреат Литературной премии имени Чехова. Награжден медалью Преподобного Сергия Радонежского, Пушкинской медалью, Серебряной медалью Бунина.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЮ . . . . .	7
Глава 1	
АНДРИЕШ . . . . .1987. . . . .	8
Глава 2	
СПРОСИТ ВЕЧЕР . . . . .1987. . . . .	39
Глава 3	
ИНДИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ XX ВЕКА . . . . .1990. . . . .	97
Глава 4	
ДАШТИ МАРГО. . . . .1991. . . . .	131
Глава 5	
ДАР ВЛАДИМИРА ДАЛЯ. . . . .2005. . . . .	170
Глава 6	
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ . . . . .2007. . . . .	189
Глава 7	
КОРАБЛИК. . . . .2007. . . . .	214
Глава 8	
КОЗЬМА ПРУТКОВ: ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРУТКОВИАДА: НОВЫЕ ДОСУГИ . . . . .2010. . . . .	242
Глава 9	
ЗИМНЯЯ КАНАВКА . . . . .2012. . . . .	269
Глава 10	
ИВАН ЦВЕТАЕВ: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ. . . . .2013. . . . .	315
Глава 11	
ВИОЛОНЧЕЛЬ ЗА БУМАЖНОЙ СТЕНОЙ . . . . .2016. . . . .	334
Приложение к главе 11	
ОСТРОВ РАДОСТИ. Ирина Роднянская. . . . .	358
 БИБЛИОГРАФИЯ оригинальных книг и переводов автора, упоминаемых в настоящем издании . . . . .	   371
 ОБ АВТОРЕ . . . . .	  373

Художественное издание

**Алексей Евгеньевич Смирнов**  
**НА ПИРУ СУДЁБ**

Издатель *Леонид Янович*  
Корректор *Ольга Крупченко*  
Художник *Владимир Хананов*  
Верстка и оригинал-макет *Михаил Щербов*  
Автор фото *Левон Оселян*

Налоговая льгота –  
Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

НП Издательство «Новый хронограф»  
Контактный телефон в Москве: +7 (916) 651-30-94  
по вопросам реализации: +7 (985) 427-91-93  
E-mail: [nkhronograf@mail.ru](mailto:nkhronograf@mail.ru)  
Информация об издательстве: [www.novhron.info](http://www.novhron.info)

Подписано к печати: 13.10.2019  
Формат 60 × 90 / 16, бумага офсетная.  
Печать офсетная. Объем 23,5 печ. л.  
Тираж 200 экз  
Отпечатано в «Т8 ИТ»

ISBN 978-5-94881-463-6



9 785948 814636



Предлагается автобиографическая проза поэта, писателя, переводчика, связанная с его избранными книгами. Это не библиографический роман в духе «рассказов о книгах», но «пир судёб», где время то отходит на задний план, то выдвигается вперед и само становится главным героем событий, зримых и потаенных, превращаясь из контекста в текст.

МОСКВА **новый** хронограф 2020

